Ленинградский университет в воспоминаниях современников

I



К 150-летию Ленинградского университета

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

в трех томах

Под редакцией
проф. В. В. МАВРОДИНА

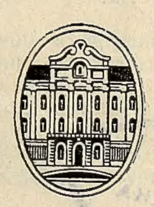
ЛЕНИНГРАД
1963

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том I

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
1819—1895



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1963

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета

Составители, авторы вступительной статьи
и комментариев

В. А. ЕЖОВ, Ю. Д. МАРГОЛИС, Г. Г. ПРОШИН



ПРЕДИСЛОВИЕ

Полуторавековая история Ленинградского университета охватывает время, насыщенное в масштабе всей страны величайшими историческими свершениями. Под ударами антифеодальной борьбы крестьянских масс пало крепостное право. Страна вступила на капиталистический путь развития. Сюда переместился центр мирового революционного движения. Россия стала родиной ленинизма, а вождь русских коммунистов В. И. Ленин — вождем мирового пролетариата. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества — эру крушения капитализма и утверждения коммунизма. Принятая на XXII съезде КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза определила главные задачи строительства коммунистического общества в СССР.

«Пройден гигантский путь, политый кровью борцов за народное счастье, путь славных побед и временных поражений, прежде чем **коммунизм, который когда-то был лишь мечтой, стал величайшей силой современности, обществом, созидаемым на огромных пространствах земного шара**».[1]

Этот путь прошли и многие из лучших представителей Ленинградского университета. История Университета богата примерами активного участия его студенчества и питомцев в освободительном движении, в борьбе за победу социалистической революции.

В годы Советской власти Ленинградский университет находится на переднем крае великой битвы за построение социализма и коммунизма в СССР. В Университете был подготовлен крупный отряд советской трудовой интеллигенции, принявшей активное участие в социалистическом строительстве.

Ленинградский университет всегда был и остается одним из ведущих научно-педагогических центров страны. Его история представляет собою выразительную летопись ярких достижений русских и советских ученых в развитии отечественной и мировой науки.

Его выдающаяся роль в научном, культурном и общественно-политическом развитии страны получила высокую оценку советского народа: в 1944 году Ленинградский университет был награжден орденом Ленина.

В период развернутого строительства коммунистического общества в нашей стране Ленинградский университет вносит значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, в прогресс советской науки и техники, в создание и развитие материально-технической базы коммунизма.

---

[1] XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногр. отчет, т. III. М., 1962, стр. 229.

Важное значение, которое имел и сохраняет Ленинградский (Петербургский—Петроградский) университет в развитии страны, придает бесспорную научную значимость и общественный интерес воспоминаниям современников, посвященным его истории.

Настоящее издание предпринимается с целью рассказать об историческом пути Ленинградского университета словами непосредственных, наиболее авторитетных участников событий, вооружив тем самым читателя знанием малоизвестных, порою полузабытых страниц мемуарных свидетельств, в совокупности образующих важную составную часть будущей «биографии Университета» — его капитальной истории.[2]

Издание «Ленинградский университет в воспоминаниях современников» будет состоять из трех томов.

Воспоминания, собранные в первом томе, освещают историю Петербургского университета со времени его основания в 1819 г. до начала 90-х годов XIX в. Содержание второго тома составят мемуары, посвященные истории Петербургского—Петроградского университета от середины 1890-х годов до Великой Октябрьской социалистической революции. Третий, завершающий том предпринимаемого издания, образуют воспоминания о развитии научной и общественной жизни Ленинградского университета в эпоху социализма и развернутого строительства коммунизма.

* *
*

В России существовало пять университетов (Московский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский), когда в 1819 году в Петербурге, на базе Главного педагогического института, был создан шестой российский университет.

Уже в первые годы своего существования молодой Университет развернул столь плодотворную деятельность, что прочно завоевал репутацию одного из ведущих в России и хорошо известных в других странах научно-педагогических центров. «Высшим святилищем учености» назвал в 1826 г. Петербургский университет его питомец, видный грузинский общественный деятель, замученный царизмом, Соломон Додашвили.[3]

Историю университета открывают страницы, повествующие о преступлениях царизма — злобного врага прогресса — против отечественной науки. Не прошло и двух лет со дня открытия университета, как он, в 1821 г., подвергся разгрому. Все прогрессивные профессора, и в их числе А. И. Галич и К. И. Арсеньев, были изгнаны. Еще раньше от преподавания был отстранен воспетый Пушкиным А. П. Куницын. Уволен был и первый ректор Университета видный ученый М. А. Балугьянский.

Реакционная профессура при поддержке властей прилагала все усилия, чтобы оболванить студенчество, превратить Университет в филиал солдатской казармы. Была издана специальная «Инструкция директору и ректору университета», которая преследовала в качестве основной задачи искоренение «духа вольнодумства», «воспитание покорности». За студентами была установлена слежка, «инакомыслящие» изгонялись.

Напуганный революцией 1848 г., Николай I запретил Университету выписывать книги и журналы из-за границы. Запрещено было даже чтение лекций по истории и государственному праву западноевропейских государств. Философия оказалась также вне учебных программ Университета. Число студентов было строго ограничено, причем предписывалось принимать преимущественно молодых людей из дворян.

---

2 Первые шаги в создании научной истории Университета уже предприняты. См.: О. Л. Вайнштейн, М. А. Гуковский, В. В. Мавродин. Ленинградский университет. 1819—1944. Отв. редактор В. В. Мавродин. Изд. ЛГУ, 1944; В. В. Мавродин, Н. Г. Сладкевич, Л. А. Шилов. Ленинградский университет. Отв. редактор В. В. Мавродин. Изд. ЛГУ, 1957; Очерки по истории Ленинградского университета. Сборник статей, т. I. Отв. редактор Н. Г. Сладкевич. Изд. ЛГУ, 1962.

3 См.: «Деятели грузинской культуры о России». Составил В. К. Имедадзе. Тбилиси, 1958, стр. 18.

Следующая таблица количественных и качественных изменений в составе студентов Петербургского университета показывает, однако, что даже в пору жесточайшей николаевской реакции правительству не удалось «одворянить» его студенчества: напротив, удельный вес студентов-разночинцев несколько увеличился.[4]

Годы	Общее колич. студентов	Из них									
		из дворян и из обер-офицеров		из разночинцев		из крестьян		иностранцев		из купцов	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1836	269	161	60	71	26,2	1	0,3	4	1,5	32	12
1843	559	319	57,2	153	27,5	3	0,5	24	4,0	60	10,8
1848	731	484	66,2	160	21,9	5	0,7	21	2,9	61	8,3
1853	419	286	68,3	94	22,4	2	0,5	15	3,6	22	5,2
1855	476	299	62,8	125	26,3	2	0,4	15	3,2	35	7,3

Никакие гонения и репрессии не могли подавить силы, стремившиеся к прогрессу, остановить развитие передовой научной мысли. Усиление идейной борьбы и общественно-политического движения в России в 40—50-е годы оказало непосредственное воздействие и на положение в столичном Университете. В этот период в стенах Университета усиливается влияние передовых людей русской науки. В 1840—1850-х годах выдающиеся русские ученые В. Я. Буняковский и П. Л. Чебышев основали знаменитую петербургскую математическую школу, оказавшую огромное влияние на развитие математической науки. В эти годы начался расцвет научной деятельности создателя русской химической школы А. А. Воскресенского, воспитавшего в стенах Петербургского университета плеяду выдающихся ученых-химиков. Плодотворно работал в Университете Э. Х. Ленц — основатель первой в России школы физиков.

В этот же период в студенческих аудиториях, в тесном общении с передовыми представителями русского общества формировалось революционное мировоззрение М. В. Буташевича-Петрашевского, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева.

60-е годы ознаменовались значительными сдвигами в жизни Петербургского университета. Число студентов достигло в 1861 году небывалой цифры — около 1500 человек. В Университете стали устраиваться открытые публичные лекции для «посторонних», привлекавшие многие сотни слушателей. Повысилась общественная активность студенчества, проявлявшаяся в создании научных и литературных кружков, землячеств, касс взаимопомощи, в издании студенческих научных и литературных сборников. Под влиянием университетской разночинной молодежи, горячо воспринимавшей идеи революционной демократии, Университет становится одним из важнейших центров общественного движения в России, непосредственно связанных с возглавленной Н. Г. Чернышевским «Землей и волей» 1860-х годов.

Передовая, радикально настроенная часть студенчества Университета горячо откликалась на все важнейшие события общественно-политической жизни России.

Возмущение грабительской крестьянской реформой вызвало в сентябре и октябре 1861 г. крупные волнения студентов Петербургского университета, приведшие к столкновению с войсками.

За многолюдными бурными сходками и демонстрациями последовали аресты. Более 300 студентов были брошены в крепость. В декабре 1861 г. вышло «высочайшее

---

4 Составлена на основе данных, приводимых в статье Ю. Н. Егорова «Реакционная политика царизма в вопросах университетского образования в 30—50-х годах XIX в.» («Исторические науки», 1960, № 3, стр. 61, 63, 65, 66, 67).

повеление» по делу о волнениях в Петербургском университете. Вожаки движения были отданы на поруки родителям или под надзор полиции.

Выступления петербургских универсантов встретили братскую солидарность в университетах других городов России. Мощные ответные волны студенческих волнений прокатились в Москве и Казани. Однако в течение двух лет столичный Университет оставался закрытым.

Только осенью 1863 г. был утвержден новый университетский устав, явившийся значительной уступкой правительства и предусматривавший, в частности, увеличение числа кафедр и выборность профессуры. Формально провозглашалось самоуправление Университета.

Силы реакции отступили лишь временно.

В 1884 г. университетская автономия была ликвидирована. Университет подпал под строгий контроль министра просвещения и попечителя столичного учебного округа. Устав 1863 г. был заменен новым.

80-е годы XIX в. В. И. Ленин назвал временем «...разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции».[5] Однако в эту мрачную пору Петербургский университет не только сохранил, но и упрочил свое значение одного из ведущих центров развития научной мысли и освободительного движения. В самоотверженной борьбе с мракобесием и косностью передовые ученые Петербургского университета настойчиво прокладывали новые пути в науке, становясь во главе научного движения своего времени. В 1887 г. начал блестящую преподавательскую и исследовательскую деятельность в Университете гениальный создатель Периодического закона Д. И. Менделеев. В Петербургском университете создал получившую всемирную известность школу русских химиков-органиков А. М. Бутлеров. Двенадцать лет здесь работал «отец русской физиологии» И. М. Сеченов. Деятельность крупнейших исследователей в области гуманитарных наук той поры — В. И. Сергеевича, Н. И. Кареева, А. Н. Веселовского, В. И. Ламанского и др. — также неразрывно связана с Университетом.

Характеризуя 80-е годы, В. И. Ленин писал, что это было время, «...когда особо охраняемой средой считалась только учащаяся молодежь: за ней учрежден был особо строгий надзор, сношения с ней со стороны каких-либо лиц с небезупречным политическим прошлым вменялись в большую вину, всякие кружки и общества, хотя бы и преследовавшие только цели материальной помощи, заподозривались в противоправительственных целях и проч.».[6] Однако правительству не удалось ослабить активно развивавшегося процесса демократизации студенчества. Более того — влияние радикально настроенных слоев университетов на основную массу студентов и на прогрессивную профессуру все более возрастало. Полицейские меры правительства не смогли предотвратить участия студенчества в общественном движении. Значительными волнениями универсантов столицы были отмечены 1887, 1889, 1890 гг. и ряд последующих. Причины этого движения, указывал В. И. Ленин, коренятся «...в тех реальных условиях общественного быта России, которые, с одной стороны, порождают непримиримое противоречие между самодержавием и весьма широкими и весьма разнородными слоями населения, а с другой стороны, — чрезвычайно затрудняют ... иное проявление политического недовольства, как через посредство университетов».[7]

Именно «в те годы мрачные, глухие», когда, по словам Александра Блока, «в стране царили сон и мгла», университетское студенчество выдвинуло из своей среды блестящую плеяду революционных народников, готовых посвятить всю свою жизнь служению народу, борьбе за его счастье. Среди них в Петербургском университете особенно выделялся Александр Ильич Ульянов. В 1883—1887 гг. А. И. Ульянов был студентом естественного отделения физико-математического факультета. Виднейшие университетские профессора единодушно отмечали необыкновенное трудолюбие и выдающийся исследовательский талант Александра Ульянова. Ближайшие друзья знали его как страстного врага царизма, убежденного революционера. Начав свой революционный путь народником, А. И. Ульянов уже в 1885—1886 гг. испытал могучее воздействие марксизма. Сложность и противоречивость революционной идеологии 80-х годов, когда

---

5 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 295.
6 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 305.
7 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7. стр. 352.

многие будущие социал-демократы «...начинали революционно мыслить, как народовольцы»,[8] объясняет тот факт, что Александр Ульянов и его товарищи вышли на смертный бой с самодержавием под знаменем «Народной воли». Их трагическая гибель пробудила лучших, наиболее глубоко мысливших студентов к основательному изучению теории К. Маркса.

Еще в 1883 г. студент Петербургского университета болгарин Д. Н. Благоев создал один из первых в России социал-демократических кружков. Благоевцы развернули пропаганду марксизма не только в среде студенческой молодежи, но и в кружках петербургских рабочих. Жизнь и политическая борьба в России оказали решающее влияние на формирование личности студента Благоева — впоследствии основателя Болгарской коммунистической партии.

В эти же годы в Петербургском университете первую революционную закалку получили видные деятели большевистской партии и Советского государства — М. Т. Елизаров, Г. В. Чичерин, П. Н. Лепешинский, выдающийся писатель-большевик А. С. Серафимович.

Великую гордость и славу Университета составляет тот факт, что здесь в 1891 г. блестяще сдал экстерном экзамены за юридический факультет Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

* *
*

Мемуарные материалы по истории Университета весьма обширны (число библиографических названий достигает четырехсот!), пестры и фрагментарны.[9] Это обстоятельство предопределило строгость отбора текстов при включении их в настоящее издание. При этом важно было не упустить из вида, что характерной особенностью мемуарной литературы является субъективизм отображения и оценок конкретно-исторического материала, что отношение мемуариста к описываемым событиям и лицам определяется в первую очередь классовой позицией автора, а вслед за этим — степенью его информированности, уровнем его общекультурного и исторического кругозора, специфическими особенностями его памяти и литературной одаренности, что, наконец, не менее значительно воздействие и объективных факторов, прежде всего общественно-политической и литературной конъюнктуры.

Отбор учтенных мемуарных материалов преследовал создание такого комплекса воспоминаний, который в совокупности позволил бы:

а) охарактеризовать становление университета как одного из крупнейших высших учебных заведений страны;

б) показать развитие университетской науки;

в) раскрыть историю общественно-политической борьбы в Университете в связи с историей общероссийского освободительного движения.

Читатель, без сомнения, обратит внимание на сложность мемуарной мозаики, образующей книгу.

Крайне разнолики авторы воспоминаний. Подчас их разделяют не только время, круг научных интересов, профессия, но и — очень часто — общественно-политическая позиция.

Читатель встретится в книге с воспоминаниями студентов о лекциях, о любимых и нелюбимых профессорах, о студенческих сходках, об экзаменах, полуголодном быте, грошовых уроках и бессонных ночах в лаборатории; с раздумьями маститых ученых, оглядывающих каменистые пути науки, ведшие от горечи разочарований к великим открытиям, смелым гипотезам, широким обобщениям; с мемуарными свидетельствами профессиональных революционеров о первых шагах неравной героической борьбы, о запретных листовках, о нелегальных кружках, о беззаветной смелости борцов за народное счастье — землевольцев 1860-х годов, народовольцев 1880-х годов; с воспоминаниями о первых в истории России революционных марксистских кружках; с драго-

[8] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 180.

[9] Настоящее издание не содержит списка выявленных мемуаров в силу его довольно значительного объема, а также вследствие того, что Научная библиотека им. А. М. Горького Ленинградского университета подготавливает к печати библиографический указатель мемуарных свидетельств об Университете.

ценными свидетельствами современников о подготовке В. И. Ленина к университетским экзаменам.

Понятно, что воссоздать историю Университета во всем богатстве ее академического и общественно-политического содержания, используя только воспоминания современников, невозможно. Мемуарное наследие, посвященное Петербургскому университету, крайне неравномерно отражает историю развития отдельных отраслей науки и общественно-политической жизни Университета в 70-е годы. Так, при относительном богатстве мемуарной литературы, посвященной химической школе Петербургского университета, нет заслуживающих внимания мемуаров о развитии в Университете физической, геологической или биологической наук. Сравнительное многообразие воспоминаний, посвященных общественному движению 1860-х годов, соседствует с почти полным отсутствием мемуарных материалов об участии петербургских универсантов в «хождении в народ» (1870-е годы). Примеры контрастов подобного рода можно было бы продолжить.

Такой состав источников самым непосредственным образом сказался на содержании книги. Но несмотря на отдельные, иногда весьма досадные пробелы в мемуарной литературе, учет имеющегося мемуарного наследия, без сомнения, весьма важен для воссоздания исторически достоверной, колоритной картины жизни Петербургского университета в XIX в.

Часть мемуаров, характеризующих развитие университетского педагогического процесса, университетской науки, академической жизни и быта студенчества, хронологически возглавляется открывающими книгу отрывками из «Воспоминаний старика» Н. И. Греча. Эти фрагменты посвящены разгрому Руничем Университета в 1821 г. Ценность мемуаров Греча состоит в том, что в данном случае они идут главным образом «от факта», а не от общественно-политической концепции автора с органически ей присущей апологетикой самодержавия. Если отбросить несколько верноподданнических сентенций автора («Едва ли можно поверить, чтобы нечто подобное могло случиться в XIX в., в царствование Александра I!» и т. п.,— см. стр. 20 наст. изд.), то следует признать, что «Воспоминания старика» воссоздают хотя и не вполне достоверную, но красочную картину расправы над только что созданным Университетом в период крутого поворота правительственной политики к открытой реакции.

Воспоминания об Университете 1830-х годов (Ф. Н. Фортунатов, Е. А. Матисен, Н. И. Иваницкий, И. С. Тургенев, В. В. Григорьев) отмечены разнообразием фактического материала, касающегося преимущественно отдельных эпизодов студенческой жизни. Но мимо читательского внимания не пройдут и некоторые выразительные характеристики профессоров историко-филологического факультета. Так, весьма сходные портреты П. А. Плетнева рисуют Фортунатов и Тургенев, с искренней задушевностью вспоминавший о покойном «почтенном и благодушном» профессоре. Читатель, разумеется, примет во внимание, что этот отзыв относится к Плетневу 1830-х годов — либеральному профессору, другу Пушкина, и что он не может быть распространен на 1840—1850-е годы, когда крайне отрицательно отнесшийся к Белинскому Плетнев проделал бурную эволюцию вправо.

Записки Матисена, так же как и воспоминания Иваницкого, интересны тем, что содержат характеристику деятельности профессора историко-филологического факультета Университета Н. В. Гоголя. Существует многочисленная группа мемуаристов, весьма противоречиво оценивавших лекции Гоголя, к которому, по словам В. Г. Белинского, «никто не был равнодушен: его или любили восторженно или ненавидели». Естественно, что это качество отношения к Гоголю сказалось и в воспоминаниях о его профессорской деятельности. Множество воспоминаний о Гоголе, отмечал Н. Г. Чернышевский, «объясняют только второстепенные черты» его личности. Это предостережение не может быть отнесено к мемуарам Матисена и Иваницкого, отличающимся наибольшей достоверностью и полнотой отображения университетского периода творческой биографии великого писателя. Воспоминания Иваницкого написаны с прямо полемической целью: опровергнуть необъективное освещение профессорства Гоголя одним из исследователей его творчества.

Несколько особняком стоят воспоминания В. В. Григорьева о студенческих годах Т. Н. Грановского. Опубликованные в одном из первых номеров славянофильской «Русской беседы», воспоминания Григорьева могут быть признаны объективными только

в той небольшой части, которая и воспроизводится в настоящем издании. Характеристика Университета, преподавания в нем, состава студенчества и другие сведения подобного рода в основном исторически достоверны и представляют в воспоминаниях Григорьева безусловный интерес. Когда же речь заходит о научной, а тем более об общественно-политической деятельности западника Грановского, славянофильствующий востоковед Григорьев становится, да и не может не становиться, крайне субъективным и несправедливым в оценках. Возможно, что на характеристику облика выдающегося русского медиевиста повлиял и личный момент зависти к нему со стороны Григорьева. Демонстративно подчеркивая дурную подготовку к слушанию университетского курса и свою и Грановского, мемуарист вынужден отметить, что Грановский — «знаменитость наша по части истории», тогда как сам Григорьев в пору работы над воспоминаниями был второстепенным чиновником в администрации Оренбургского края.

Воспоминания П. П. Семенова-Тян-Шанского, проникнутые огромным уважением к Университету, привлекают лаконичными, но выразительными отзывами о блестящей плеяде ведущих профессоров физико-математического факультета второй половины 1840-х годов: физике Э. Х. Ленце, зоологе С. С. Куторге, химике А. А. Воскресенском, астрономе А. Н. Савиче, «одном из лучших математиков России» П. Л. Чебышеве.

Выдающийся историк русской литературы, близкий Н. Г. Чернышевскому А. Н. Пыпин характеризует в своих содержательных «Заметках» душную атмосферу историко-филологического факультета последних лет николаевского царствования. Примечателен в ряду других рассказ Пыпина о провале И. И. Введенского на конкурсе по кафедре русской словесности. И. И. Введенский не был допущен к профессорской деятельности за то, как вспоминает Пыпин, что в своей конкурсной лекции подчеркнул: «. . . энергия деятельности Ломоносова имела источником то, что он был „мужик“». Демократически настроенная профессура не допускалась в те годы к порогу Университета, зато всемерно поддерживались тупые реакционеры. Пафосом уничтожающей, подчас даже несколько преувеличенной критики «кретинизирующей деятельности» профессоров — представителей воинствующей аполитичности (какими были, например, Касторский и Сухомлинов, стремившиеся каждого студента сделать «туго набитым историческим чемоданом») — проникнуты ядовитые сарказмы Д. И. Писарева в его автобиографической статье «Наша университетская наука».

Свежий очистительный ветер общественного движения 1860-х годов несколько изменил обстановку в Университете. Во второй половине 1860-х годов на физико-математическом факультете учился П. А. Кропоткин, в прошлом — блестящий воспитанник привилегированного военно-учебного заведения, в будущем — профессиональный революционер, один из основоположников русского анархизма, снискавший себе вместе с тем славу крупного географа. В «Записках революционера», фрагменты из которых включены в настоящее издание, Кропоткин посвятил своим университетским годам несколько десятков содержательных строк. Сильное впечатление оставляют слова, найденные Кропоткиным для описания «величественной картины» рождения научных обобщений, свидетельствующие о глубоком благоговении ученого и революционера перед подлинной университетской наукой.

Несомненный интерес представляют воспоминания одного из крупнейших русских математиков, питомца Петербургского университета А. М. Ляпунова о гениальном русском ученом П. Л. Чебышеве. Рассказывая о научной и педагогической деятельности своего великого учителя, А. М. Ляпунов обращает особенное внимание и на важность практического применения науки, горячим пропагандистом которого был сам Чебышев, математик и изобретатель, творивший, «руководствуясь взглядом, что только те изыскания имеют цену, которые вызываются приложениями [научными или практическими]».

Точность фактических справок отличает воспоминания Х. Я. Гоби о профессорской деятельности А. Н. Бекетова на кафедре ботаники. Гоби свидетельствует, что то, из чего родилась материальная база кафедры, до Бекетова существовало лишь в виде нескольких пачек гербариев и поражавших своей неуклюжестью микроскопов да... куске мела. Мемуары Х. Я. Гоби представляют собою яркий рассказ о Бекетове — крупнейшем ученом и организаторе науки, создателе всемирно известных ботанических коллекций Университета, строителе-основателе университетского Ботанического сада, выдающемся популяризаторе научных знаний в широких массах народа.

Продолжая обзор включенных в настоящее издание мемуаров, посвященных развитию университетской научной мысли, отметим выдающееся значение отрывков из «Автобиографических записок» И. М. Сеченова. Все, написанное И. М. Сеченовым об Университете, преисполнено «великого уважения» (слова Сеченова) к профессорской коллегии, тем более глубокого, что, как пишет Сеченов, Университет в 1870—1880-х годах переживал «очень трудные времена». Защита прогрессивными профессорами академических прав студентов, запрещение мракобесом Д. А. Толстым баллотировки Сеченова в члены академии, чудовищная история об отказе «отцу русской физиологии» в звании «заслуженного профессора», наконец, характеристика собственных занятий в университетской лаборатории, в которой, по свидетельству Сеченова, он «работал очень удачно и качественно сделал в сущности больше, чем в какой-либо из прежних лабораторий», — таковы некоторые из сюжетов, нашедших отражение в публикуемых фрагментах из «Автобиографических записок».

Воспоминания В. Е. Тищенко, Б. П. Вейнберга и Д. П. Коновалова — крупных советских химиков — о своих учителях, Д. И. Менделееве и А. М. Бутлерове, тесно переплетаются между собой, охватывая один и тот же период времени 1880—1890 гг. Воспоминания эти касаются не только отдельных эпизодов деятельности великих русских ученых. Мемуаристы с необычайной даже для лучших образцов мемуарной литературы полнотою характеризуют не только научную и педагогическую, но и общественную деятельность ученых и их личные качества, создавая образы двух друзей, великих корифеев науки.

В. Е. Тищенко с огромной любовью к Д. И. Менделееву лепит образ своего гениального учителя. Вначале Менделеев показан таким, каким его видел студент-первокурсник — увлекающим лектором и грозным экзаменатором. Затем перед нами встает образ могучего ученого, красивого человека, которого любили «несмотря на крутой нрав» все: и сотрудники и студенты, великого и скромного труженика, не раз восклицавшего: «Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений».

Уникальные воспоминания Б. П. Вейнберга с исключительной силой выразительности воспроизводят неповторимый стиль Менделеева-лектора на основе счастливым образом составленных мемуаристом в студенческие годы стенограмм знаменитых лекций Менделеева о марганце.

Страницы мемуарных записей Д. П. Коновалова позволяют живо представить подробности радостной, дружеской, творческой работы в университетской лаборатории А. М. Бутлерова. Без этих подробностей наши представления о причинах бурного, блестящего развития «бутлеровской школы» (Д. И. Менделеев) остались бы сухими и неконкретными.

В забытом очерке И. Зайцевского, посвященном памяти П. Ф. Лесгафта, читатель найдет взволнованный рассказ о великом ученом, передовом общественном деятеле, продолжателе педагогики В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, К. Д. Ушинского, человеке, обладавшем, по отзыву департамента полиции, «особым талантом влиять» на молодежь «в противоправительственном направлении» и изгнанном в конце концов реакционной администрацией из Университета.

Воспоминания крупнейшего советского антиковеда С. А. Жебелева о студенческих годах на историко-филологическом факультете создают целостное представление о пагубных последствиях применения полицейского университетского устава 1884 г.

Проживший долгую и плодотворную жизнь наш недавно скончавшийся современник, советский художник, искусствовед, академик И. Э. Грабарь в конце 80-х годов прошлого века поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но для осмысления творческого пути И. Э. Грабаря — историка, хранителя, собирателя, реставратора памятников искусства, художника и архитектора — первостепенное значение имеет, несомненно, учет того факта, что, как свидетельствует академик в публикуемых отрывках из его «Автомонографии», он «прослушал курс историко-филологического факультета значительно полнее и добросовестнее, чем юридического».

Наброски воспоминаний о своих занятиях на восточном факультете оставил академик Н. Я. Марр, уже на студенческой скамье выступивший с рядом интересных научных гипотез.

Впервые публикуется в настоящем издании статья А. Н. Бекетова «Характеристика студентов, особенно петербургских». Написанная в грозный для Университета 1887 год,

год покушения Александра Ульянова и его товарищей на жизнь царя, статья Бекетова представляет замечательную во многих отношениях попытку защитить русские университеты и русское студенчество от новых ударов черносотенной реакции.

Не увидавшая в свое время света статья (открывающаяся выразительным очерком основных черт быта студенческой бедноты, составлявшей подавляющее большинство универсантов) направлена в два адреса.

Первый адресат ее — царское правительство. Стремясь оградить студенчество от обвинений в политической неблагонадежности, Бекетов утверждает, что оно не имеет «какой-нибудь особой (подразумевается тайная. — *Сост.*) организации», а руководствуется только молодостью, «в которую человек особенно горячо сочувствует всему хорошему, прекрасному и великому». В последних словах Бекетова звучит открытое сочувствие студенческому движению.

Стремление отвести от студенчества нависшую угрозу заставляет Бекетова утверждать в последующих строках, что «нельзя единовременно заниматься науками и какими бы то ни было общественными делами». Выдающийся ученый, общественный деятель, популяризатор науки, Бекетов великолепно сознавал огромную важность общественной деятельности ученого именно для той «гражданской и общественной доблести», к которой он и призывает несколькими страницами ниже русское студенчество.

Тем же стремлением оградить Университет от нового наступления реакции продиктовано и утверждение Бекетова о том, что «студенты живут по большей части в разброде», существующие между ними связи «вызываются единственно необходимостью совместного учебного процесса». Впрочем, это утверждение тут же опровергается самим автором. Сквозь вынужденно сглаженный язык статьи прорывается признание, что студенческие волнения вызваны именно неутоленным стремлением студентов к товарищескому общению. С негодованием пишет Бекетов о разгонах полицией «сообща занимающихся» студентов.

Русское студенчество является вторым и, несомненно, главным адресатом статьи, в которой, правда в завуалированной форме, выражена совершенно криминальная с правительственной точки зрения мысль о необходимости «общего развития», без чего приобретаемые студентами «знание и даже труд останутся безнадежными».

Прочтя этот призыв к прогрессу, внимательный читатель отбросит заведомо для правительственных органов написанное рассуждение о том, что «университетское меньшинство активною политикою... не занимается». Он вернется к тем абзацам статьи, где эту передовую часть студенчества, обозначенную «меньшинством», Бекетов называет хранительницей идеалов «всего русского студенчества».

Неизвестная до сих пор читателю статья Бекетова — яркий документ борьбы передовой профессуры Петербургского университета против мракобесного университетского устава 1884 г.

Таковы наиболее значительные из глав коллективного повествования современников о противоречивом развитии академической жизни Петербургского университета на протяжении первых семидесяти лет его истории.

* *
*

Характеризуя роль студенчества в развитии общественно-политического движения России 1830—1850-х годов, А. И. Герцен писал: «Значение университетской молодежи в России совершенно иное, чем в других странах. В университетах, лицеях, академиях и небольшом круге литераторов укрывалась и возросла русская мысль; во все время тридцатилетнего избиения ее (правительством Николая I. — *Сост.*) там жила надежда и жили верования, там лились слезы и сердце билось человеческим негодованием, — в то время, как вся шляхетная Россия, помещичья, военная и чиновная, подло пресмыкалась перед бездарнейшим злодеем в истории — за право сечь и грабить, за чечевицу оброка и барщины, за фольгу и стеклярус крестов, за потворство взяткам и казнокрадству. Да, в то позорное время, когда во всей России, от четырнадцатого до первого класса, не поднялось ни одного протеста, курс за курсом, школа за школой давали свою жертву ... и Николай с тупою злобой мял в своих лапах юную душу до тех пор, пока чахотка или черкесская пуля освобождала ее. Курс за курсом, не зная того, без

формы и знаков, передавал таинственный пароль, завещенный мучениками 14 декабря. . .»[10]

Вдохновенные строки А. И. Герцена могут быть в полной мере отнесены к идейной жизни Петербургского университета в эпоху николаевского безвременья. Многочисленные подтверждения этому содержатся в мемуарных свидетельствах питомцев Университета. Так, и Матисен и Тургенев пишут о восторженном отношении их сотоварищей к великому продолжателю дела героев 14 декабря А. С. Пушкину. А. Н. Пыпин, вспоминая, что он и его товарищи «имели точные сведения» о петрашевцах, читали то, «что читали в кружке Петрашевского», знакомились с «социалистической иностранной литературой», подчеркивал, что студенты возмущались жестокостью кары, обрушенной правительством на русских социалистов. Многозначительны и строки «Записок» Пыпина о том, как «близко принимали к сердцу» студенты Петербургского университета «литературные погромы» того времени — «ссылку Салтыкова, деяния . . . цензуры и III Отделения. . .»

Неразрывно связано с Петербургским университетом формирование революционно-демократической идеологии. Воспоминания Н. В. Шелгунова сохранили потомству несколько живых подробностей об одном из первых выступлений вождя русской революционной демократии Н. Г. Чернышевского — защите им в 1855 г. его знаменитой диссертации. «В ней, — пишет Шелгунов, характеризуя впечатление аудитории, студентов и посторонней Университету молодежи, — было все ново: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения». О диссертанте Шелгунов записал с выразительной лаконичностью: «Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения». Об этой лапидарности стиля Шелгунова-мемуариста нельзя не пожалеть, поскольку его «Воспоминания» содержат, несомненно, лишь малую часть того, что мы могли бы узнать от их автора о таком выдающемся в истории общественного движения и университетской науки событии, каким было выступление Чернышевского с защитой диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности».

«Золотое время Петербургского университета»[11] — конец 1850 — начало 1860-х годов — нашло щедрое отражение в мемуарной литературе. Замечательной особенностью лучших из воспоминаний об этой поре является присущее им полемическое отношение к либеральной интерпретации причин студенческого движения 1861 г. как порожденного будто бы исключительно возмущением молодежи правительственными майскими «правилами». «Не с 1863 года следует считать начало реакции, как это делают многие,— писал, например, А. М. Скабичевский, „Литературные воспоминания" которого полны метких зарисовок тогдашней университетской жизни,— а со дня выпуска манифеста 19 февраля. Раз наверху увидели, что все обошлось мирно и спокойно и не последовало никакого общего кавардака вслед за объявлением манифеста, — реакция тотчас же подняла голову и правительство убедилось, что со студентами не стоит больше церемониться». Новейшие исследования позволяют вполне поддержать этот вывод мемуариста.[12]

Известно, что К. Маркс и Ф. Энгельс в работе «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих» (1873) рассматривали студенческие волнения 1861 г. в Петербургском университете в качестве важного проявления общественно-политической борьбы в России. «С каждым днем,—писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— это движение все больше разрасталось в учебных заведениях и вливало в русское общество массу неимущей, вышедшей из простого народа, образованной и проникнутой социалистическими идеями молодежи. Идейным вдохновителем этого движения был Чернышевский. . .»[13] Вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом В. И. Ленин считал студенческие волнения важным показателем революционного возбуждения 1861—1862 гг.[14]

---

[10] А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. 15. М., 1958, стр. 185—186.

[11] Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М., 1923, стр. 114.

[12] Н. Г. Сладкевич. Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х годов XIX в. Вестник ЛГУ, 1947, № 8, стр. 108.

[13] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 389.

[14] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 29.

Воспоминания Л. Ф. Пантелеева (в которых, по отзыву В. И. Ленина, «сгруппированы некоторые очень интересные факты»[15] о революционном движении начала 1860-х годов), А. М. Скабичевского, К. А. Тимирязева, Н. Я. Николадзе, пламенная статья Н. Г. Чернышевского «Научились ли?» ярко, порою с удивительной силой эмоциональной выразительности воссоздают историческую правду о бурной в истории Университета эпохе начала 1860-х годов.

Об одном из значительных проявлений превращения Петербургского университета той поры в центр притяжения лучшей части демократической интеллигенции рассказывает глава из «Воспоминаний» Л. Ф. Пантелеева «Женщины в Петербургском университете».

О возмущении студентов тем, что Университет отдан на откуп «дискредитированной военщине» в образе попечителя, «кавказского вояки, генерала Филипсона», о восторженном отношении студенчества к передовой университетской профессуре, о потрясающем впечатлении от революционной прокламации «К молодому поколению», читанной вслух в Актовом зале, о бурных сентябрьских сходках, вылившихся в знаменитую демонстрацию 24 сентября 1861 г., которую К. Маркс и Ф. Энгельс относили к числу внушительных манифестаций,[16] организованных петербургским студенчеством, о месяцах, проведенных сотнями арестованных студентов в «заплесневелых казематах» Петропавловской и Кронштадтской крепостей, об укреплении революционного содружества петербургских университетов с московскими — рассказал в своих «Воспоминаниях о шестидесятых годах» активный участник движения Н. Я. Николадзе. Читатель отметит высокое уважение, с которым относился Николадзе к русскому освободительному движению, к его вождям Н. Г. Чернышевскому, Н. А. Добролюбову, М. Л. Михайлову. Этот аспект мемуаров грузинского революционного демократа хорошо дополняют свидетельства Л. Ф. Пантелеева о ярких проявлениях польско-русской и польско-русско-украинской дружбы в Университете в связи с чествованием памяти жертв варшавских расстрелов в феврале 1861 г. и с похоронами Т. Г. Шевченко. Л. Ф. Пантелееву принадлежит заслуга быть автором первого обстоятельного мемуарного рассказа (впрочем, не во всем достоверного) о многогранных связях радикальных слоев студенчества Петербургского университета с крупнейшей революционной организацией той поры — «Землей и волей».

Выдающийся памятник борьбы русской революционной демократии в защиту академических прав студентов Петербургского университета (и вместе с тем за предотвращение разгрома одной из наиболее активных землевольческих организаций) — статья Н. Г. Чернышевского «Научились ли?» — также включена в настоящее издание.

Подробности студенческого быта 1880-х годов, напряженная общественная жизнь студенчества, кипевшая в научных обществах, а зачастую и далеко от аудиторий — в нелегальных кружках, яркая картина антиправительственной манифестации студенчества в добролюбовскую годовщину 1886 г. составляют содержание фрагментов из широко известных мемуаров В. В. Вересаева «В студенческие годы», имеющих не только важное историческое, но и выдающееся художественно-литературное значение.

Революционная деятельность студентов-народовольцев оставила в мемуарной литературе заметный след. Об этом, в частности, пишут А. И. Ульянова-Елизарова, В. А. Поссе, И. Н. Чеботарев, А. С. Серафимович, С. Ф. Ольденбург. Все эти авторы большое внимание уделяют герою «Народной воли» А. И. Ульянову, чьи «буйно-блестящие способности» (А. С. Серафимович) к научной работе отступили перед революционным темпераментом борца. По словам А. И. Ульяновой-Елизаровой, Александр Ильич Ульянов был из тех натур, в которых антинародная политика царизма вызывала горячий протест, стремление показать самодержавию, что «будет, должен быть положен предел, чего бы это ни стоило, — что если нужны жертвы, найдутся и жертвы».

У А. С. Серафимовича, перу которого принадлежит один из лучших литературных портретов Александра Ульянова, есть примечательные строки о первом знакомстве в студенческом кружке с произведениями основоположников научного коммунизма. «Стали читать Маркса („Капитал") — мучительно, невыносимо трудно вначале, — вспоминал А. С. Серафимович, — случалось, за пять, за шесть часов чтения успевали разобрать

---

[15] Там же.

[16] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 389.

и понять строчек десять. Порой приходили в отчаяние от своего невежества и непонимания. Зато, когда одолели, точно широкие ворота отворились».

О первом в России кружке социал-демократов дают представление автобиографические записки его основателя Д. Н. Благоева, начинавшего свою революционную деятельность студентом Петербургского университета.

Исключительный интерес представляют завершающие книгу воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой и А. А. Белякова о напряженной работе молодого В. И. Ульянова в период подготовки к экзаменам в Петербургском университете. «Тогда многие удивлялись, — пишет сестра В. И. Ленина А. И. Ульянова-Елизарова, — что, будучи исключенным из Университета, он в какой-нибудь год, без всякой посторонней помощи, не сдавая никаких курсовых и полукурсовых испытаний, подготовился так хорошо, что сдал вместе со своим курсом. Кроме прекрасных способностей, Владимиру Ильичу помогла в этом большая трудоспособность».

Ряд интересных деталей, характеризующих широту научных интересов В. И. Ульянова в пору подготовки к экзаменам, приводит в своих воспоминаниях А. А. Беляков. Владимир Ильич не только тщательно изучал литературу, требуемую по программе юридического факультета, но и уделял огромное внимание работе над произведениями К. Маркса и Ф. Энгельса, жадно изучал новинки политической и экономической литературы.

Органически присущее В. И. Ленину качество — единство глубокого научного познания и революционной практики особо отмечает С. Ф. Ольденбург, когда рассказывает о своей первой встрече с В. И. Лениным в 1891 г.: «За всеми вопросами Владимира Ильича чувствовался живой, непосредственный интерес и, если бы я не знал, что он занят активной борьбою, я подумал бы, что он решил посвятить себя науке».

* *
*

Порядок размещения включенных в том воспоминаний определяется, как правило, хронологической последовательностью описываемых событий. Следование этому принципу не вызвало нарушений цельности воспоминаний, за единственным исключением связанным с обширностью хронологических рамок и многосюжетностью мемуаров Л. Ф. Пантелеева.

Авторские заглавия публикуемых текстов, как правило, сохранены. Заголовки, принадлежащие составителям, отмечены в комментариях знаком *. Помеченные тем же знаком подстрочные примечания принадлежат авторам мемуаров, кроме случаев, оговариваемых особо.

Все пропуски текстов (вызванные отклонениями от университетской темы, очевидной фактической недостоверностью, длиннотами и повторами) отмечены многоточием, заключенным в ломаные скобки: <...>. В таких же скобках дается расшифровка принадлежащих мемуаристам отдельных слов. Квадратными скобками [ ] отмечены поясняющие мемуарный текст интерполяции комментаторов.

Комментарии носят по преимуществу реальный характер. Они содержат краткую характеристику каждого из авторов включенных в том воспоминаний, необходимые пояснения и уточнения, а во многих случаях включают фрагменты мемуаров современников, не вошедших в основной текст тома, но дополняющих картину, развернутую комментируемым мемуаристом.

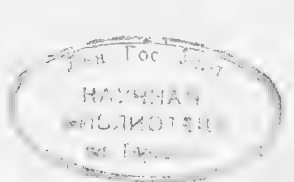
В заключение приносим глубокую благодарность рецензенту тома профессору С. Б. Окуню. Выражаем также искреннюю признательность научным сотрудникам общеуниверситетского музея Б. В. Золотареву, Н. Н. Кононовой, Н. А. Шмидт, В. И. Свиташевой, научной сотруднице Музея-архива Д. И. Менделеева Т. С. Кудрявцевой, сотруднику университетской кинофотолаборатории Б. С. Сукач за содействие выходу в свет настоящего издания.

В подготовке к печати текстов участие приняли З. В. Корнильева, Н. О. Серебрякова и В. А. Цыбульский.

Н. И. Греч

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРИКА

Рунич[1] был ревнителем, поклонником, подражателем и карикатурою Магницкого. Тот был хитрый и расчетливый плут, насмехался над всем в свете, дурачил кого мог, и пользовался слабостями и глупостью людей. Рунич был дурак, хвастун, пустомеля <...> Подражая во всем Магницкого, восхищаясь его Робеспиеровскими подвигами в Казани, Рунич хотел повторить тоже с большим блеском и громом в Петербурге.[2] Помощником ему был профессор русской словесности Яков Васильевич Толмачев,[3] переведенный в университет из Петербургской семинарии за то, что учил грамоте девиц Перовских, побочных дочерей графа Разумовского <...> Толмачев приобрел, то есть выкрал, тетрадки студентов. Это мне известно в точности. Брат Бориса Карловича Данзаса, Генрих, умерший в молодых летах, лежал больной неопасною болезнью в лазарете и слышал, как Толмачев подговаривал студентов выдать ему тетрадки их товарищей. На возражения их он отвечал: «Что их щадить, этих проклятых немцев, всех их надо выгнать. От них житья нет!».[4] На жертву избраны были профессоры Герман, Раупах, Арсеньев и Галич. Герман,[5] ученик знаменитого Шлецера в Геттингене, был человек умный и ученый, но тяжелый, ленивый и довольно легкомысленный. Он преподавал в университете Всеобщую Статистику умно и дельно, но поверхностно. Гораздо интереснее и важнее были частные лекции его в обществе молодых офицеров и других любителей наук. По миновании бури, он поступил инспектором классов в Смольном монастыре и Екатерининском институте и пользовался до конца жизни своей милостями императрицы Марии Федоровны. Он издал несколько книг о статистике на русском и на немецком языке, не отличающихся внутренним достоинством и написанных поверхностно, но был человек честный и добрый и никогда не замышлял ничего дурного: это требует напряжения и труда, а он любил негу и лень. Умер он в 1838 г.

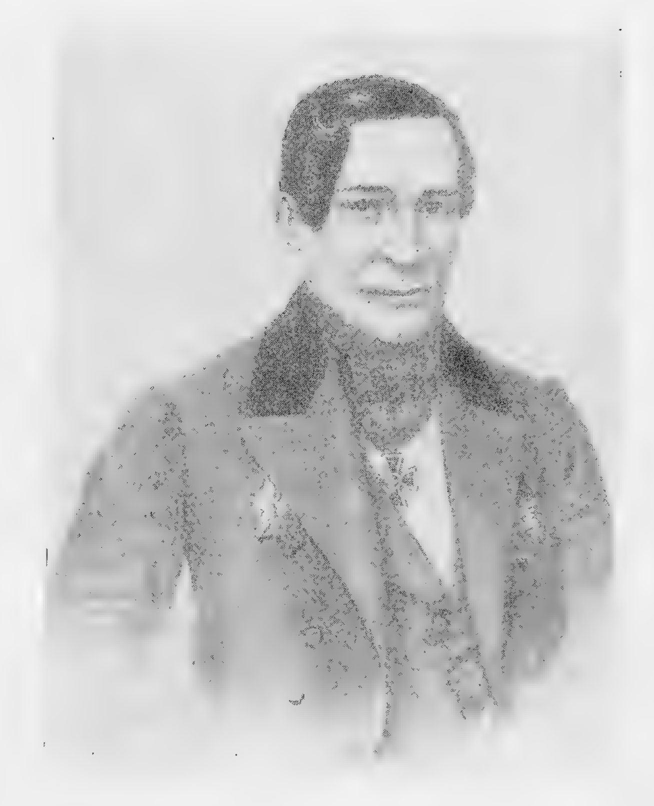




М. А. Балугьянский

Эрнст Раупах,[6] впоследствии известный драматический писатель. был гувернером детей кн<язя> П. М. Волконского и, по протекции Уварова,[7] поступил в университет сперва профессором немецкой литературы, а потом всеобщей истории. Он был протестант и поэт, следственно преподавал свой предмет свободно и не стесняясь узкими взглядами суеверов. Может быть, он был и неосторожен, но никак не был ни революционером, ни безбожником. Лекции его были тем безвреднее, что он преподавал на немецком языке, которого девять десятых студентов не понимали, а остальные были протестанты. Полагаю, что он навлек на себя негодование начальства тем, что понимал и презирал тогдашних своих командиров.

Константин Иванович Арсеньев,[8] ученик Германа, человек благородный, честный и кроткий, подпал гневу начальства за то, что не согласился жениться на племяннице ректора Зябловского.[9] Какой изверг! <...> Арсеньев, служа в инженерном училище, пользовался милостями великого князя Николая Павловича и впоследствии был учителем ны-



К. И. Арсеньев

нешнего государя Александра Николаевича <...>. Александр Иванович Галич,[10] человек добрейший, основательно учившийся философии, но слабый и бесхарактерный, был игрушкою учеников Петровской школы, в которой он сменил меня, в 1813 г., в звании старшего учителя русского языка. Не умея, при всей своей учености, справиться с высшими классами, он просил перевести его в класс для преподавания чтения, что и было исполнено. Потом получил он место профессора философии в университете. Он написал Историю Философских Систем по немецким источникам, варварским и темным слогом. Из этой несчастной книги извлекли материалы к обвинению его. Ему самому приписали чужие мнения, которые он приводил в истории.[11]

Профессоры университета разделились на две стороны — белую и черную. На белой были: Балугиянский,[12] Лодий,[13] Бутырский,[14] Плисов,[15] Шармуа,[16] Деманж,[17] Грефе,[18] Чижов,[19] Соловьев,[20] Вишневский,[21] Ржевский,[22] Радлов[23] и директор училища Тимковский.[24] На черной: Дегуров,[25] Зябловский, Толмачев, Рогов,[26] Попов[27] и Щеглов.[28] Первые

придерживались своего мнения и выражали онос по искреннему убеждению, по долгу правды и чести; последние по зависти, подлости, трусости и желанию выслужиться у гнусного начальства. По составлении Руничем и его клевретами обвинительных пунктов, подсудимым сделаны были допросы в заседаниях университета 3-го, 4-го и 7-го ноября 1821 г.[29] <...> Едва ли можно поверить, чтоб нечто подобное могло случиться в 19-м в., в царствование Александра I! Рукопись Плисова, <заключавшая в себе оправдательное изложение этих заседаний>, разошлась по рукам.[30] Святоши, узнавши о том, стали его преследовать. Плисов преподавал естественное право в гимназии. Кавелин[31] обещал Руничу сгубить его на тогдашнем экзамене <...>

По рассмотрении Руничем учебных тетрадок донес он о них министру: «Хотя в тетрадках Плисова не найдено ничего предосудительного, но это самое и доказывает, что он человек вредный, ибо, при устном преподавании, мог прибавлять, что ему вздумается». Плисов был уволен от должности. Впоследствии был он директором Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий по Министерству Внутренних Дел и отставлен Перовским за то, что не хотел скрепить противозаконной, по его мнению, бумаги. Он умер в звании члена консультации в Министерстве Юстиции.

Дело профессоров кончилось ничем. Герман поступил на службу к императрице Марии Федоровне. Раупах вышел в отставку, уехал в Германию, посвятил себя драматической литературе и приобрел большую известность <...> Арсеньев был определен по Статистическому отделению в Министерстве Внутренних Дел.[32] Когда Рунич, получив за свои подвиги орден св. Владимира 2-й степени, явился к великим князьям, Николай Павлович благодарил его за изгнание Арсеньева, который мог теперь посвятить все свое время Инженерному Училищу, и просил выгнать из университета еще несколько человек подобных, чтоб с пользою употребить их на службу.

Сам Рунич сгубил себя. Надлежало перестроить здание, купленное для Петербургского Университета в Семеновском полку, где ныне Синодальное подворье, на углу Кабинетской улицы.[33] Рунич исходатайствовал согласие министра строить эти здания не с подрядов, а хозяйственным образом, получил миллион триста тысяч рублей асс[игнациями] по смете, отделал себе квартиру, построил отхожие места и кончил — за недостатком сумм.[34] Его и всех чиновников, прикосновенных к делу, предали следствию и суду и приговорили к взысканию с них недоимки. Но взять было нечего. Рунич детей своих роздал по казенным заведениям, а сам шатался по улицам с владимирскою звездою, отпустив себе усы, горланил, хвастал и жаловался, обедал, где случалось и так провел свой век <...>

Ф. Н. Фортунатов

ВОСПОМИНАНИЯ О С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ за 1830—1833 годы

Университет помещался тогда на углу Кабинетной улицы против Семеновских казарм. Это узкое, двухэтажное, продолговатое здание в виде литеры П <...> не может идти ни в малейшее сравнение с настоящим великолепным и обширным помещением Петербургского университета (с 1838 г.), в здании 12 коллегий. Наш тогдашний дом перестраивался несколько лет, перестройка стоила огромных сумм, но самое здание невозможно было приспособить с удобством для помещения высшего учебного заведения, при котором еще находился институт казенных студентов.[1] Петербургский университет теснился в нем с 1823 по 1838 год: здесь лепились аудитории, университетские кабинеты и музеи, камеры для казенных студентов, квартиры для двух субинспекторов, для нескольких адъюнктов, для эконома и прислуги университетской. Для квартиры инспектора студентов и для помещения цензурного комитета нанимался соседний дом, состоявший в связи с университетским зданием. В верхнем этаже здания помещалось, сколько помню, четыре или пять аудиторий; да в нижнем этаже две аудитории, из которых одна служила и для химической лаборатории. В университете было три факультета: историко-филологический, физико-математический и философско-юридический. В январе 1830 г. был седьмый выпуск студентов с открытия университета. 26 человек окончили тогда университетский курс, из них 16 со степенью кандидата и 10 действительными студентами. Из них кандидат математического факультета П. А. Назарьев назначен в Вологду учителем естественной истории вместо деда моего двоюродного, Алексея Федоровича Фортунатова, умершего 4 декабря 1828 г. Это был первый в Вологодской гимназии наставник из Петерб<ургского> университета, занявший учительское место, бывшее вакантным более года.

Во всех трех факультетах в 1830 г. было студентов до 170 человек, между тем как в 1826 г. общее число студентов доходило только до 30-ти. Точно так же и число окончивших в 1830 г. унив<ерситетский> курс (26) было гораздо значительнее, чем в предшествовавшем году: в 1829 г. вышли из университета 4 кандидата и 6 действ<ительных> студентов, всего 10 человек.

Лекции назначено было в то время читать по два часа каждую; но многие профессора приходили в аудиторию спустя полчаса, а иные уходили из аудитории ранее положенного получасом, и лекции у тех и у других продолжались не более полутора часов. Ежедневно утром от 8 до 12 часов назначалось по две лекции, а после обеда лекции продолжались от двух до шести часов вечера. Сверх того в 1830 г. с шести часов вечера два раза в неделю адъюнкт-профессор Тихомиров[2] преподавал арифметику на тройных счетах <...>

В историко-филологический факультет входили, в мое время, следующие науки: 1) богословские науки; 2) языки древние: латинский и греческий; 3) русская словесность; 4) история всеобщая и русская; 5) древняя география; 6) статистика всеобщая и русская; 7) языки новые, из которых французский и немецкий были обязательными для каждого студента историко-филологического факультета, а английский и италиянский преподавались только для желающих. Некоторые предметы, как, напр[имер], теория изящных наук и археология, значились у нас только в росписании учебных предметов, но не преподавались за недостатком преподавателей. Философия и политическая экономия причислялись тогда к юридическому факультету, который и назывался поэтому философско-юридическим; а в состав филологического они тогда не входили, как ныне <...>

В сентябре 1832 г. явились в Петерб<ургском> университете новые преподаватели русской словесности, заменившие собою прежних. Это были Плетнев и Никитенко.

Петр Александрович Плетнев[3] определен был ординарным профессором, а Александр Васильевич Никитенко адъюнкт-профессором по кафедре русского языка и литературы.

С нами начал П. А. Плетнев свой *первый* курс русской литературы в Петербургском университете. Вышедши из бывшего Педагогического института, Плетнев сделался скоро известен в кругу тогдашних литераторов. Близость его с Жуковским открыла ему место наставника русской словесности у наследника всероссийского престола. У нас читал Плетнев два раза в неделю от 8 до 10 час<ов> утра; сколько помню, на субботнюю лекцию свою являлся он к нам в шелковых чулках и башмаках, а в 10 часов отправлялся он от нас в придворной карете к венценосному ученику своему.

Прежде чем приступить с нами к истории рус<ской> литературы, он предпослал этому курсу общие замечания о литературе и языке вообще. Во вступлении к истории литературы у него заключалось решение вопросов: 1) что должна содержать история литературы; 2) в каком отноше-

нии история литературы относится к истории политической; 3) как надобно определять в истории литературы эпохи и изображать периоды; 4) какому выбору должно подвергать все материалы из истории литературы <...>

Историю рус<ской> литературы успел с нами довести Плетнев только до Ломоносова. Он долго останавливался с нами на том, что должно было иметь главнейшее влияние на ход нашей древней литературы.

Вот как определял Плетнев историю литературы. Она есть исследование, до какой степени совершенства достиг какой-либо известный народ в разных умственных направлениях, пользуясь всеми способами, которые доставили ему обстоятельства <...>

Главных направлений в литературе признавал Плетнев четыре: религиозное, патриотическое, ученое и политическое.

Главным источником, на который ссылался Плетнев почти на каждой лекции, была хорошо ему знакомая «История государства российского» Карамзина.[4] Плетнев постоянно следил за текущею литературою, и лишь только являлось какое-нибудь замечательное произведение, из лекций Петра Александровича мы видели, что оно ему знакомо, например, говоря об употреблении слов провинциальных и встречающихся в старинных пословицах, он сослался на пословицу, вычитанную им в лишь только вышедших тогда сказках Казака Луганского (В. И. Даля):[5] «иногда рыба идет на *блёвку,* иногда на *блёску*».

Записок Плетнев нам не выдавал, но записывать за ним было очень свободно, потому что читал он неспешно, останавливаясь на каждом слове. По окончании годичных экзаменов по его предмету, в июне 1833 г., прощаясь с нами, он обратился к нам с несколькими словами, произнесенными с теплотою душевною:

«Мне очень жаль, сказал он, что я так недалеко дошел с вами в истории рус<ской> литературы: она представляет еще непроходимый лес, в котором мне приходилось впервые прокладывать дорогу; я знаю, прибавил он по скромности, что одушевленные лекции по древним языкам Ф. Б. Грефе были для вас гораздо увлекательнее моих и побуждали вас по преимуществу к усидчивым занятиям по древней филологии. Первая любовь бывает самая крепкая (прибавил он в заключение, расставаясь с нами): я желал бы, чтобы вы сохранили воспоминание обо мне также, как сохраню я навсегда воспоминание об вас, моих первых университетских слушателях» <...>

Петр Александрович был доступен во всякую пору студентам, желавшим получить от него совет, или какое-либо содействие. Мне довелось к нему обращаться в декабре 1832 г., когда узнал я, что в родной мне Вологод<ской> гимназии может открыться вакантное место учителя русск<ой> словесности вместо тамошнего наставника, пожелавшего было переместиться в Западный край, куда был вызов учителей. Плетнев пообещал мне, что место останется вакантным до окончания мною унив<ерситетского> курса; с полным участием и вниманием выслушав побуждения мои проситься на место в Вологду, он при этом дал мне несколько

прекрасных советов житейской мудрости о том, чтоб провинциальная среда не могла иметь вреда для продолжения университетского образования; он же советовал мне не сближаться с устаревшими преподавателями. Плетнев был тогда вдов после первого супружества; он жил у Обухова моста.[6] Плетнев, написавший великое множество биографий современников и сослуживцев своих, из которых стоит на первом месте обширная, от души написанная им биография Жуковского, сам Плетнев, говорю, не нашел еще для себя биографа. Петерб<ургскому> университету его замечательный профессор и ректор в продолжение многих лет (до временного закрытия университета в 1861 г.) оставил между прочим прекрасные ежегодные отчеты о его деятельности и описание первого двадцатипятилетия университета, читанное им на юбилейном акте 8 февр<аля> 1844 г. <...>

Лекции Ал. Вас. Никитенко,[7] вступившего в одно время с Плетневым в унив<ерситет> на кафедру рус<ской> словесности, хотя и не приходилось мне слушать ex officio, но я бывал на них несколько раз из любопытства. Очень хорошо памятна мне его вступительная лекция, читанная им после обеда в сентябре 1833 г. в присутствии величайшего множества посетителей, какого до того времени мне не доводилось еще видеть на лекциях; особенно много собралось военных офицеров; не только все скамьи и подоконники заняты были слушателями, но множество их густою толпою стояло вплоть до кафедры. Было в аудитории очень жарко и удушливо. Вместо двух тогдашних часов лекция не продолжалась и трех четвертей часа. Нам казалось, что это чрезмерное людство смутило несколько профессора. У даровитого и красноречивого преподавателя, привыкшего к импровизации в женских учебн<ых> зав<едениях>, был в руках конспектик в несколько строк <...>

Вспоминая о преподавании русской словесности в Петербургском университете, не могу не сказать и о тех произведениях изящной русской словесности, которыя, являясь в свет в ту пору, не оставались без влияния и на студентов университета.

1) Во главе всего должен стоять XII том истории государства Российского, изданный Блудовым в 1829 г.

2) Последние главы Онегина вышли в свет в эту же пору: VII-ая в 1830, а VIII-ая — в 1832 г. <...>

3) Борис Годунов Пушкина, явившийся в 1831 г., не оценен был на первых порах по достоинству. От этой драмы, из которой известны были ранее немногие сцены, ожидали чего-то другого.

4) Повести Белкина, замаскированные Пушкинским к ним предисловием, хотя и изумляли нас совершенством литературной отделки, но не скоро узнали мы имя их автора. По крайней мере, при чтении их в каникулы 1831 г., мы не знали еще, что они принадлежат перу Пушкина.

5) Гоголь также скрыл свое имя под псевдонимом в изданных им тогда повестях своих под названием: Вечера на хуторе близ Диканьки, Рудого Панька. Но скоро узнали мы настоящее имя автора этих повестей от одного студента, товарища Гоголя по Нежинскому лицею.

6) Илиаду Гомера, в переводе Гнедича, некоторые студенты, любители древних языков, не выпускали из рук на первых порах по выходе ее в свет (1829) <...>

7) В стихотворениях Языкова (1833) увлекались мы описанием студентской жизни в Дерпте.

8) В стихотворениях Козлова (1833) нравилось нам грустное настроение лиры поэта, уже в то время лишившегося зрения. Сын Козлова был в наше время студентом.

9 и 10) Романы Загоскина: Юрий Милославский (1830) и Рославлев (1831) привлекали к себе внимание наше по их патриотическому настроению. Нам тогда передавали, что последняя часть Рославлева писана Загоскиным в карантине между Москвою и Петербургом <...>

Доставать книги было нам тогда не так легко, как нынешним студентам. Богатства публичной библиотеки были тоже для нас недоступны. Мы могли пользоваться только Румянцовским музеем,[8] в котором новых книг по текущей литературе не находилось. Желавшие из нас следить за политическими известиями по иностранным газетам отправлялись для того в так называемое *Справочное место* на Гороховой улице, платя за каждый раз по гривеннику <...>

<Е. А.> М<атисен>

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ

Я воспитывался тогда в С.-Петербургском университете, переведенным в предшествующем году от Семеновских казарм[1] <...> на Васильевский остров, местожительство моих родителей. Сколько трудно было для меня прежде отправляться в такую даль на утренние и вечерние лекции, особенно зимою, когда они начинались уже в 8 часов утра, при сальных свечах, расставленных по мелким обветшалым и изрезанным пюпитрам, столь легко сделалось для меня теперь хождение в новое здание университета и при том не более одного раза в день, так как все лекции распределены были в новом здании только между 9 и 3 часами. При хорошей обстановке преподавания и при значительно увеличивавшемся противу прежнего времени числе студентов,[2] пользовавшихся уже некоторыми преимуществами в общественном положении — обязательный мундир с треуголкой и шпагой получил свое значение не многим меньшее, чем мундир гвардейский.[3] В особенности замечалось это на Васильевском острову, где студенты жили большею частию на вольных квартирах и помимо полиции подлежали одному университетскому начальству. Молодая жизнь, стоявшая еще вне всякого подозрения, требовала свои права и начала развиваться по примеру университетов германских, в особенности же Дерптского, из которого многие студенты, для пользования лекциями не немецкими, а русскими, начали переходить в Петербург и конечно переносили и дерптские обычаи и самостоятельность. Завелись разные партии, со своими сходками, коммершами и дуэлями, принят был немецкий комман, т. е. студентское обычное право, ввелось пение буршенлидеров вперемежку с русскими студентскими песнями Языкова — и все это без всякого политического характера, как и ныне еще замечается в Дерпте.[4] Студентский мундир, принадлежа уже ко всем слоям столичной жизни, был распространен повсюду: и в театрах, и в высших обществах, и даже на малых придворных вечерах. Натурально, что при разнообразии сту-



Здание Петербургского университета. Южный фасад. 1854 г.

дентского элемента, состоявшего и из аристократии, и из отбора высшего среднего сословия, и из провинциальных пришельцев, в особенности из западных и балтийских окраин, молодая жизнь не могла сплотиться так тесно, как в малых германских городах или в Дерпте, где студентство играет первую роль, но все-таки некоторый дух равенства и общая научная цель, поддерживаемая прилежным посещением лекций, давали себя чувствовать, и вообще поведение между собою студентов было не лишено достоинства и равноправия,[5] а отношение к ним столичного общества, в которое являлись лучшие и смотря по большим денежным средствам и несколько щеголеватее представители студентства, было исполнено доверия к юному поколению и даже некоторою гордостию на его успех <...>

К сему времени относится и большой успех, который имел своими лекциями Плетнев, и появление на кафедре Гоголя; первый завлекал в свою аудиторию студентов от всех факультетов, так что, несмотря на малочисленность учеников собственно филологического отдела, малая зала, где он читал, была всегда битком полна, что и было причиною перенесения лекций Плетнева в другую, большую аудиторию. Гоголь дер-

жал тогда вступительную лекцию древней истории и, сделавшись уже популярным своими рассказами, в особенности бытовыми из Малороссии, на сей лекции собирал около своей кафедры много юных литераторов; Гоголь не был никогда научным исследователем и по преподаванию уступал специальному профессору истории Куторге,[6] но поэтический свой талант и некоторый даже идеализм, а притом и особую прелесть выражения, делавших его несомненно красноречивым, — он влагал и в свои лекции, из коих те, которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние; жаль, что лекции Гоголя были непродолжительны: болезнь, поездка за границу и собственное его, всегда верное, чутье, что профессура не была природная его колея, стоявшая несравненно выше, — отвлекли его от сего поприща на большую пользу отечеству. Живо помню и последнюю его лекцию: бледное, исхудалое и длинноносое лице его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в виц-мундире, производила впечатление бедного угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда; Гоголь прошел по кафедре как метеор, с блеском оную осветивший и вскоре на оной угасший, но блеск этот был настолько силен, что невольно врезался в юной памяти. Особый эпизод в студентской нашей жизни было посещение Пушкина, приглашенного профессором Плетневым на одну из его очаровательных лекций. Помнится, в каком воодушевленном состоянии поднялся Плетнев на кафедру и как в то же время в дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавою головой, огненными глазами и желтоватым нервным ликом — шопот пробежал по всем скамейкам собравшейся в непомерном числе молодежи; Пушкин сел, с каким-то другим господином из литераторов, на одну из задних скамей и внимательно прослушал лекцию, не обращая внимания на беспрестанное осматривание его обращенными назад взорами сидевших впереди его студентов, для которых лекция эта очевидно пропала и с напряженным вниманием выслушано было только одно место, где даровитый профессор, читавший о древней русской литературе, вскользь упомянул о будущности ее и при сем имя Пушкина прошло чрез его уста; возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Это было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда и вскоре вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина, о которой вспоминаю следующее <...>

Многие студенты сговорились идти вместе на похороны Пушкина, но не знали, откуда будут похороны — все полагали, что из Адмиралтейской церкви; после оказалось, что таковых похорон вовсе в Петербурге не было; было одно отпевание в Конюшенной церкви; самое время препровождения туда тела держалось в неизвестности, и официальные при-

глашения были в церковь, из них только мы узнали о дне отпевания.[7] Толпами мы бросились сперва к Адмиралтейской, потом к Конюшенной площади, но здесь трудно было протолкаться через полицию, и только некоторые счастливцы получили доступ в церковь; в числе их меня не было, и я оставался с другими на площади и был очевидцем того, как на вопрос проходящего, кого хоронят, жандарм ничего не ответил, будочник — что не может знать, а квартальный надзиратель — камер-юнкера Пушкина! Этот камер-юнкер засел мне глубоко в памяти, и повторился в приказе о противнике поэта на кровавой площадке за Черною речкою, бароне Гекерне-Дантесе, о котором напечатано было в газетах, что он за убийство на дуэли камер-юнкера Пушкина разжалован в рядовые. Долго ждали мы окончания церковной службы; наконец на паперти начали появляться выходящие из церкви лица в полной мундирной форме; военных было немного, но большое число придворных, вероятно по случаю того же камер-юнкерства; в черных фраках были только лакеи, следовавшие перед гробом, красным с золотым позументом; регалий и воспоминаний из жизни поэта никаких; не помню, лежала ли на гробе камер-юнкерская шляпа, но помню, что гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров и салопов, что мало соответствовало тому чувству, которое в этот момент наполняло наши юношеские души. При том все это мелькнуло перед нами только на один миг. С улицы гроб тотчас же внесен был в расположенные рядом с церковию ворота в Конюшенный двор, где находился заупокойный подвал, для принятия тела до его отправления в Псковскую губернию, на кладбище Святогорского монастыря. Живо помню, как взоры наши следили в глубину ворот за гробом, пока он не исчез <...>

Говорили, что в ту же ночь тело Пушкина увезено было на почтовых.[8]

Н. И. Иваницкий

НА ЛЕКЦИЯХ ГОГОЛЯ

Гоголь читал историю средних веков для студентов 2-го курса филологического отделения. Начал он в сентябре 1834, а кончил в конце 1835 г.[1] На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора,[2] начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво посматривал на нас. Наконец подошел к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однако ж, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать бы лекцию, но вдруг вошел ректор... Гоголь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко, и даже, можно сказать, незаметно для самого себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студентами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал в прежнее тревожное состояние: опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. Но медлить уж было нельзя: он вошел на кафедру, и лекция началась...

Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его

мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в «Арабесках», кажется под названием: «О характере истории средних веков».[3] Ясно, что и в этом случае, не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уже не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтоб он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, но что со временем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом».

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: «Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом». Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом предмете, он раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась 20 минут.[4] Следующие лекции были в том же роде, так что мы совершенно, наконец, охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше пустела.[5]

Но вот однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»[6]...

Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю, а иногда

и две. Потом опять приедет, и опять та же история. Так прошло время до мая.

Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Ш<ульгин>.[7] Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уж тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ. После экзамена мы окружили его и изъявили сожаление, что должны расстаться с ним. Гоголь отвечал, что здоровье его расстроенное и что он должен переменить климат. «Теперь я еду на Кавказ: мне хочется застать там еще свежую зелень; но я надеюсь, господа, что мы когда-нибудь еще встретимся».

Поездка эта, однако ж, не состоялась, не знаю почему.[8]

Вот все, что я счел нужным сообщить вам, м. г., о лекциях Гоголя <...>

И. С. Тургенев

У ПЛЕТНЕВА

В начале 1837 г. я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы — как говаривалось в старину — фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стенио».[1] В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому Манфреду. Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина. Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый дуб»,[2] и начиналось оно так:

Маститый царь лесов, кудрявой головою
Склонился старый дуб над сонной гладью вод, и т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся в печати, конечно, без подписи <...>

Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» — засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне

до сих пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность![3] Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то в роде полубога. Мы действительно поклонялись ему. Поклонение авторитетам в последнее время подверглось, как известно, насмешкам, осуждению, чуть не проклятию. Признаться в нем — значит заклеймить себя пошлецом навеки. Но позволю себе заметить нашим строгим молодым судьям, что не худо бы сперва условиться в значении слова «авторитет». Авторитет авторитету — рознь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он был богат или важен, или очень большой чин имел; это обаяние на нас не действовало — напротив... Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был вождь; и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойствен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною в живом лице — в наставнике. Вся разница между теперешними и тогдашними поколеньями состоит, быть может, в том, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклонения, а, напротив, гордились и тем и другим. Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может назваться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее добиться надо, надо ее завоевать, как почти все хорошее на сей земле; а начать это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя. Впрочем, надо и то принять в соображение, что нынешние молодые люди имеют иные понятия, иные воззрения; если б, например, в наше время кто-нибудь из нашей среды вздумал требовать для молодого поколения «уважения», мы бы, наверное, на смех его подняли — мы бы даже обиделись; — «это хорошо для стариков, — подумали бы мы, — а нам нужен только простор — да и тот мы себе завоюем». Кто тут прав, кто виноват — из прежних или нынешних, — решить не берусь; в сущности — стремления молодежи всегда бескорыстны и честны; и цели их остаются те же, только имена меняются. Быть может, при большей гражданской развитости современных юношей, при большей затруднительности их задач — они точно нуждаются в уважении <...>

Скажу несколько слов о самом Петре Александровиче. Как профессор русской литературы, он не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; за то он искренно любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом, и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен — умел заинтересовать их. Он не внушал студентам никаких преувеличенных чувств, ничего подобного тому, что возбуждал в них, например, Грановский; да и повода к тому

не было — non hic evat locus * . . . Он тоже был очень смирен; но его любили. Притом его — как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего Онегина, — окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали эти стихи: «Не мысля гордый свет забавить», и т. д.

И действительно: Петр Александрович подходил под портрет, набросанный поэтом: это не был обычный комплимент, которым так часто украшаются посвящения. Кто изучил Плетнева, не мог не признать в нем

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и красоты.[4]

Он также принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей: это был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему — мудрый. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений не мешала ему быть проницательным и даже тонким, но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства; да и обстоятельства так сложились, что он в хитрости не нуждался: все, что он желал, — медленно, но неотразимо как бы плыло ему в руки; и он, покидая жизнь, мог сказать, что насладился ею вполне, лучше чем вполне — в меру. Такого рода наслаждение надежнее всякого другого; древние греки не даром говорили, что последний и высший дар богов человеку — чувство меры. Эта сторона античного духа в нем отразилась, и он ей особенно сочувствовал; другие — ему были закрыты. Он не обладал никаким, так называемым, «творческим» талантом, и он сам хорошо это знал: главное свойство его ума — трезвая ясность — не могла изменить ему, когда дело шло о разборе собственной личности. «Красок у меня нет, — жаловался он мне однажды, — все выходит серо, и потому я не могу даже с точностью передать то, что я видел и посреди чего жил». Для критика — в воспитательном, в отрицательном значении слова — ему недоставало энергии, огня, настойчивости; прямо говоря — мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы — для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом его положение в обществе, его связи с двором[5] так же отдаляли его от подобной роли — роли критика-бойца, как и собственная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому — вот весь Плетнев. Он вполне выразился в своих малочисленных сочинениях, написанных языком образцовым, — хотя немного бледным <...>

Я любил беседовать с ним. До самой старости он сохранил почти детскую свежесть впечатлений, и, как в молодые годы, умилялся

* Здесь это было неуместно (лат.) — *Сост.*

перед красотою: он и тогда не восторгался ею. Он не расставался с дорогими воспоминаниями своей жизни; он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском — было для него праздником. И любовь к родной словесности, к родному языку, к самому его звуку не охладела в нем; его коренное, чисто русское происхождение сказывалось и в этом: он был, как известно, из духовного звания. Этому же происхождению приписываю я его елейность, а может быть — и житейскую его мудрость. Он с прежним участием слушал произведения наших новых писателей — и произносил свой суд, не всегда глубокий, но почти всегда верный и, при всей мягкости форм, неуклонно согласный с теми началами, которым он никогда не изменял в деле поэзии и искусства. Студенческие «истории», случившиеся во время его отсутствия за границей, глубоко его огорчили — глубже, чем я ожидал, зная его характер; он скорбел о своем «бедном» университете, и осуждение его падало не на одних молодых людей. . .[6]

Подобные личности теперь уже попадаются редко; не потому, чтобы в них было нечто необыкновенное, а потому, что время изменилось. Полагаю, что читатель не попеняет на меня за то, что я остановил его внимание на одной из них — на почтенном и благодушном словеснике старого закала.

В. В. Григорьев

Т. Н. ГРАНОВСКИЙ ДО ЕГО ПРОФЕССОРСТВА В МОСКВЕ

Когда Грановскому минуло лет семнадцать, отец его нашел, что он достаточно образован; решено было, что пора молодцу служить, чины добывать. За этим и прислали его в Петербург в 1831 г. Поселился он у родственника своего, дяди, и тотчас же был пристроен куда-то на службу.[1] Но судьбе не угодно было, чтобы болховский дворянин с юных лет пожинал награды и отличия на поприще департаментской должности. Дядя ли, которого я даже фамилии не припоминаю, или другой кто, только нашелся добрый человек с достаточным весом в семейных делах Грановского, решивший, что малому рано служить, недурно было бы поучиться еще, — и вот в начале 1832 г. экс-канцелярист наш вступил в Петербургский университет по юридическому факультету. Выбор факультета определился отрицательно — не расположением к математике и слабым для филологического факультета знанием латыни. Двум обстоятельствам этим обязаны юридическим образованием своим многие из моих современников во всех русских университетах, потому что утешительного камерального отделения не было еще тогда ни в одном из них. В начале 1832 г. поступил Грановский в университет, потому что учебный год совпадал тогда с гражданским, курсы начинались с января и оканчивались в декабре, летние же вакации приходились в середине курса. Нынешнее расположение курсов введено было впервые лишь в следующем 1833 г., почему на первом курсе Грановский пробыл вместо одного года полтора.[2] Отмена послеобеденных лекций последовала еще позже, уже по выходе нас обоих из университета; счастливые студенты настоящего времени и представить себе не могут, как тягостны были эти послеобеденные лекции, особенно в жаркое время. Ну, да и позевали же мы на них.

Лице с юности как-то старообразое, толстый нос, умные глаза, такая же умная улыбка, приятная манера говорить и некоторая застенчивость в обращении: вся вообще наружность Грановского сделала на меня са-

мое выгодное для него впечатление, лишь только я заметил ее между первокурсниками. Я был уже на втором курсе и с высоты величия «старого» студента оказал новичку внимательность и род покровительства, тотчас же и его ко мне расположившие. Как водится у молодежи, мы сошлись очень скоро, но «закадычная» приязнь завелась между нами несколько позже, когда Грановский поступил на второй, а я на третий курс <...>

Люди умные, даровитые, трудолюбивые были между преподавателями и тогда, как есть они повсюду и всегда; но, или не приготовлены они были надлежащим образом для своего звания, или не имели столько расположения к делу, чтобы восполнить с течением времени недостатки первоначального приготовления, или обленились, повторяя одно и то же, и остановились на одной точке, не двигаясь вперед вместе с успехами науки, — только до второй половины 1830-х годов общее положение преподавания было по всем нашим университетам на высоте весьма незавидной. На три, на четыре человека, вполне удовлетворявших своему назначению, приходилось двадцать, тридцать или отставших от науки, или никогда не погружавшихся в нее на достаточную глубину, — людей, смотревших на деятельность свою единственно, как на средство существования, не имевших ни призвания к профессуре, ни любви к знанию, ни уменья, ни желанья возбудить ее в слушателях <...>

При таком положении преподавания, не много мог дать университет питомцам своим, в особенности если они еще и приготовлены были к нему дурно; а в отношении к огромному большинству из них трудно было бы сказать, что представлялось менее удовлетворительным: лекции ли университетские, или то образование, с которым приступали мы к слушанию их? Большая часть моих товарищей, в том числе и Грановский, вступил в университет, как и я, с такими неразвитыми понятиями и таким ничтожным запасом положительных сведений, что вспомнить совестно. Мало-мальски смышленый гимназист настоящего времени сделался бы оракулом, прослыл бы за чудо премудрости между тогдашними студентами Петербургского университета. Из преподавателей, кто читал по «собственным запискам», кто по печатным учебникам. От студентов требовалось заучивание тех и других наизуст; редкий профессор бывал доволен, когда на репетициях слушатель отвечал собственными словами; большинство всю заслугу студентов поставляло в том, чтобы они воспроизводили записки или учебник слово в слово, без малейшего отступления, ничего не убавляя и не прибавляя. Один профессор, впрочем в наше еще время уволенный из университета, просто приходил в ужас, когда видел, что студент упоминает о каких-нибудь обстоятельствах предмета, не заключавшихся в записках. Исполняя требования преподавателей, мы и «зубрили» записки; чем кто был ревностнее к занятиям, тем усерднее упражнялся в «зубрении». Так, на первом курсе, желая отличиться, я и один из товарищей моих выучили наизуст всю «Историю Греции» Арсеньева — два порядочных тома убористой печати. Но это был подвиг экстраординарный. Обыкновенно далее знания профессорских записок

изучение предмета не простиралось. Не только не требовалось от студента, чтобы он знакомился с какими-либо о преподаваемой науке сочинениями, даже литература той или другой отрасли знания не входила в рамки преподавания. Нас как бы заставляли думать, что в профессорских записках заключается все, что только нужно и можно знать о предмете, и что, заучив их, ничего уже не оставалось делать более. Потому, когда Н. Г. Устрялов[3] открыл свой курс русской истории подробным перечислением и оценкою источников ее, мы себя не помнили от восторга, радовались, как Колумб, открытию совершенно неизвестного нам дотоле мира. За этим исключением впрочем оставили бы мы университет такими же детьми, какими вступили в него, если бы не пособили развитию нашему лекции психологии, логики, метафизики и нравственной философии, которые в 1832—1833 и 1833—1834 гг. читал студентам филологического и юридического факультетов профессор А. А. Фишер.[4] Человек умный и благонамеренный, он видел, с кем имеет дело и что нам нужно и доступно; поэтому, отложив в сторону всякое самолюбие и педантизм, стал читать нам предмет свой совершенно гимназически, без всяких претензий на эффект. Но тем и хорош был для нас такой образ преподавания, что мы могли понимать его: излагай нам профессор науку свою так, как бы читал ее в немецком университете, это была бы для нас китайская грамота, и ничего другого кроме скуки и отвращения не вынесли бы мы с таких лекций; его уроки были нам, напротив, крайне полезны, познакомив с азбукою науки, просветлив сознание и не отуманив головы. Все, кто только был поумнее, вполне почувствовали на себе благотворное влияние фишеровских лекций, и от всего сердца были благодарны профессору. В начале учебного курса 1834—1835 г. благодарность эта выражена была ему весьма неожиданным образом. В расписании лекций на этот год объявлено было, что профессор Фишер будет читать историю философских систем; но затем совет университета нашел это почему-то неудобным. Последнее распоряжение совета крайне огорчило студентов. Решено было тотчас же подать от юридического и филологического факультетов прошение, в котором довести до сведения начальства, что студенты означенных факультетов, в течение двух с половиною предшествовавших лет слушавшие лекции профессора Фишера, сознают их для себя в высшей степени полезными, и вследствие того просить, чтобы совет, во внимании к пользе, принесенной уже университету г. Фишером, разрешил ему чтение обещанной истории философских систем, которою, просители не сомневаются, завершит он их философское образование столь же удовлетворительным образом. Скоро дело было задумано, еще скорее исполнено. Через час прошение было готово и подписано почти всеми студентами обоих факультетов, а следующим утром представлено ректору. Чем кончилась эта выходка, не помню хорошенько, — кажется, желание просителей было удовлетворено, — упоминаю же об ней, как в доказательство любви, какою пользовался в наше время А. А. Фишер, так и потому, что Грановский был одним из коноводов дела.[5]

Почерпая знание из профессорских лекций в приемах столь же умеренных, как и другие его товарищи, Т. Н.[6] вынес из университета то же, что и они: не знакомство с кругом прослушанных наук и понимание соединяющей их связи, не основательные в каждой из них сведения, не расположение к преимущественному занятию тою или другою отраслью знания, не уменье продолжать ученым образом такие занятия, а жиденькое знание профессорских тетрадок, испарявшееся со сдачею каждого экзамена и оставлявшее в голове одни имена пройденных наук, смутное представление об их содержании и объеме, да случайно застрявшие в памяти отрывочные факты и положения. Курс университетского ученья окончил он со степенью кандидата, но не пристрастился, даже временно, ни к одному из предметов своего факультета. Специальностью своею впоследствии, историею, занимался он вначале быть может еще слабее, чем другими науками. Глядя, как «прорывался» Т. Н. на репетициях истории средних веков, которую слушали мы временно у читавшего ее Н. Г. Устрялова, никому в голову не могло придти, что это «режется» будущая знаменитость наша по части истории. Не раз потом с улыбкою вспоминал об этих неудачах своих и сам Т. Н. <...>

П. П. Семенов-Тян-Шанский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1845—1848 гг.)

После офицерской присяги я принял и вторую гражданскую и был произведен в чин коллежского секретаря, с определением к статским делам. Но на службу, конечно, я поступать не думал и, чувствуя себя совершенно свободным, осуществил свою долголетнюю мечту, поступив вольнослушателем в университет, где выдержал предварительно испытание только в тех предметах гимназического курса, которые не преподавались в школе.[1] Главным из этих предметов был, конечно, латинский язык <...>

С осени 1845 г. я уже начал посещать лекции университета, с таким расчетом, чтобы иметь возможность окончить курс не в четыре, а в три года, что по распределению часов оказалось вполне возможным. Поселился я на Васильевском острове вместе с братом [2] и Николаем Яковлевичем Данилевским.[3] Это было для меня удобнее тем, что хотя Данилевский уже слушал университетские лекции в течение двух лет, но многие из них мы могли еще слушать вместе.

Самым основательным и ученым из профессоров Петербургского университета нашего времени на физико-математическом факультете был профессор и академик Ленц,[4] преподававший физику и физическую географию, а самым талантливым и интересным — Степан Семенович Куторга,[5] читавший нам сравнительную анатомию, зоологию и палеонтологию. Изложение его было чрезвычайно интересно, аудитория на его лекциях была всегда полна студентами. Зоологический кабинет, благодаря его усилиям, был по тогдашнему времени обставлен удовлетворительно <...>

Профессором химии был уже хорошо знавший меня по школе и оказывавший мне всякое покровительство почтенный профессор Воскресенский [6] (впоследствии попечитель Харьковского учебного округа). Так как я хорошо знал неорганическую химию, то занятия мои аналитическою под личным руководством Воскресенского в университетской лабо-

ратории, конечно тогда еще не совершенной, и слушание его лекций органической химии дали мне возможность пройти курс химии совершенно успешно. Любимым моим предметом, в котором я имел уже хорошую подготовку, была ботаника. Профессором ее был д-р Шиховский,[7] человек не особенно даровитый и не умевший достаточно связно излагать свой предмет, но глубоко преданный своей науке, хорошо ее знавший и необыкновенно гуманный и доступный. Он предоставлял студентам широкий простор пользоваться гербарием, библиотекою не только университета, но и его собственною, причем он охотно давал всякого рода объяснения и таким образом являлся идеальным руководителем самостоятельных занятий студентов.

Доцентом при Шиховском последний год моего пребывания в университете был талантливый поляк Ценковский,[8] только что возвратившийся из своей египетской экспедиции, где он сопутствовал известному горному инженеру Егору Петровичу Ковалевскому, бывшему впоследствии директором азиатского департамента. Ценковский читал прекрасные и интересные лекции по физиологии растений, тогда как Шиховский был преимущественно систематиком.

Профессором минералогии и геологии был в то время прославившийся своими исследованиями на Урале горный инженер Гофман.[9] Он прекрасно знал преподаваемый им предмет, но так плохо владел русским языком, что слушать его без смеха иногда было невозможно. Объяснения его в кристаллографии, при помощи моделей, еще можно было себе хорошо усвоить, но его лекции минералогии были просто невероятны: он описывал минералы своим ломаным русским языком, не показывая ни одного из них, так как минералогической коллекции совсем не имелось в университете, или, лучше сказать, она имелась, но такая, какую, по его признанию, совестно и невозможно было показывать. Он озабочивался приобретением новой, но наше поколение студентов так ее и не дождалось; что же касается геологии, то, при полном неумении владеть русским языком, он читал ее по хорошо составленным им запискам, плохо однако переведенным на русский язык.

Профессора физики и физической географии, хорошо владевшего русским языком академика Ленца, мы слушали с большим удовольствием.

Профессором астрономии был академик А. Н. Савич,[10] талантливый астроном, приобретший себе известность своим участием в нивелировке между Черным и Каспийским морями, отличавшийся необыкновенной добротою, гуманностью и простотою в обращении. Очень любимый студентами, Савич был весьма хорошим руководителем тех из них, которые могли самостоятельно заниматься, но как лектор имел крупные недостатки. При своей крайней рассеянности он часто или повторял то, что читал в предшествующей лекции, или, наоборот, делал такие пропуски, вследствие которых его лекция была непонятна его слушателям. Так как при этом ему часто приходилось выводить формулы или рисовать чертежи на доске, то он заслонял своей спиною именно тот уго-

лок доски, на котором писал или чертил очень мелко, так что мы не могли разобрать того, что он хотел изобразить. Савич отличался необыкновенной небрежностью в своем костюме: так как он часто ночевал в университетской обсерватории, в которую ходил со своей подушкой, то являлся на лекции нечесаный и с пухом на голове. Раз (уже впоследствии, когда Савич был академиком) моего тестя, который был с ним в большой дружбе и шел с ним в то время, как он возвращался из академической обсерватории со своей подушкой в руках и в совершенно измятом цилиндре, спрашивали с удивлением, какого он вел пьяного по набережной; между тем Савич был человек чрезвычайно умеренный, никогда не предававшийся такому пороку.

Кроме естественных наук, на нашем отделении физико-математического факультета преподавалась высшая математика — аналитика и дифференциальное исчисление. Преподавателем ее был тогда еще молодой адъюнкт, исполнявший обязанности секретаря факультета, впоследствии академик и один из лучших математиков России — Пафнутий Львович Чебышев.

Еще преподавался у нас не факультетский, но обязательный для нас предмет истории русского законодательства. Профессором ее был знаменитый ученый К. А. Неволин,[11] которого я слушал с увлечением. Предмет был нововведенный по повелению императора Николая Павловича, и Неволин, не разочтя времени, необходимого для полного курса, читал нам целый год о договоре Руси с Грецией, о Русской Правде, о Судебнике Иоанна III и едва дошел до Уложения царя Алексея Михайловича; однако все это было так интересно и основано на самостоятельных исторических исследованиях, что на всю жизнь мою удержалось в моей памяти.

Со всеми упомянутыми профессорами у меня образовались самые близкие отношения, живо поддержанные впоследствии во время моей деятельности в географическом обществе, в котором они были уже в то время почти все деятельными членами.

Студентов в Петербургском университете было в то время немного, а именно не более 400 человек, и так как большинство их принадлежало к юристам и камералистам, то в нашем отделении физико-математического факультета было на высшем курсе не более 8 человек; однако я сходился со студентами и других курсов своего факультета, так как распределил слушаемые мною лекции не по курсам, не будучи обязан держать переходных экзаменов из курса в курс, а готовясь только к одному общему кандидатскому экзамену по окончании всего университетского курса. Поэтому сближение мое с университетскими товарищами обусловливалось случайностью. Так, например, из своего факультета я хорошо знал <...>

Андрея Николаевича Бекетова, который, так же как и я, был вольнослушателем, а впоследствии профессором ботаники и ректором Петербургского университета; К. И. Мая,[12] сделавшегося впоследствии вы-

дающимся и любимым всеми педагогом и директором одной из частных гимназий <...>

Впрочем настоящего товарищества между студентами Петербургского университета тогда не существовало. Студенты держались приятельскими кружками без различия курсов и факультетов; в этих кружках, собиравшихся в частных квартирах, ресторанах или в гастрономических лавках Елисеева и т. п., богатые из студентов предавались нередко и кутежам. Было при этом немало битых бутылок и стекол, но, по соглашению студентов с хозяевами трактиров и лавок, окна, в которые бросались бутылки, всегда выходили на двор, а не улицу, так что конфликты с полицией были крайне редки, да и в таких случаях университетское начальство всегда выручало студентов.

В то время ректором университета был всеми нами любимый и уважаемый Петр Александрович Плетнев, также пользовавшийся и у правительства большим авторитетом, а деканом нашего факультета — популярный среди нас профессор Ленц. Что же касается до инспекции, то она, в лице инспектора Фитцтума и трех или четырех суб-инспекторов, держала себя очень скромно и делала по требованию попечителя только деликатные замечания относительно форменной одежды, а еще более прически студентов. Поэтому в мое время никаких конфликтов между инспекцией и студентами не происходило.

Попечителем округа был в то время тайный советник Мусин-Пушкин. Посещал он университет редко, при посещениях держал себя очень важно, но мало вмешивался в дела университета и имел одну только слабость, а именно настаивал на том, чтобы все студенты являлись в университет при шпагах и в треугольных шляпах, которые они тогда носили; от нас же, вольнослушателей, требовалось, чтобы мы являлись на лекции во фраках; но попечитель отступил от этого требования после разговора со мною, в котором я ему доказывал, что я лично готов исполнить его требование, потому что всегда могу иметь приличный фрак, но что некоторым из моих товарищей, в особенности тем достойным молодым людям, которые, окончив случайно курс действительными студентами, хотят еще держать кандидатский экзамен, фрак шить не на что <...>

А. Н. Пыпин

МОИ ЗАМЕТКИ

Путешествие до Петербурга [1] продолжалось двое суток, с остановками для перемены лошадей, для чая и обеда. Дело было летом, и путешествие было для меня чрезвычайно интересно. Дорога шла не по необитаемым почти пустыням, как теперь по железной дороге, а по старым, населенным пунктам московского шоссе. Это была вообще довольно оживленная картина деревень, сел и городов; мы могли, например, видеть и Тверь, и Новгород. Затем время проходило в разговоре и главное — в рассказах Н. Г.[2] о Петербургском университете, где он только что кончил курс [3] и куда я должен был вступать. Само собою разумеется, что это было для меня чрезвычайно интересно: я имел вперед характеристики профессоров, которых мне предстояло слушать, описание существующих университетских обычаев и т. п. Н. Г. владел уже тогда большой начитанностью и, кроме того, огромною памятью. Из профессоров он особенно высоко ставил Срезневского,[4] и под влиянием его оживленных тогда лекций, которых и я вскоре стал слушателем, у Н. Г. был значительный интерес к тому, что называлось тогда «славянскими наречиями» <...>

По научному преподаванию петербургский факультет был, конечно, гораздо выше казанского. По классической филологии нашими профессорами были в греческом языке И. Б. Штейнман,[5] а с третьего курса — очень известный Грефе; в латинском — Н. М. Благовещенский.[6] По славянским наречиям и древнему русскому языку — И. И. Срезневский. По теории словесности — А. В. Никитенко, и лишь в конце моего пребывания в университете начал свои чтения, но не в нашем курсе, М. И. Сухомлинов.[7] По всеобщей истории читал пользовавшийся тогда большою славою у студентов М. С. Куторга,[8] и опять к самому концу нашего пребывания в университете начал лекции М. М. Стасюлевич;[9] Куторгу заменял иногда, не помню по каким случаям, или читал особый курс, М. И. Касторский.[10] Наконец, русскую историю в старших курсах чи-

тал, сколько помнится, вместе филологам и юристам, или «камералистам» (был такой факультет), Н. Г. Устрялов. Наши классические занятия заключались главным образом, в чтении писателей с некоторыми комментариями. Грефе я слушал уже в последний год его жизни <...> Грефе не был похож на большинство своих немецких коллег-филологов, которые обыкновенно не желали ничего знать, кроме классической древности. Он, во-первых, интересовался сравнительным языкознанием, которое было тогда еще внове, и изучал с этой целью славянский и русский язык; в мемуарах академии напечатаны были некоторые работы его в этом направлении. Его сооственная древность не уменьшила его горячих интересов к науке, а также и к преподаванию. Против всякого желания моего и моих двух товарищей, немца и поляка, первая наша встреча со старым профессором, которого мы вперед уважали, была очень враждебная. Мы начинали его слушать с третьяго курса. Как после оказалось, надо было (по бывшим примерам) принести на первую же лекцию Фукидида. Нам не случилось этого знать, и мы пришли на лекцию в предположении, что профессор сам скажет, чем мы будем заниматься. Когда Грефе вошел, первый вопрос его был: «Где же ваши книги?» — Я сидел с краю, и мне надо было отвечать за товарищей; я сказал, что мы не знали, какую надо книгу...

Затем начался своеобразный разговор — по обычаю на латинском языке, где профессор обращался к нам, и мы (собственно я) отвечали профессору на «ты», потому что и греки, и римляне, как известно, всегда говорили на «ты». Из уст Грефе посыпались язвительные латинские замечания о том, каких он встретил студентов, которые не знают или, по крайней мере, не осведомились, какую книгу надо принести на лекцию. Я не мог успокоить его замечанием, что, приходя в первый раз к новому профессору, мы легко могли ожидать указаний от него самого. Суровый греко-римлянин не унимался и на изящном латинском языке сделал предположение, что, может быть, эта малая внимательность студентов соответствует и малым их познаниям, и, обращаясь уже прямо ко мне, который являлся как бы посредником и представителем, сказал, что, по крайней мере, он желал бы познакомиться с нашими познаниями. Опять с латинской язвительностью он спросил, что, быть может, я знаю латинские и греческие склонения? Я отвечал, что, сколько мне кажется, знаю. Далее — что я, может быть, знаю также русские склонения, и на мой вполне утвердительный ответ спросил, что, быть может, у меня есть какое-нибудь представление о соответствии этих форм склонения славяно-русского с греческим и латинским? Я ответил, что покамест этому меня никто не учил, но что мне случалось об этом читать, и я это знаю. Римлянин смягчился, потому что в моем ответе почувствовал несправедливость своих римских сарказмов. Когда на его вопрос я привел ему несколько примеров сравнения, которые были совсем правильны, он уже совсем в другом тоне присоединял свои дополнительные объяснения. Но пока все еще не успокоился: «Да, склонения ты знаешь, но, может быть, на этом и кончаются твои познания?» Мне оставалось ска-

зать в том тоне, как говорили римляне и как говорит русский народ (все время на «ты»): а «ты спроси». И он действительно спросил о прилагательных, местоимениях в сравнении славянского языка с греческим и латинским. К звонку, означавшему конец лекции, наша беседа, все более смягчавшаяся, дошла до глаголов, и мир был, кажется, заключен...[11] <. . .>

Мои научные интересы складывались в разных направлениях, впрочем, тесно одно с другим связанных. Это были русская литература — древняя и новая — и так называемые «славянские наречия», т. е. славянская литература, на первый раз древняя, церковно-славянская, по связи ее с начатками русской письменности. В то время, в первых пятидесятых годах, нетрудно было перечитать все, что было писано об этом на русском языке: имена Востокова, Калайдовича, Строева, Бодянского, Григоровича, не говоря о трудах нашего профессора Срезневского, далее Буслаева, Новикова [12] и еще немногих других были хорошо известны в нашем небольшом кружке, делившем более или менее эти славянские интересы. Этот кружок был — В. И. Ламанский,[13] Д. Л. Мордовцев.[14] Книги западно-славянские были известны меньше, потому что самые книги были редки; но мы, еще бывши студентами, хорошо знали имена Добровского, Шафарика, Копитара, Ганки, Палацкого, Коллара, Челяковского, Вука Караджича, Мацеевского;[15] иногда прямо по рассказам Срезневского, который в своих путешествиях близко знал всех главнейших деятелей тогдашнего славянского возрождения <. . .>

В следующем академическом году (1853—1854), когда я уже кончил курс, темою на медаль по кафедре Срезневского было исследование о Русской Правде; конкурентами были оба мои приятеля, Ламанский и Мордовцев и еще третий их товарищ. Оба работали усердно, и у меня еще цел рисунок, где Мордовцев (рисовальщик-любитель, не весьма искусный в технике, но не без комической жилки) изображал, довольно забавно, как каждый из трех аспирантов трудился над многоученым вопросом: между прочим, у Ламанского было такое обилие заметок (на карточках), что из них составлялись целые столбы и, чтобы достать какую-нибудь пачку (они были с надписями и на одной, особенно большой, была помета: «дикая вира»), ученый исследователь должен был приставлять лестницу; в распоряжении ученого был дворник, который носил пачки на спине, как дрова. Другой ученый — вероятно по его собственному желанию, чтобы не развлекаться — был заперт на замок в какой-то будке с маленьким окошечком. . . <. . .>

Круг моих знакомств в первое время моего студенчества был, конечно, невелик, но и в этом небольшом кругу я уже мог видеть интересы и взгляды, которые бывали иногда очевидным продолжением того «либерализма», который только что был так жестоко покаран. Некоторые из знакомых даже лично знавали или имели точные сведения о «петрашевцах»; они прямо не соглашались с фатальной характеристикой, какая дана была им официально; они находили ее прямо преувеличенной;[16] думали только, что по обстоятельствам времени было слишком

неосторожно делать большие сборища, куда легко могли проникать простые шпионы с их обыкновенно через меру развитой фантазией или неразвитостью. То, что читали в кружке Петрашевского, продолжали читать и теперь, конечно, только с гораздо большею осторожностью <...> Около этого времени в Петербурге, как мне говорили, очень широко обращалась эта социалистическая иностранная литература, конечно, строго запрещенная. Один книгопродавец, Лури, вел торговлю этой контрабандой даже очень неосторожно и, уличенный в ней, был сослан из Петербурга. Но эта ссылка не остановила контрабанды. Я очень хорошо помню особаго рода букинистов — ходебщиков — тип, с тех пор исчезнувший (он становился ненужен). Эти букинисты, с огромным холщевым мешком за плечами, ходили по квартирам известных им любителей подобной литературы (через которых находили и других любителей) и, придя в дом, развязывали свой мешок и выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенныя книги, всего больше французские, а также немецкие. Книги они продавали на довольно льготных условиях, например, с разсрочкой; когда книга была прочитана и владелец не желал удерживать ее, букинист покупал ее обратно, по пониженной цене, — другими словами, букинист за известную плату давал книгу на прочтение. Сделка совершалась на взаимном доверии, и доверие было большое. Один такой букинист прихаживал и к нам; книги были иностранные, но букинист в них разбирался и с особым акцентом, конечно очень забавным, называл имена авторов и французские или немецкие названия книг. Кажется, независимо от этих негоциантов, Н. Г. мог тогда приобрести главные сочинения Фейербаха, как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах. Тогда я в первый раз познакомился с его сочинениями: эта сильная и решительная логика казалась мне гораздо более привлекательной, чем фантастика французских социалистов.

Н. Г. прожил тогда в Петербурге недолго <...> В 1851 г. <...> он уехал в Саратов, взявши там место учителя гимназии, чтобы пожить вместе со своими родными. Через него я успел познакомиться с некоторыми из его прежних знакомых. Одним из них был довольно известный впоследствии М. Л. Михайлов.[17] Когда я, в 1850 г., ехал с Н. Г. вместе в Петербург, наш путь лежал через Нижний. Мы остановились здесь на несколько времени, чтобы посмотреть город и, между прочим, Н. Г. хотел разыскать Михайлова.[18] Они были знакомы раньше в Петербурге: во время студенчества Н. Г. Михайлов был в университете вольнослушателем по тому же факультету. Они сошлись, потому что Н. Г. встретил в Михайлове образованного молодого человека, с которым у них нашлись общие литературные интересы <...> Когда затем Михайлов приехал в начале пятидесятых годов в Петербург (Н. Г. уже уехал в Саратов), мы встретились с ним как старые знакомые: между прочим, у меня с ним оказались общие интересы, мною прежде неожиданные.

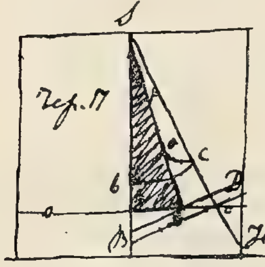
Сколько помню, это пришлось в то время, когда я был на последнем курсе в университете, и мое изучение русской литературы при помощи библиотеки Смирдина нашло применение в моей работе с диссертацией.

Известно, что библиотечные занятия очень развивают библиографическую память, и я в это время владел уже значительным запасом сведений по старой и новой русской литературе. Оказалось, что этому не был чужд и Михайлов. Не могу теперь припомнить, что его навело на эти интересы, но замечу, что именно в это время разыскания в старой литературе занимали целую группу молодых людей (отчасти будущих ученых) в Петербурге и Москве. Несколько позднее, к концу пятидесятых годов, над этой так называемой библиографией немало подшучивали, например Добролюбов, который одно стихотворение в «Свистке» снабдил целой массой подобных библиографических примечаний, остроумно-шутовских[19] <...>

В действительности дело обстояло не так просто и заключалось не в одной случайной охоте к литературному антикварству, к отысканию книжных курьезов, раскрытию старинных псевдонимов и т. п. Почти сплошь эти новые антиквары были тогда молодые люди с большой любознательностью к литературной истории, и их работы в этом новом направлении были вовсе не случайны и не произвольны. Надо вспомнить, во-первых, что это время, конец сороковых и первые пятидесятые годы, было одним из самых тяжелых периодов, какие переживала русская литература <...> Цензурный гнет, усиленный тогда «негласным комитетом», особой цензурной инквизицией, небезопасной и для писателей, и для самих цензоров, доходил иногда до последних пределов; невольно приходилось направлять работу на детальные исследования, которые не рисковали бы цензурным истреблением <...>

Другой кружок людей отчасти с педагогическими, а главное с литературными интересами, я встретил у очень известного тогда Введенского, Иринарха Ивановича[20] <...> С Введенским познакомил меня Н. Г., знавший его раньше отчасти как земляка,— и я потом почти не пропускал его пятниц, на которых всегда собирался кружок преподавателей и литераторов <...> Собиравшаяся у него публика приносила с разных концов Петербурга новости подобного характера и новости литературные; в разговорах вспоминалось недавнее прошлое, разгром кружка Петрашевского, в котором бывали и люди знакомые; симпатии были несомненно к широкому развитию литературы; анекдоты о действовавшем тогда негласном комитете указывали невозможное положение вещей; в параллель к ним шли рассказы о разных случаях в тогдашней общественной жизни <...> Около этого времени (не помню с точностью годов; я был еще, кажется, в университете) открылась вакансия на кафедру русской словесности в университете, вероятно, по выходе из университета Плетнева; решено было назначить на кафедру конкурс; вероятно, конкуренты должны были указать свои ученые труды, а кроме того, они должны были прочитать пробную лекцию. Этому последнему я был свидетелем. Конкурентов было трое: М. И. Сухомлинов, Введенский и некто Тимофеев,[21] лекция была прочитана в большой аудитории в присутствии факультета и при большой массе слушателей-студентов. Лекция Сухомлинова была очень гладкая, с некоторыми ориги-

на малѣ то лучше приискать пересѣченіе часовой линіи съ прямою bH или EH. Первое дѣлаютъ когда уголъ bSH' или дополненіе угла x весьма мало, второе когда самъ уголъ bSH' весьма малъ. Линію SH' мы можемъ опредѣлить по формулѣ. $bH' = b.\cot x$ или вставляя вмѣсто $\cot x$ его величину буд. $bH' = b\,tg\lambda.\cos\alpha + b\sin\alpha\frac{\cot\gamma}{\cos\lambda}$ линію же bH можно опредѣлить по формулѣ $\frac{\alpha}{\cot x}$. По этимъ формуламъ можно опредѣлить всѣ части линіи и также части линіи bH между часовыми линіями, ибо опредѣливъ сперва SH' помощію SH выше получимъ $SH - SH' = HH'$



Приступимъ теперь къ рѣшенію ~~самой~~ главной задачи: опредѣлить длину тѣни на каждой часовой линіи, если намъ извѣстно склоненіе солнца отъ плоскости экватора. И такъ пусть буд. нужно опредѣлить длину тѣни на часовой линіи AH т. е. гдѣ падаетъ оконечность гномона A на этой линіи. Прежде всего замѣтимъ что если найдемъ по выше-выведенной формулѣ уголъ $BbH = \gamma$, то помощью его мы можемъ сей часъ найти и уголъ $ABH = \beta$ изъ треугольника abc $tg\beta = \frac{tg\lambda}{\cos\gamma}$. Представимъ себѣ теперь чрезъ конецъ гномона плоскость BD ⊥ къ bH, то это буд. плоскость экватора; если мы знаемъ что солнце ежедневно немного удаляется отъ плоскости экватора; положимъ напр. что оно находится на ε, тогда отбрасываемая тѣнь гномона буд. имѣть длину $bC - h$,

Впередъ! впередъ!

(31 Марта 1856 года)

Теперь только идите, не стойте на одномъ мѣстѣ, что будетъ, какъ будетъ, трудно сказать, никто не знаетъ, но толчекъ данъ, ледъ тронулся. Двиньтесь впередъ.. вы сами удивитесь какъ потомъ будетъ легко идти

Сегодня утромъ графъ Орловъ бросилъ послѣднюю горсть земли въ могилу Николая, торжественно засвидѣтельствовалъ его смерть и съ тѣмъ вмѣстѣ начало новой эпохи для Россіи.

Война вамъ стоила дорого, миръ не принесъ славы, но кровь севастопольскихъ воиновъ лилась не напрасно, если вы воспользуетесь ея грозными уроками. Дороги усѣянныя трупами, солдаты изнуренные прежде встрѣчи съ непріятелемъ, недостатокъ путей сообщеній, безпорядокъ интендантства — ясно показали несовмѣстность мертвящаго самодержавія не только съ

Две страницы из тетради «По геометрии» студента Петербургского университета Валериана Савича (1850-е гг.). Справа — начало рукописной копии программной статьи А. И. Герцена «Вперед! Вперед! (31 марта 1856 года)», опубликованной в Лондоне в «Полярной звезде» (1856, кн. II, стр. III—X).

нальностями; лекция Тимофеева была слабая; но самое сильное впечатление оставила лекция Введенского. Здесь я единственный раз видел его на кафедре. Это была крепкая, несколько грубоватая фигура, с громким голосом, с ясной, почти резкой манерой говорить и с довольно определенным общественным взглядом, который можно было бы назвать демократическим, или, по позднейшему, народническим. Не знаю, по какому мотиву, может быть вследствие непривычности случая и новой аудитории, Введенский, чтобы резче указать свою мысль, отметил, что энергия деятельности Ломоносова имела источником то, что он был «мужик», и это слово для большей выразительности было подкреплено довольно звучным ударом кулака по кафедре. Мы тогда же подумали, что этот ораторский прием, — вероятно происходивший от простой неловкости,— перепугает факультетское начальство и сделает кандидатуру Введенского невозможной. Так это и случилось. Кафедра была предоставлена Сухомлинову... Как педагог, Введенский пользовался большим авторитетом и любовью у своих питомцев. Последние годы жизни он совсем потерял зрение, но некоторое время не прекращал своих уроков: его приводили в класс, и он слепой давал свои уроки или лекции. Сколько припомню, он, вероятно, очень расширил и осмыслил преподавание словесности; между прочим, он вводил до некоторой степени знакомство с западноевропейской литературой. У него я встречал тогдашних педагогов и начинавших писателей, например В. Кеневича,[22] Г. Е. Благосветлова,[23] уже тогда человека решительных мнений, А. П. Милюкова[24] и других. Круг Введенского был не единственный, где собирались люди с литературными интересами; как я упоминал, здесь очень хорошо знали и близко принимали к сердцу недавние литературные погромы — ссылку Салтыкова,[25] историю Петрашевского, деяния тогдашней цензуры и III Отделения <...>

Н. В. Шелгунов

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ЗАЩИЩАЕТ ДИССЕРТАЦИЮ

Все умственное движение шестидесятых годов явилось так же неизбежно и органически, как является свежая молодая поросль в лесу на освещенной поляне. Как только крымская война кончилась и все дохнули новым, более свободным воздухом, все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало. Думать заставил Севастополь, и он же пробудил во всех критическую мысль, ставшую всеобщим достоянием. Тут никто ничего не мог ни поделать, ни изменить. Все стали думать и думать в одном направлении, в направлении свободы, в направлении разработки лучших условий жизни для всех и для каждого. Счастливой случайностью или подарком природы были, пожалуй, те люди, которые явились как бы представителями или толкователями общих стремлений, выразили их точными идеями и указали точные формулы жизни <...>

Умственное направление шестидесятых годов (я говорю преимущественно о литературном движении мысли), выразившееся наиболее ярко с 1859 по 1862 год, создалось не в эти годы. Оно проходит через целый ряд годов и в первый раз в своем зачаточном виде было провозглашено в 1855 г. на публичном диспуте в Петербургском университете. Я говорю о публичной защите Чернышевским его диссертации: «*О эстетических отношениях искусства к действительности*».[1] Задолго до публичной защиты о ней было уже известно в кружках, более близких к автору. Пекарский,[2] как всегда, не без известной таинственности и некоторого священного трепета сообщивший мне об этом, с волнением ожидал приближения знаменательного дня. Мы отправились вместе.[3] Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями.[4] Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих,

а рядом со мной стоял Сераковский (офицер генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым).[5] Во время диспута Сераковский приходил в самый шумливый восторг и увлекался до невозможности (Сераковский был горячий и увлекающийся человек). Чернышевский защищал диссертацию[6] со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения.[7] После диспута Плетнев (председательствовавший) обратился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!». И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на диссертацию смотрела только аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало,[8] а диссертация была положена под сукно. Факультет, впрочем, готов был признать Чернышевского магистром, но об его диссертации счел долгом довести до сведения министра народного просвещения И. И. Давыдов, и утверждение не состоялось.[9] Если Чернышевский готовился для университетской кафедры, то этот диспут, конечно, закрыл ему к ней путь, но зато он открыл ему возможность отдать теперь все свои силы журналистике. Я напомню читателям главное содержание диссертации.

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априористическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке; к тому же знаменателю следует привести и наши эстетические убеждения,— говорил молодой магистрант. Наука о прекрасном, эстетика, имеет разумное право на существование только в том случае, если прекрасное имеет самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал всевозможные достоинства и был чужд всех недостатков. Прихотливая строгость требований ведет только к праздности, холодности и пресыщенности. Русские женщины не так красивы, как итальянки, которых рисовал Рафаэль, но, как бы ни было велико наше недовольство этим, русские женщины от него не похорошеют. Недовольство действительностью совершенно бесплодно и нелепо, когда оно обращено на красоту, и, напротив того, оно необходимо, когда направлено против житейских неудобств, устроенных умами и руками людей. «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Искусство не может создавать таких чудес красоты, каких не бывает в действительности, и оно должно воспроизводить действитель-

ность, т. е. все то, что интересно для человека в жизни. Для чего же нужно это воспроизведение? А вот для чего. Потребность, рождающая искусство, в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности. Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над такими пустяками? Бесполезное не имеет права на уважение. Человек сам себе цель, но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. В этом отношении чаще других погрешали поэты. Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека; вообще, вся поэзия и изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человечества свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его — для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, — воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности, быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

Эти прекрасные мысли, выраженные с такой страстной любовью к людям и до сих пор дышат свежестью и будят в душе благородные чувства. Какой же увлекающей силой они явились тридцать лет назад! Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Вот в чем заключалась влекущая сила этого нового слова, приведшего в восторг

всех, кто был на диспуте, но не тронувшего только Плетнева и заседавших с ним профессоров. Плетнев, гордившийся тем, что он угадывал и поощрял новые таланты, тут не угадал и не прозрел ничего; он даже и не предчувствовал, что перед ним восстала во всем своем будущем величии новая идея, которой суждено овладеть всем движением мысли и указать новый путь, которым и пойдет затем наша литература и журналистика. Теперешние читатели могут заметить, что в мыслях, высказанных в диссертации, о которой идет речь, нет ничего нового; они могут сказать: «Мы все это знаем». (Мне случалось встречать таких.) Да, верно, что вы все это знаете, но откуда вы это узнали? Вы, пожалуй, даже не узнавали ни откуда: вы просто выросли на литературе и критике, которая вся создавалась уже по этому рецепту и шла этим путем, впервые указанным ей тридцать лет назад.

Явись эта диссертация только шестью-семью годами раньше, когда кончал Белинский и выступал В. Майков,[10] влияние ее, конечно, не перешло бы литературных пределов. Но теперь было другое время, теперь мы уже узнали Севастополь. Общественное внимание, хотя и смутно, но уже устремилось к оценке действительности. И момент не мог быть выбран более удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дела у него не может и не должно быть, как только думать о своих делах. Еще внушительнее и необходимее было это указание для художников слова, раньше не знавших, о чем им следует говорить: «Говорите о жизни, и только о жизни,— возвестил им один из лучших представителей своего времени,— отражайте действительность, а если люди не живут по-человечески, учите их жить, рисуйте им картины жизни хороших людей и благоустроенных обществ». Но эта задача была нелегкая и, во всяком случае, очень многосложная.

Россия того времени походила на ту девяностолетнюю бабу, которая во всю свою жизнь ни разу не выходила из своей деревни. Арсенал наших знаний, особенно общественных, был очень скуден. Было известно, что на свете существует Франция, король которой Людовик XIV говорил: «государство — это я», и за это был назван великим; знали, что в Германии, и в особенности в Пруссии, солдаты очень хорошо маршируют; наконец, краеугольное знание заключалось в том, что Россия — страна самая большая, богатая и сильная, что она служит «житницей» Европы, и если захочет, то может оставить Европу без хлеба, а в крайности, если вынудят, то и покорить все народы. Хотя после Севастополя уверенность в непогрешимости некоторых из этих истин и поколебалась, но новых на смену их в наличности не было, и их во всяком случае приходилось частью создать, частью найти <...>

Д. И. Писарев

НАША УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА

В то время, когда мы еще тянули лямку, возложенную на нас почтенным профессором,[1] я вздумал обратиться к Креозотову за советом. Краснея от волнения, я покаялся ему, что желаю специально заняться историею, и убедительно просил его объяснить мне, как надо поступать в таком затруднительном случае. Выслушав мою исповедь, Креозотов тотчас посоветовал мне читать энциклопедию Эрша и Грубера и, кроме того, читать источники древней истории — Геродота, Фукидида, Поливия, Ксенофонта, Тита Ливия, Диодора Сицилийского, Диона Кассия и т. д. Я горячо поблагодарил его за добрый совет и немедленно побежал в университетскую библиотеку.

— Позвольте мне взять на дом энциклопедию Эрша и Грубера,— сказал я нашему библиотекарю.

На лице библиотекаря выразилось удивление.

— Книги, следующие для справок,— ответил он мне очень вежливо,— на дом не выдаются. Вы можете пользоваться ими здесь. Какую вам надобно букву?

Я не имел основания предпочитать одну букву другой и потому совершенно беспристрастно назвал букву А.

Тогда библиотекарь повел меня за собою в одну длинную галерею и указал мне длинный ряд больших и толстых книг, стоявших на паркете в стройном алфавитном порядке. Не помню, сколько их было,— тридцать, сорок или пятьдесят, но знаю, что их было очень много и что это зрелище привело меня в трепет; я взял первую книгу с левого фланга и увидал, что буква А далеко не исчерпывается этим томом, который, однако, оттягивал мне руки. Передо мною лежал знаменитый немецкий энциклопедический лексикон Ersch und Gruber, и, конечно, я на первых страницах его нашел то, что обыкновенно находится в таких книгах. Река *Aa,* слово *Aal* (угорь), река *Aar,* кантон *Aargau* и т. д.

Собирать сведения обо всех этих предметах было, конечно, любопытно, а прочитать и сохранить в памяти всю энциклопедию Ersch und Gruber значило бы сделаться восьмым чудом света; но тем не менее чувство самосохранения взяло верх над этими заманчивыми соображениями. Я рассчитал, что мне пришлось бы читать Эрша и Грубера лет десять и потом, по окончании последнего тома, снова приняться за первый, который в это время успел бы еще раз приобрести для меня всю прелесть новизны. Прочитав энциклопедию раз пять от начала до конца, я мог бы сказать, что жизнь моя наполнена и что я могу умереть спокойно, совершивши в земной жизни то, чего до меня еще не совершал ни один здравомыслящий смертный. Совет Креозотова обогатил меня, таким образом, следующими опытными знаниями: во-первых, я узнал, что книги, служащие для справок, на дом не выдаются; во-вторых, я узнал, что существует немецкая энциклопедия Эрша и Грубера, что она очень велика и годится для справок; в-третьих, я узнал, что приобретать исторические сведения в алфавитном порядке и вперемежку со всякими другими сведениями — оригинально, но неудобно; в-четвертых, я приобрел то драгоценное убеждение, что профессора университета могут иногда подавать советы, приводящие в недоумение.

Советом своим Креозотов заронил в меня ядовитое зерно скептицизма. Из этого семени выросла гибельная жатва. Теперь, если кто-нибудь решится упрекать меня в нигилизме, я тотчас укажу моему обидчику на Креозотова и скажу: вот мой первый наставник![2] Спросите у него, — пусть он ответит вам за мою погибшую душу.

Испытав неудачу на энциклопедии, я тем не менее попробовал применить к делу второй совет того же коварного профессора. Я взял к себе на дом творение Геродота во французском переводе и начал его читать. Тут, конечно, никаких трудностей не представлялось, но дело было столько же бесплодно, сколько легко. Всякому человеку, имеющему понятие о серьезных и последовательных умственных занятиях, хорошо известно, что исторические источники должны читаться с специальною целью исследования людьми уже развитыми, способными бросить на эпоху критический взгляд и желающими проверить и дополнить изыскания своих предшественников. Что же касается до птенцов, подобных мне, то им надо читать исторические сочинения и исследования, в которых факты приведены в порядок, сгруппированы и освещены критическими трудами мыслящих историков <...> Но допустим то, чего нет никакой надобности допускать,— допустим, что влечение юности к истории порывисто и неудержимо, как эксцентрическое желание беременной женщины, то и в этом случае перепрыгнуть с учебника Смарагдова[3] на чтение Геродота — значит броситься из огня в полымя или, гораздо вернее, из мелкого болота в глубокую трясину. Я поясню это параллелью. Студенту медицины необходимо в продолжение нескольких лет возиться с трупами; но если кромсать мертвых людей и животных начнет джентельмен, не имеющий никакого предварительного понятия об анатомии, то он из этого кромсания вынесет только впечат-

ления дурного запаха гнилой крови и разлагающегося мяса. Конечно, первый анатом ни у кого не учился. Да и первый портной, по справедливому замечанию госпожи Простаковой, тоже ни у кого не учился. «Да он, может быть, и работал хуже меня»,— отвечает на это простаковский Тришка,[4] который таким образом произносит безапелляционный приговор над глубокомысленным советом профессора Креозотова. Вы скажете, может быть, что параллель моя неверна, потому что предполагаемый джентельмен не имеет понятия об анатомии, а питомец Смарагдова до некоторой степени знает историю. Ну да. Джентельмен, войдя в анатомический театр, узнает голову, руку, ногу, — и питомец, читая Геродота, узнает Кира, Камбиза, Креза. Но трупы рассекаются не для того, чтобы убедиться в существовании головы, руки и ноги, а исторические источники читают добрые люди не для того, чтобы любоваться именами Кира, Камбиза и Креза. Значит, параллель верна, и больше об ней толковать нечего. Совет Креозотова имел в себе еще одну опасную сторону, которая могла сделаться гибельною для молодого человека, способного удручать плоть и мозг во имя величия и славы науки. Если бы Креозотов рекомендовал исторические сочинения Грота (не того, который пишет в «Русском вестнике»[5]), Нибура, Моммзена, Дункера[6] и т. п., то для студента оставался бы шанс спасения. У него явились бы в мозгу идеи, обогащающие взгляды, попытки самостоятельного мышления. Прочтя две-три книги, он мог бы оглянуться на самого себя, мог бы довольно правильно поставить и разрешить в уме своем вопрос: действительно ли исторические занятия составляют потребность его природы? Но чтение Геродота и Фукидида отрезывало всякое отступление. Студент читает одного писателя, читает другого, и все не становится умнее, и все ждет прояснения своего мозга, и все громоздит факты на факты, и вдруг, нежданно-негаданно для самого себя, в одно прекрасное утро оказывается туго набитым историческим чемоданом, совершенно подобным своему прототипу и возлюбленному руководителю. Для меня подобная опасность не существовала. Я никогда не мог долго заниматься тем, что не доставляло мне умственного наслаждения.[7] Столпники и аскеты науки называют таких людей дилетантами и шарлатанами. Это свойство моей натуры, может быть, очень дурно, но для меня оно во многих случаях было чрезвычайно полезно. Всякий раз, как я с добродетельным жаром думал посвятить себя какой-нибудь кретинизирующей деятельности, неумолимый демон умственного эпикуреизма насильно вырывал у меня работу из рук и деспотически сопротивлялся моему добросовестному стремлению поглупеть. Кончилось тем, что я махнул рукою и навсегда отказался от невозможной борьбы с бесовскими прелестями. Но дошел я до этого результата не вдруг <...>

Последний год моего пребывания в университете был для меня очень замечателен. Я почти совсем не ходил на лекции, но работал сильно. После приезда с каникул я решился писать диссертацию на медаль, на историческую тему, заданную в том году Иронианским.[8]

Предприятие было дерзкое. Тема задана была в начале февраля, в то время, когда я еще отрицал солнце и луну; кто писал на эту тему, тот принялся за работу тотчас после объявления задачи, а я начал изучать предмет диссертации в начале октября, между тем как все сочинения должны были быть представлены никак не позже первых чисел января. Месяц был употреблен на чтение и выписки, а в ноябре я начал писать. Дело пошло быстро и успешно, отчасти на живую нитку, кое-где на авось, с широкими взглядами и рискованными предположениями. Я писал без черновой, потому что переписывать было бы некогда, и старался обработать предмет так, чтобы произведение мое могло быть помещено в каком-нибудь литературном журнале. К началу января я кончил свой труд и заметил не без удовольствия, что в нем по крайней мере пятнадцать печатных листов (240 страниц). Впрочем, недостаток времени помешал мне развить некоторые мысли, которые были уже совсем выработаны в моем уме. Делать было нечего: я махнул на них рукою, написал на своей диссертации эпиграф: «Еже писах, писах»*, и представил ее куда следовало.

Смелость города берет и даже очаровывает профессоров университета: диссертация моя очень понравилась, несмотря на то, что вместе с нею был представлен основательный труд одного студента, долго изучавшего предмет и разработавшего его чуть ли не вдвое подробнее моего. В совете университета произошло разногласие: присяжный ценитель наших работ, Креозотов, в своем отчете расхвалил обе диссертации и приписал моему труду высокое литературное достоинство, а работе моего соперника глубокую научную основательность. Кому же дать золотую медаль? Большинство говорило, что, по всем правам, золотая медаль принадлежит научной основательности. Но сильная партия утверждала, что следует дать золотые медали и научной основательности и литературному достоинству. Слышались даже еретические голоса, безусловно защищавшие литературное достоинство. Однако здравый смысл и справедливость одержали верх. Профессора поняли, что пленяться смелостью и живым языком и пренебрегать другими, более прочными достоинствами труда — не следует, и потому определили дать золотую медаль научной основательности, а серебряную — литературному достоинству. Положив такое решение, они распечатали конверты, заключавшие в себе фамилии авторов, и узнали тогда, кому принадлежит научная основательность и кто отличился литературным достоинством. Признанный обладатель литературного достоинства остался, конечно, очень доволен: единственное желание его состояло в том, чтобы достигнуть на акте почетного отзыва, который избавил бы его от необходимости писать кандидатскую диссертацию; а вместо почетного отзыва явилась медаль с изображением юноши, вероятно Апол-

---

* «Что написал, то написал» (обычная приписка писцов в древнерусских рукописях. — *Сост.*).

лона, и с надписью: «Преуспевшему». Все эти прелести составляли уже неожиданную роскошь.

Когда Креозотов увидал меня на выпускном экзамене, то он полюбопытствовал взглянуть на черновой список моей диссертации. Я отвечал ему, что никак не могу удовлетворить его желанию, потому что диссертация писана без черновой. Тогда Креозотов почувствовал несказанное удивление, с особенною признательностью пожал мне руку и растроганным голосом проговорил, что даже Пушкин писал «Капитанскую дочку» сначала начерно. О читатель, согласитесь, что эпизод о моей диссертации имеет свою прелесть.[9] Разве не восхитительно то обстоятельство, что для наших профессоров обыкновенный литературный язык и некоторая смелость в распоряжении мыслей имеют такую неизреченную сладость? <...>

Л. Ф. Пантелеев

ЖЕНЩИНЫ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Раз в осенний семестр 1860 г. сидим мы, студенты-юристы второго курса, в IX аудитории и поджидаем профессора Кавелина;[1] аудитория, как всегда на его лекциях, полным-полнехонька: Константин Дмитриевич был тогда в зените своей популярности. По времени входит Кавелин; но к крайнему нашему удивлению вслед за ним показалась фигура ректора П. А. Плетнева, ведшего под руку молодую миловидную барышню. Петр Александрович любезно усадил барышню в кресло, уселся сам, а Кавелин, как ни в чем не бывало, прочел свою лекцию. Не думаю, однако, что на этот раз все прослушали лекцию с тем вниманием, как это обыкновенно бывало. То же повторилось и на следующей лекции; затем Кавелин сам несколько раз вводил барышню, а потом она стала появляться в аудиторию одна, принося с собой тетрадь для записывания лекций, и в ожидании профессора усаживалась за одним из общих столов. Барышня имела резко выраженный итальянский тип, небольшого роста, всегда одета в черное шерстяное, простого фасона платье; волосы у нее были несколько подстрижены и собраны в сетку. То была Наталья Иеронимовна Корсини,[2] дочь небезызвестного тогда в Петербурге архитектора Иеронима Дементьевича Корсини. Ее мать,[3] в то время уже не живая, в 40-х и в начале 50-х годов принимала некоторое участие в литературе и была знакома с Плетневым <...>

Барышня, видимо, не желала ограничиваться слушанием лекций одного Кавелина, а стала весьма исправно посещать и других профессоров юридического факультета, как-то: В. Д. Спасовича,[4] потом Б. И. Утина[5] <...> слушала ли она еще кого-нибудь из профессоров-юристов — не помню. Кажется, у нее хватало мужества и терпения и на это.

Н. И. Корсини (впоследствии замужем за Н. Утиным,[6] ныне вдова) недолго оставалась единственною слушательницею; вскоре рядом с ней

мы увидали Антониду Петровну Блюммер (вдова Кравцова), затем Марью Арсеньевну Богданову (вдова Быкова). М. А. Богданова предпочтительно слушала лекции по естественному факультету. Потом встречал в аудиториях Екат. Иер. Корсини (ныне Висковатова), Надежду Прокопьевну Суслову, Марью Александровну Бокову (ныне Сеченова). Во втором семестре стало все более и более являться женщин; в числе их была и М. М. Коркунова, впоследствии г-жа Манассеина, известная своими писаниями по всем отраслям.[7] Под конец второго семестра 1860/61 г. сделалось совсем обычным явлением, что на лекциях некоторых профессоров дам бывало чуть ли не столько же, сколько студентов [8] <...>

Несомненно, большинство профессоров не особенно сочувственно смотрело на стремление женщины к высшему образованию; оно совсем не догадывалось, что это — начало очень серьезного движения, а видело в этом стремлении простую моду. Настоящая наука, типичным представителем которой был Калмыков, казалась старикам несовместимою с присутствием женщины в университете. Тем не менее никто не заявил открытого протеста против посещения их лекций женщинами. Кажется, Ст. Сем. Куторга довольно косо смотрел на присутствие женщин в его аудитории; говорили, что он частенько усиленно подчеркивал некоторые подробности, щекотливые для женщин; но дальше этого он не пошел.

Немногие из женщин, посещавших университет, специализировались в слушании лекций, как Н. И. Корсини, М. А. Богданова, Н. П. Суслова (все три потом принадлежали к «Земле и воле»); большинство ограничивалось лекциями наиболее выдающихся тогда профессоров, а именно Кавелина, Спасовича, Стасюлевича, Костомарова.

Какие же отношения установились у студентов к их новым товарищам — слушательницам? <...>

Огромное большинство студентов отнеслось к появлению женщин в университете как к явлению совершенно естественному, и, кажется, ничем не подало слушательницам повода хотя бы к малейшему неудовольствию. Тогда у студентов уже начала сказываться большая щепетильность в охране доброго имени студента. Так, припоминаю два случая. Раз — это было в один из семестров 1859/60 г. — профессор богословия Полисадов, не окончив лекции, вышел из аудитории (первого курса), потому что небольшая группа студентов вела себя недостаточно сдержанно, особенно Горчаков, сын министра иностранных дел; было даже подозрение, что компания играла в карты. Студенты пришли в волнение, на сходках высказывались требования об исключении из университета главного виновника. «Посещение лекций не обязательно, значит, — раз пришел на лекцию, должен сохранять полное уважение к профессору и своим товарищам». Только извинение Горчакова перед проф. Полисадовым и аудиторией покончило это дело. Другой случай. Была какая-то выставка в Петербурге, на ней

экспонировались между прочим сыры; посетители могли их пробовать. Раз распорядители заметили, что два студента, Спасский и Пережепцов (оба давно умершие), чересчур усердно пробовали сыры. Об этом дошли слухи до университета; собралась сходка; Спасскому и Переженцову пришлось оправдываться и в конце-концов выслушать резкое порицание.

И вот при таких-то нравах за два года посещения женщинами университета не было ни одного случая, который стал бы предметом товарищеского обсуждения и тем более суда.

Как отразилось появление женщин в университете на нравах студентов? Без малейшего преувеличения могу сказать, что самым благоприятным образом <...>

Я поступил в университет в 1858 г. Несмотря на новые веяния, нравы студентов оставляли желать многого. Тогда студентов постоянно можно было видеть прогуливающимися в известные часы по Невскому проспекту, а он в те времена далеко не походил на нынешний; тут «наш брат студент» не только не задумывался заглянуть под всякую шляпку, но и вступал в самые непринужденные разговоры и отношения с прекрасными девицами; на Васильевском острове всякого наименования «залы» усердно посещались молодежью; попойки (водка и пиво были не в ходу, им студенты предпочитали херес и мадеру) были в большом ходу. Еще незадолго перед тем начальство на все это смотрело весьма снисходительно; преследовалось лишь всякое нарушение формы да малейшее проявление «вольного духа». Однако все неприглядные стороны студенческих нравов стали быстро сглаживаться, и в 1861 г. многое уже казалось чем-то давно минувшим. И тут, конечно, не без крупного влияния оказалось общение с интеллигентной женской молодежью.

Раз в начале 1862 г. выходил я с Н. Г. Чернышевским с небольшого студенческого собрания, на котором были две-три барышни. «А какие милые эти барышни, — сказал Н. Г., в первый раз их видевший, — большая разница против прежнего; в мое время в студенческой компании можно было встречать только публичных женщин».

Присутствие женщин в аудиториях не повлияло ли на лекторов в том смысле, что, видя в числе своих слушателей довольно большой процент лиц, быть может недостаточно подготовленных к слушанию университетских курсов, они в силу этого должны были несколько понизить научный характер своих лекций? Не думаю; по крайней мере те профессора, лекции которых наиболее посещались женщинами, читали совершенно так же, как и ранее; смело ссылаюсь на М. М. Стасюлевича и В. Д. Спасовича, в полной уверенности, что они подтвердят мои слова.

Сколько мне известно, женщины посещали только Петербургский университет. Кавелин рассказывал, что в совете Московского университета обсуждался вопрос о допущении женщин в аудитории и большинством всех голосов против двух был решен в отрицательном

смысле. «Все же нашлось два умных профессора, — заметил Кавелин, — интересно бы знать, кто это такие». Через некоторое время К. Д. получил письмо от Б. Н. Чичерина.[9] «Вы желали знать, — писал он, — кто были те умные профессора, что подали в совете голос за допущение женщин в университет, могу удовлетворить вашему любопытству: это — Анке (медик) и Мюльгаузен (финансы)». И тот и другой были далеко не молодые профессора.

В университете, открывшемся в 1863 г., уже не оказалось места для женщин; в учебный 1862/63 г. некоторые из них начали слушать курсы в Военно-Медицинской академии с намерением держать потом экзамен на ученую степень; это были Н. П. Суслова, М. А. Богданова и М. А. Бокова, но и здесь через год двери были закрыты <...>

М. А. Богданова (Быкова) более 25 лет при самых трудных условиях работала на педагогическом поприще и у всех знавших ее навсегда оставила неизгладимо признательное воспоминание. Спустя некоторое время Н. П. Суслова, потом М. А. Бокова поступили в Цюрихский университет, где и получили докторскую степень, в которой по colloquium'y* были утверждены в России. Вслед за ними двинулась целая волна русских женщин в швейцарские университеты, что даже вызвало особое правительственное распоряжение, направленное против посещения Цюрихского университета.[10]

---

* Т. е. по контрольному собеседованию (лат.) — *Сост.*

А. М. Скабичевский

УНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ. СОРВАННЫЙ АКТ 1861 ГОДА

Каплею, переполнившею чашу терпения блюстителей тишины и порядка, был знаменитый университетский акт 8 февраля 1861 г., сорванный, как известно, студентами из-за нелепейшего распоряжения III отделения. Дело было вот как.

Издревле существовал обычай, заключавшийся в том, что на торжественном университетском акте, после чтения годичного отчета о состоянии университета, на кафедру вступал профессор и произносил ученую по своему предмету речь, заранее, конечно, одобренную советом и назначенную к произнесению. В этот год чтение речи было определено Костомарову,[1] который приготовил для этого случая характеристику К. С. Аксакова, имея в виду недавнюю смерть московского публициста. Характеристика эта, не заключавшая в себе ничего нецензурного, была беспрепятственно одобрена советом, и масса публики стеклась на акт специально послушать ее.

И вдруг накануне акта пришло свыше приказание заменить речь Костомарова какою-либо другою по усмотрению совета.[2] Трудно понять, в какую медную голову могло притти такое бессмысленное распоряжение? Объяснить его можно лишь тем, что К. Аксаков был одним из главных представителей славянофилов. Славянофилы же, со времен еще Николая, были в опале за пропаганду свободы слова, печати и конституционных идей в виде уничтожения средостения между царем и народом; органы их запрещались один за другим, и сами они едва терпелись в столицах.[3] Ну и, конечно, умным правителям казалось неприличным, чтобы на торжественном акте в столичном университете возносились хвалы одному из дерзких посягателей на существующий государственный строй. Совет безропотно покорился требованию начальства и заменил речь Костомарова речью не помню уже какого, мало даровитого и мало замечательного, профессора юридического факультета.[4]

Можно представить себе, какой взрыв негодования возбудило это распоряжение во всех собравшихся на акт, в числе, по крайней мере, трех тысяч народа. С самого начала акта среди студентов началось сильное брожение: из уст в уста переходила весть, что речь Костомарова запрещена III отделением, при чем вожаки агитировали не давать читать заместителю Костомарова и требовать, чтобы читал последний. И действительно, едва взошел на кафедру заместитель Костомарова, раздались оглушительные крики всей многотысячной толпы: «Речь Костомарова! . . . Речь Костомарова! . .».[5]

Крики эти продолжались, по крайней мере, с четверть часа, сопровождаясь топаньем ног и стучаньем стульев об пол, при всеобщем ужасе и смятении. Наконец, так как крики продолжались, с каждой минутой принимая все более и более грозный характер, все присутствовавшие на акте сановники и министр, и попечитель, и митрополит, и профессора пустились в бегство, полные панического страха, прямо через стол, за которым торжественно заседали, а затем по стульям, падая и чуть не давя друг друга.

Акт был прерван, но студенты продолжали бесноваться, требуя теперь уже не речи Костомарова, а ректора для объяснений с ним.

Долго не являлся Плетнев; но, так как крики продолжались и конца им не предвиделось, до призвания же в стены университета полицейских и военных сил для разгона бушующей толпы в то время еще не додумались или не смели принимать репрессивных мер перед самым выпуском манифеста об освобождении крестьян, то Плетнев решился, наконец, предстать перед грозною толпою.

И вот явился он, бледный и дрожащий от страха, а за ним шествовала вся его семья, решившаяся разделить его трагическую участь. Но никакой трагедии не последовало: студенты, напротив того, встретили его долгими и единодушными аплодисментами. Плетнев взгромоздился на тот самый покрытый зеленым сукном стол, за которым происходил перед тем акт, и объявил, что, согласно общему желанию, речь Костомарова будет прочтена в тот же вечер в университетском зале, и желающих прослушать ее он просит пожаловать.

Действительно, вечером, при полном освещении актового зала, собралось в ней народу еще больше, чем утром, Костомаров прочел свою речь,[6] и слушатели, не ограничиваясь одними оглушительными аплодисментами, подняли его в кресле высоко над толпою и торжественно вынесли из зала. <...>

Если считать это не снисходительною уступкою со стороны начальства, а победою студентов, то во всяком случае, это была последняя победа. Не с 1863 г. следует считать начало реакции, как это делают многие, а со дня выпуска манифеста 19 февраля. Раз наверху увидели, что все обошлось мирно и спокойно и не последовало никакого общего кавардака вслед за объявлением манифеста, — реакция тотчас же подняла голову и правительство убедилось, что со студентами не стоит больше церемониться <...>

Л. Ф. Пантелеев

ПОЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

За мое время в Петербургском университете было от четырехсот до пятисот студентов поляков, то есть около трети общего числа. Для уроженцев Царства Польского существовало на юридическом факультете несколько специальных кафедр, которые были заняты профессорами поляками; они читали на польском языке[1] <...>

В польской корпорации руководящую роль играли «корониажи» (то есть родом из Царства Польского) не столько благодаря своему численному преобладанию, сколько в силу исторической традиции — фактического верховенства «короны» в общественных делах. Студенты поляки, особенно корониажи, держали себя, когда я вступил в университет, совсем особняком от русских, никакого сближения не было; самое большее, что допускалось, — при встречах на лекциях вежливый поклон. Студенты поляки не принимали никакого активного участия ни на сходках по каким-нибудь обстоятельствам (они бывали иногда на них только в качестве зрителей), ни в выборах в депутаты и редакторы и никогда не обращались за пособиями в русскую кассу. Русские относились к полякам без всякой враждебности, но тоже не искали сближения; они как бы признавали за поляками естественное право на обособленность. У студентов поляков была превосходная библиотека в несколько тысяч томов; конечно, она была негласная. Всякий студент поляк имел право быть членом корпорации, представителем которой являлся выборный комитет, заведовавший библиотекой; вся сила и власть была в руках этого комитета. Общие собрания могли только молча вотировать предложения, шедшие от комитета; всякий отдельный член не иначе мог внести свое предложение в общее собрание, как через комитет. Никто, состоя членом корпорации, не имел права обращаться в русскую кассу, так как при библиотеке существо-

вала особая польская касса; также никто не мог принять на себя звание депутата или редактора под страхом исключения из корпорации.

Еще в начале 1860 г. на одном из полустуденческих журфиксов у покойного Д. Ф. Щеглова[2] <...> я случайно разговорился со студентом поляком Владиславом Юлиановичем Хорошевским;[3] при первых же словах он крайне заинтересовал меня. Я знал, что поляки представляют себе Польшу не иначе, как в границах до «разбора»;[4] к великому моему удивлению Хорошевский выразил некоторые сомнения относительно безусловных прав будущей Польши на Литву и Юго-Западный край. В дальнейшем разговоре я заметил в нем отличное знакомство с русской литературой и живейший интерес к тогдашнему ходу нашей общественной жизни. С польско-русскими отношениями я уже начинал ознакамливаться, и, независимо от текущих европейских событий (итальянское объединительное движение, с Гарибальди во главе, внутренние племенные отношения в Австрии и т. д.), они сильно меня занимали. Интересно, что первый толчок в этом направлении дали несколько случайных разговоров летом 1859 г. с поляками, которых, живя на уроках в Павловске, я часто встречал на музыке. От них я узнал о тех ненормальных условиях, в которых применялась конституция 1815 г., о том, что вскоре после 1831 г. был издан «Органический статут» (1832 г.),[5] оставлявший некоторую долю самоуправления в чисто повинциальных делах, но что этот статут не только никогда не был применен, но даже и ссылаться на него значило рисковать быть высланным; что и теперь по существу в управлении Польши ничего не изменилось, так как живое воплощение системы времен Паскевича[6] — Муханов (директор комиссии внутренних дел и народного просвещения) остается на своем посту; что Муханов (он потом был некоторое время товарищем министра народного просвещения при Евгр. П. Ковалевском) — самая непопулярная личность из всего состава администрации в Польше, что в действительности он всем управляет, а не руина Горчаков.[7] И многое другое я узнал от моих случайных собеседников, что было для меня, еще не вполне вышедшего из-под идей Устрялова, совершенно неожиданною новостью. Спустя некоторое время я стал посещать утренние журфиксы Кавелина. Хотя до начала варшавских демонстраций[8] на этих собраниях польский вопрос и не подвергался обсуждению, однако были случаи, когда Кавелин высказывал свои горячие симпатии к полякам и признавал совершенно ненормальным их тогдашнее положение. К тому же я тогда был большим поклонником «Русского вестника» (начал читать его еще в гимназии), а в нем, несмотря на цензуру, иногда заметно проскальзывала струйка полонофильства.

Хорошевский во всех отношениях был выдающийся студент; высокий ростом, заметно старше большинства студентов, всегда с портфелем под мышкой, в сильно поношенном вицмундире, он в университете сразу бросался в глаза.* Хорошевский, как оказалось, не только поль-

зовался большим значением в польской корпорации, но имел и многочисленные знакомства между русскими студентами; кроме того, он посещал русские литературные кружки, бывал у Чернышевского, Добролюбова, скоро очень близко сошелся с Костомаровым, его можно было встречать в редакции «Основы». Родился он, помнится, в Курске, прошел весь курс минской католической семинарии и затем поступил в петербургскую католическую духовную академию. Здесь он, кажется, пробыл три года; но знание, которое давала академия, стало не удовлетворять его, к тому же по времени у него сказался полный внутренний разрыв с католицизмом. Бедняк, — его старший брат, небольшой чиновник в департаменте уделов, едва имел средства содержать старушку мать, — он не задумался оставить академию и перешел в университет. Академическое начальство, видя в нем личность выдающихся способностей, прилагало все усилия удержать его в академии и даже соглашалось на крайнюю уступку: он мог во всякое время уходить в университет и слушать там какие ему угодно лекции. Но Хорошевский настоял на своем.

В польской корпорации он скоро занял влиятельное положение и был одно время членом комитета библиотеки; но и здесь его пытливый и впечатлительный ум пришел в столкновение с господствующими взглядами и установившимися отношениями. Католик только по имени, он, оставаясь искренним поляком, быстро усвоил все идеи, начинавшие тогда волновать русскую молодежь, — философские имели корень в Фейербахе, политические и экономические шли от французских социалистов. Его бесстрашная логика не останавливалась ни перед какими выводами: но сравнительная зрелость лет и суровая школа, которую он прошел, сделали из него в столкновениях с реальною жизнью, как говорится, человека совета и разума. Он не шел очертя голову напролом, а всегда подыскивал способ действий соразмерно силе и средствам. Но раз он усваивал какую-нибудь идею, он не успокаивался только на абстрактном отношении к ней. Так, придя к убеждению, что обоюдный интерес требует возможно большего сближения русских и поляков, он сейчас же принялся проводить свои идеи в корпорации. В то время, как его товарищи поляки читали «Колокол» и Герцена только потому, что там встречался интересный обличительный материал, Хорошевский, несомненно под сильным влиянием Герцена, проникся идеями славянской федерации на принципе равноправности. Сначала он повел единичную пропаганду, а затем в виде пробного хода выступил в комитете с предложением выписывать «Колокол». Предложение было отклонено по следующему мотиву: «Колокол» проводит социалистические идеи и идею славянской федерации, а то и другое вредно для польского дела. Но Хорошевский был не из тех

---

* Он даже попал в карикатуру; то ли в «Искре», то ли в «Сыне отечества» были изображены два студента — один очень тучный (Филиппов), с подписью: «Науки юношей питают»; другой—сухой, старообразный (Хорошевский) — «Отраду старцам подают».

характеров, которые отступают перед сопротивлением. Спустя известное время он внес новое предложение: что корпорации необходимо войти в некоторые отношения с русским студенчеством. И это было отвергнуто большинством всех голосов против двух — Хорошевского и его верного адепта Баратынского. Однако, несмотря на такую разительную неудачу, Хорошевский при всяком подходящем случае выступал со своей идеей, хотя до поры до времени терпел поражение.

Несмотря на эту обособленность, значение Хорошевского в корпорации нимало не пошатнулось. Когда весной 1861 г., то есть вскоре после первых манифестаций в Варшаве, решено было послать туда депутации от всех польских студенческих корпораций, в числе делегатов от петербургской корпорации был и Хорошевский. <...>

Самый ход жизни явился на поддержку идеям, с пропагандой которых выступал в корпорации Хорошевский. Оставляя в стороне Варшаву, укажу на два случая, одновременно имевшие место в Петербурге: панихида в католическом соборе по пяти убитым в Варшаве при подавлении манифестации 13 февраля 1861 г. и похороны Шевченка. О предстоящей панихиде было своевременно известно в университете, и на нее явилась масса русских студентов, а также некоторые из русских профессоров, напр. Костомаров, Борис Утин и другие; само собой понятно, что студенты поляки были в полном сборе, равно как и профессора поляки. Было также много публики, конечно главным образом польской, так что обширный собор был переполнен. Прошло с лишком сорок лет, но у меня и теперь как перед глазами тот момент панихиды, когда для нас, русских, совершенно неожиданно раздалось пение польского гимна и все поляки в одно мгновение пали на колени. И надо было видеть возбужденное выражение их лиц! Одни, точно изваяния, стояли со взором, обращенным к алтарю, у других ручьем лились слезы.

Вслед за панихидой состоялись похороны Шевченка (28 февраля). Имя его и теперь не особенно популярно между поляками, а при жизни они видели в нем лишь певца братоубийственной розни и ненависти;[9] но в этот момент все было забыто, и польская корпорация в полном составе проводила Шевченка на кладбище.[10] Там Хорошевский от имени поляков сказал на польском языке очень умное и теплое слово; оно потом было напечатано в «Основе».[11]

Но вот в университете прошел слух, что по поводу панихиды начинается следствие, что предполагают привлечь к ответственности только студентов поляков, а присутствие русских решено игнорировать. Тогда русские студенты постановили: представить в следственную комиссию подписные листы доказательства, что и они были на панихиде <...>

Студенты-поляки были тронуты решением русских студентов заявить, что и они присутствовали на панихиде <...>

Н. Я. Николадзе

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

То было раннею весной,[1] не только моей, а и всей России и даже Европы. После тяжкого гнета, мстившего за 1848 г., то там, то сям сверкало зарево рассвета. Объединялась Италия. Гарибальди, с «тысячею» своих смельчаков, только что завоевал под рукоплесканья всего мира королевство Обеих Сицилий. Во Франции Наполеон III начал делать либеральные уступки. Австрия, разгромленная в Сольферино,[2] вводила парламентаризм. Америка уничтожала рабство негров. Наконец, у нас, в России, «мужики освобождались, и вред был сознан откупов».[3] Весна была в полном разгаре в прямом и переносном смысле. Был март 1861 г. Я собирался в Петербург для поступления в университет <...>

Про настроение встретившего нас студенчества можно судить по тому, что нам первым делом с восторгом рассказали о сумасшествии важнейшего сановника империи, князя Орлова,[4] на мысли, что он свинья. Он-де не иначе ест теперь, как из корыта, и на четвереньках. На следующий же день засели мы зубрить латинскую грамматику Кюнера, над которою корпели, не разгибая спины, целых четыре месяца. С грехом пополам выдержали мы в первых числах сентября роковое испытание, давшее нам право назваться студентами и надеть фуражку с синим околышем.

Но еще задолго до экзаменов студенты старших курсов начали сообщать нам тревожные слухи о предстоявших переменах в учебном ведомстве. Рассказывали, что государь возмущен «распущенностью» университетской молодежи, особенно же участием студентов в февральской «демонстрации» в католическом костеле.[5] Она была устроена по поводу расстрела войсками в Варшаве толпы, выходившей с пением революционных песен с панихиды по жертвам прежних польских восстаний. Министр народного просвещения, либеральный Е. П. Ковалев-

ский, сменяется за это.[6] На его место назначается адмирал граф Путятин. Попечителем петербургского учебного округа будет кавказский вояка, генерал Филипсон.[7] Объясняли эти назначения военных чинов возвратом ненавистной николаевской муштровки студентов, для внедрения в них военной дисциплины. С тою же целью вводятся особые «матрикулы», чтобы общая полиция удобнее следила за поведением студентов, до тех пор ей вовсе не подчиненных. Всякие сходки, складчины, кассы, товарищеские разбирательства споров и столкновений строжайше воспрещаются. Отменяется и форменная одежда, придававшая студентам чиновный вид и мешавшая полиции хватать их. Полиция же в те времена имела отчаянную репутацию невежества, жестокости и взяточничества. На нас, новичков, эти зловещие вести наводили ужас и уныние: из-за этого ль мы преодолели столько затруднений, боролись, страдали, чтоб застать лишь разрушение университета?

Надо иметь в виду, что это происходило вскоре после Крымской войны, обнаружившей совершенную негодность нашей военной организации и до невероятной степени унизившей в общественном мнении не только военное ведомство, но и все правительство. Не знаю, что происходило в прочих сферах, но в студенческой среде не было счета и конца потешным рассказам об офицерстве. Лучшим показателем этого настроения, совершенно чуждого Кавказу, где покорение князем А. И. Барятинским Шамиля сильно подняло престиж власти, — служит созданный тогда талантливым рассказчиком И. Ф. Горбуновым тип «генерала Дитятина»,[8] — образец напыщенного формализма. Что всего поразительнее в то время, вплоть до 1864 г., — сами военные вполне сознавали законность своей приниженности. При встречах с «учеными», не исключая и зеленого студенчества, они впадали в настоящий конфуз, выпукло описанный Щедриным в рассказе того же имени.[9] И вот все наше учебное ведомство, начиная со светил русской науки, каковыми нам представлялись популярные профессора университетов, ставилось в подчинение такой дискредитированной военщины. Могли ли мы не проникнуться жгучим чувством обиды и протеста?

Хоть мы, студенты-грузины, и жили тогда в некотором отчуждении от остального студенчества, но в лето 1861 г. повышенное настроение молодежи мало-помалу передавалось и нам, через наших старших товарищей, имевших связи со своими русскими, особенно же польскими однокурсниками. В нашей среде, после отъезда на родину, как раз перед нашим приездом, поэта кн. Ильи Чавчавадзе,[10] бесспорным влиянием пользовался Николай Гогоберидзе,* кончавший в ту осень курс историко-филологического факультета и занятый подготовкой кандидатской диссертации об Иерониме Савонаролле. Еще учени-

* Николай Виссарионович, брат Семена Виссарионовича; служил в Грузии сперва учителем, затем по судебному ведомству; позднее крупный марганцевый промышленник. Умер в 1912 г.



Илья Чавчавадзе (стоит слева) среди грузинских и польских студентов.

ком Тифлисской гимназии он сошелся со своим учителем Л. П. Загурским, ссыльным поляком и тонким дипломатом, очень умело направлявшим в националистическое русло господствовавшее в пятидесятых годах либеральное настроение молодежи. Другой Гогоберидзе, Виссарион * тоже окончивший тогда физико-математический факультет, прошел гимназический курс много раньше Николая, долго учительствовал в Кутаисе, раньше, чем собрал средства для поступления в университет, жил в Петербурге уроками и в качестве домашнего учителя в богатой армянской семье Шаншиевых, детей которой он готовил в университет <...>

Словами не высказать восторга, овладевшего нами, когда нас приняли в университет. Подчинившись стадному чувству, мы ходили на лекции не тех профессоров, которых полагалось слушать по расписанию своего факультета, а любимцев всего студенчества: Н. И. Костомарова, В. Д. Спасовича, К. Д. Кавелина, П. Редкина, П. В. Павлова [11] и т. д. Слушать их собиралось так много студентов, что даже самая обширная из аудиторий, одиннадцатая, оказывалась тесною: через четверть часа дышать было нечем. Нередко приходилось перебираться в актовый зал, где большинство должно было слушать стоя. Конец лекции для нас всегда наставал раньше, чем хотелось, несмотря на чисто специальный характер иных лекций. У Костомарова, например, речь шла об источниках русской истории, о сравнительных достоинствах или дефектах того или другого списка разных летописей. Тем не менее не только филологи, но и мы, юристы или математики, с жадностью ловили каждое слово, всякую мелочь, стараясь внести их в свои записи.

Мы жили в Столярном переулке, на Мещанской,[12] откуда ежедневно мчались, разумеется пешком, на лекции, с таким расчетом, чтобы задолго до их начала занять парты поближе к кафедре. Мы налету ловили малейшее подобие намека на обуревавшие нас помыслы о дальнейшей судьбе русской науки. Часто мы видели намек там, где его, может быть, и вовсе не имелось в намерении. Почти все курсы записывались студентами, знавшими стенографию, и, по проверке профессорами, на следующей же неделе выходили листами, большинство литографированными, а некоторые и печатными. Их было вполне достаточно для сдачи экзаменов. Это не мешало нам посещать лекции и впиваться в них. В ту осень не менее самих лекций интересны были разговоры с соседями по партам об ожидавшихся переменах в университетском режиме, о матрикулах.[13] На этот счет не возникало ни малейшего разномыслия: мнения всех сходились в единодушный хор осуждения и протеста.

Для иных из нас была и еще приманка: первые «студентки», вернее вольнослушательницы, впервые в том году допущенные университе-

---

* Виссарион Левинович, сначала педагог; в 1876 г. председатель дворянского земельного банка в Кутаиси. Умер в 1878 г.

том на его лекции,[14] и перед которыми готовившиеся новые правила грозили закрытием дверей просвещения <...>

Лекции начались на второй неделе сентября.[15] Дней через десять в шинельной, на том месте, где наш дряхлый швейцар Савельич, кое-как еще державшийся «священной памятью двенадцатого года»,[16] вывешали фамилии студентов, на чье имя получались им почтовые повестки о высылке им денег, появилась неведомая дотоле в России вещь, первая печатная *прокламация* «К молодому поколению».[17] Она была, очевидно, заграничного изделия, потому что напечатана была на белоснежной бумаге, не чета той, какая была тогда в ходу у нас, и шрифты ее были много изящнее тех, какими печатались русские книги и журналы.

Это была первая ласточка начинавшейся смуты. Кто-то из студентов старшего курса, кажется Неклюдов,[18] снял со стены этот лист, объявив, что прочтет его всем в соседнем актовом зале. Выходившие из всех аудиторий студенты гурьбой последовали за ним. Став на стол, покрытый красным сукном с золотою бахромой, он с пафосом прочел громко всю огромную прокламацию. С замиранием сердца слушали мы чтеца, все более и более проникавшегося воодушевлением. Все в прокламации представляло для нас интерес откровения. Не то, чтоб оппозиционная литература была нам неведома: многие из нас читали «Колокол», «Полярную Звезду» и другие издания Герцена (тогда более известного под псевдонимом Искандера). Но там была насмешка, язвил сарказм, а тут звучал прямой призыв к восстанию, не для исправления, а для свержения всего строя <...>

На меня, по крайней мере, воззвание произвело такое именно впечатление. Мурашки бегали все время у меня по телу, совсем как за десять лет перед тем, когда я впервые ощутил священный ужас от неистового тенора протодиакона столетнего имеретинского митрополита Давида, с неподдельным гневом анафемствовавшего злодеяния Гришки Отрепьева и Иоанна Мазепы. Внешний вид воззвания, его эпиграф,[19] мой невольный трепет при его публичном чтении перед тысячной толпой в актовом зале императорского университета и сейчас еще передо мною, точно вчерашние впечатления.

В течение всей последующей недели у нас не было почти никаких других предметов разговора. Рассказывали, что члены императорской фамилии и высокопоставленные лица получили прокламации по почте. Другие находили ее под парадными дверями квартир. Государь получил ее, будто бы, в числе доложенных ему дел. Позже мы узнали, что в ее распространении обвиняется поэт М. Л. Михайлов, что он схвачен и засажен в Петропавловскую крепость. Поразительно, что в разговорах по поводу этого воззвания темою служило вовсе не его содержание, а его появление и, особенно, распространение. При мне, по крайней мере, ни разу не случалось, чтобы кто-нибудь попробовал оспорить мысль и заключение прокламации. На этот счет, казалось, с нею все были солидарны. В нашей университетской среде ни единый

голос не раздался, хоть под сурдинку, в защиту царя и правительства, всего за полгода перед тем освободивших крестьян. Все были в восторге, что обойдена цензура, что призыв к восстанию гуляет по белу свету под самым носом у ненавистной власти.

В конце следующей недели, сколько помнится, тоже в субботний день, все студенты и вольнослушатели вновь очутились в том же актовом зале, на этот раз созванные на «сходку», университетским начальством формально запрещенную.[20] Двери зала оказались запертыми. Толпа студентов, несравненно более значительная, чем при чтении воззвания, без дальних рассуждений взломала двери и вломилась в зал, в миг ею переполненный. Долго ничего не было слышно, кроме гула безначальной толпы. Вдруг водворилась мертвая тишина: на тот же стол, с которого за неделю перед тем звучали диатрибы «молодому поколению», взобрался маститый ректор университета П. А. Плетнев, бодрый на вид старец, весь бритый, похожий на убежденного пастора в костюме того же типа <...>

Тоном и голосом любвеобильного отца он умолял нас разойтись, успокоиться, терпеть, чтоб не накликать беды на храм науки. И без того над ним сгустились мрачные тучи. Не было произнесено слов «реакция поднимает голову», но смысл его речи был таков. Да, то была чистейшая мечта, даже химера, думать, что студенчество ему внемлет. Не успел он сойти со стола при всеобщем молчании, без единого знака одобрения, как с той же импровизированной трибуны полились другие, иные речи. Сначала говорил студент высшего курса Николай Утин, сын известного откупщика и брат нашего профессора-юриста Бориса.[21] Он кричал на весь зал, что довольно мы ждали и терпели; именно наше молчание и порождает всевозможные дерзновения невежд и злодеев, и все в том же тоне crescendo. Громом рукоплесканий, криками «браво» покрывались его резкие фразы. Общее одобрение еще сильнее взвинчивало настроение оратора. Вслед за ним говорили другие в том же духе с неменьшим успехом. Между ними особенною прытью отличался кончавший или кончивший курс юрист Неклюдов, с выпуклыми глазами и ястребиным взором, впоследствии известный автор руководств для мировых судей, умерший в должности товарища министра внутренних дел при Дурново первом и Горемыкине, последних дней Александра III и первых Николая II.[22] Сущность всех речей была одна и та же: нельзя допустить ограничения прав науки. Никто не сказал, как и чем добиться ее защиты.

На следующий день, в воскресенье, 24 сентября, мы не успели еще отобедать у кухмистерши А. И. Семеновой, кормившей нас, грузин-студентов и француза-ориенталиста Жаба в кредит по 7 р. 25 к. в месяц, как в столовую вошли оба Гогоберидзе, Н. В. и В. Л., давно не показывавшиеся вместе. На этот раз оба они имели вид во всем друг с другом согласных людей. Один дополнял, досказывал речь другого. Они сообщили, что на следующий день назначена «демонстрация» всего студенчества, почему все мы, без малейшего исключения, должны принять

в ней участие. Демонстрация же будет заключаться в том, что студенты, собравшись в университете, двинутся оттуда через Дворцовый мост по Невскому проспекту и Владимирской до Колокольной улицы, для предъявления новому попечителю петербургского учебного округа требования оставить прежние университетские порядки и для выражения протеста против матрикул.

Долго после этого сообщения длилось наше недоуменное молчание. Наконец, с протестом против «протеста» выступил Д. Н. Абдушели. Мямля и заикаясь, покраснев, как вареный рак, от невольного ораторства, он ответил, что мы приехали сюда учиться, а не учить начальство, которое нас слушать, конечно, не захочет, а отошлет нас обратно домой, что для нас несравненно хуже, чем ссылка в Сибирь. Наши нищие отцы отравят нам каждый кусок хлеба попреками за всуе затраченные деньги на поездку в университет. Гогоберидзе ушам своим не верили, слыша такие возражения от всегда послушных новичков. Они пояснили, что нельзя же грузинам осрамиться перед прочими землячествами, которые все обязались участвовать в демонстрации. На это кн. Кирилл Лордкипанидзе * возразил, что другие нам не указ. В России, Польше, Малороссии уже немало образованных людей. Эти страны не останутся невежественными, если даже и все их нынешнее студенчество исчезнет с лица земли. Не то у нас. Мы первое поколение грузинского студенчества. Стоит нам споткнуться, и грузинских отцов впредь уж никто не уговорит посылать детей в университеты. Они попрежнему станут сдавать их в кадетские корпуса и военные школы, на пушечное мясо, тем более, что на это денег не требуется. После долгих споров, уговариваний и даже упрашиваний Николай Гогоберидзе с раздражением пробормотал себе в нос, уходя: «трусы пусть остаются дома». Этого было достаточно, чтобы мы все не только пошли на демонстрацию, но и полезли там на стену.

Я не принял участия в споре, главным образом, потому, что был молод, мал ростом и безус, все меня считали ребенком, а также и потому, что самая демонстрация казалась мне мифом. Я не мог представить себе, что начальство, которое мне по-кавказски все еще казалось кладезем премудрости, допустит, чтобы демонстрация состоялась. Оно разведет мосты на Неве и всему делу конец, думалось мне. Только из любопытства мы с Кириллом пошли по направлению к университету, в уверенности, что найдем Дворцовый мост разведенным и яличные переправы сведенными к минимуму.

В противность таким представлениям демонстрация не только состоялась, но и вышла гораздо величественнее, чем предполагали ее творцы. Несколько тысяч студентов,[23] расположившись в стройные и размеренные колонны, двинулись через мост по Невскому проспекту,

---

* Кирилл Бежанович, впоследствии известный грузинский общественный деятель. Умер в 1917 г.

заняв весь его северный тротуар, повернули на Владимирскую и заполнили всю Колокольную улицу. Когда голова процессии выравнялась с Казанским собором, конец ее был еще на Дворцовом мосту. У Малой Садовой ее встретил великий князь Николай Николаевич <...> куда-то мчавшийся на лихаче. Он остановил лошадь, спросил студентов, куда они идут. Ему ответили, что идут к попечителю протестовать против матрикул. Голосом, привычным к команде и повиновению, он велел «разойтись» и поскакал дальше. Процессия же, не останавливаясь, продолжала свой путь. Попечителя на квартире не оказалось, мы долго топтались на месте и должно быть, в конце-концов, разошлись бы обедать, если б не показался Преображенский полк в полном вооружении, присланный, как всем показалось, великим князем. Полк мало-помалу длинною цепью занял южный тротуар Колокольной улицы и ее выходы на Николаевскую[24] и Владимирскую. Начальство полка и прибывший затем генералитет расположились около колокольни Владимирской церкви. Адъютанты предложили студентам разойтись, но получили в ответ, что должны повидать своего попечителя. Между тем солдаты начали заряжать ружья (которые тогда заряжались с дула, шомполами, а не с казенной части). Они откусывали при нас бумажные патроны, показывая нам пули, чтобы убедить нас, что готовится дело нешуточное. Некоторые из нас при этом дрогнули и пустились наутек через Поварской и Дмитровский переулки, которые <...> оставлены были незагражденными войском. Лордкипанидзе, от которого я не отставал, чтоб не затеряться в такой огромной толпе (мы с ним жили в одной комнате), и Абдушели, а за нами еще некоторые наши товарищи погнались за ними, приволокли их назад и водворили между нами и солдатами, говоря, что раз мы пришли сюда, надо уж настоять на своем. Дело, к счастью, обошлось без всякого трагизма. Невесть откуда взялся Филипсон, невысокого роста, полный, упитанный, холеный, со светлыми, жизнерадостными глазами, в мундире генерального штаба, с повязкой через плечо для раненой руки. Волосы и бакенбарды его были с сильною проседью. Случайно наша группа стояла близ места его появления, так что мы слыхали весь его разговор со студентами, кроме начала. Мы подошли совсем близко к нему, когда он чрезвычайно спокойно объяснял, что на улице не место для деловых объяснений. «Отправьтесь в университет, я готов вас там выслушать». Старшие студенты ответили ему, что мы пойдем туда с ним вместе, когда уйдет Преображенский полк. Он пошел к генералитету и вернулся оттуда уже совсем жизнерадостный: полк де сейчас уходит. В самом деле, вскоре солдаты ушли. Филипсон не скрыл, что он взял на себя ответственность перед генерал-губернатором за поведение студентов. Совершенно нежданно студенты, разговаривавшие с ним, поручили нашей грузинской группе сопровождать Филипсона в университет. Что было еще изумительнее, это поручение группа передоверила князю Григорию Джавахову и мне. Джавахов был известен среди грузинских студентов под кличкою «бати» (гусь), потому что ходил с перевальцем. А впрочем он

славился добротой и порядочностью в высокой степени. Надо полагать, каждый из студентов тяготился таким некрасивым и ответственным поручением, и его взвалили на деликатных и безответных. Джавахов тоже был невысокого роста. Несмотря на наш невзрачный вид скорее детей, чем взрослых, Филипсон все ж тяготился итти с нами. До Невского он мило разговаривал с нами, расспрашивал, откуда мы. Он нам назвал по имени и отчеству многих грузин-офицеров, служивших в его отряде. Некоторые из них оказались родными Джавахова, другие — моей матери. Вскоре, жалуясь на дальность пути и свои раны, он попросил нас поверить слову кавказского воина, что он будет ждать нас в университете: ведь я же поручился за вас. Мы затруднялись нарушить данное нам поручение. Тогда он предложил мне поехать с ним на дрожках. Это нас убедило. Не желая унизить его, мы взяли на свой риск отпустить его. До самого университета студенты пилили нас упреками, утверждая, что Филипсон заедет в Зимний дворец, чтоб оттуда вытребовать войска против нас.— Да ведь на Колокольной войска у него были под рукой, однако ж он ими не воспользовался, а сам же их отпустил?— оправдывались мы. Разумеется, Филипсон оказался в университете, и не только без войск, но даже без полицейской охраны. Только несколько безучастных «будочников»,— как тогда назывались городовые,— стояли на набережной, на обычных своих постах.

По предложению Филипсона была наскоро избрана «депутация» для доклада министру народного просвещения наших жалоб и требований.[25] Затем мы разошлись безмятежно, довольные собою и Филипсоном. Это довольство, увы, длилось не дольше одной ночи.

Утром следующего дня, явившись на лекции, мы застали оба подъезда университета наглухо запертыми. На них вывешены были надписи, что университет закрыт, а студенты распущены.[26] Подъезды охранялись нарядами полиции. Удивленные студенты бродили кучками по набережной. По мере приближения полудня перед университетом начали образовываться новые кучки и группы. Они состояли из дам, священников, писателей, профессоров. Нам, новичкам, старшие студенты показывали знаменитостей: профессоров артиллерийской академии П. Л. Лаврова[27] и А. Н. Энгельгарда, лесной академии Н. В. Шелгунова, соредактора «Отеч<ественных> Записок» Н. В. Альбертини, издателя Н. Л. Тиблена и многих других, всех и не вспомнишь <...>

Группы зрителей, приходивших в то утро и во все последующие дни любоваться нашим «движением» и тем выражать ему свое сочувствие, представляли собою, право, удивительное явление, способное ввести в заблуждение не одних только новичков. Многим и постарше нас казалось, при виде такого количества светил, украшенных всевозможными знаками отличий, рукоплескавших нам и забрасывавших нас цветами, что все русское общество с нами, что дни правительства сочтены.[28] Не только их дамы, но иногда и сами эти важные особы подносили нам великолепные букеты, которые мы не знали куда деть. Из нас уже мало кто сомневался в том, что с нами вся Россия.[29]

То было марево. Скоро нас ледяной водою обдало известие, что все вчера выбранные депутаты ночью арестованы и засажены в Петропавловку.[30] Если до той минуты и были среди нас студенты, высказывавшиеся против демонстраций и за возобновление занятий, то с этой поры и они стали крайними. Нет, решили и они, нельзя спокойно заниматься, когда над тобой столь гнусное правительство, выделывающее такие мерзости. Разве могли мы остановиться на полпути, когда мы видели перед собой, с одной стороны, коварное правительство, задавшееся глупою целью заменить науку муштровкой, а с другой — русское общество, в лице лучших его ученых и писателей, рукоплещущее нашему движению против власти? Можно себе представить, в каком восторге должны были быть от подобных распоряжений правительства зачинщики демонстрации, видя, что власти так щедро и обильно направляют всю свою воду на их мельницу. Одним этим арестом депутации, выбранной по настояниям попечителя, законному порядку нанесен был более тяжкий удар, чем тот, какой могли придумать замыслы всех агитаторов того времени.

С этой поры пошли каждодневные «сходки» под открытым небом, сперва на университетском дворе, а потом когда он для нас закрылся, на площади пред главным входом в университет. Пока двор был открыт, ораторы взбирались на дрова, сложенные в сажени на зиму. После же переноса сходок на улицу ораторы взбирались на решетку перед университетским палисадником. И это — изо дня в день. Разумеется, как ни находчивы и красноречивы были ораторы, как ни обилен был запас новостей и слухов из области полицейского своеволия, внимание к ним слушателей постепенно притуплялось. Число их с каждым днем уменьшалось. Зато в такой же мере возрастало количество «сочувствующих», особенно из женского пола. Точно нарочно погода тому благоприятствовала: была сухая, солнечная осень.

Государь в то время путешествовал по Черноморью и Закавказью, посещал Поти, Кутаис, где охотился в садах местных помещиков за домашними сернами. Там только готовились проекты освобождения крестьян, и надо было ублажить местное дворянство. Столичные власти, петербургские военный генерал-губернатор Анненков и обер-полицеймейстер Паткуль, не решались без него принять крутые меры,[31] тем более, что дело касалось «отдельного ведомства», учебного, им вовсе не подчиненного, за которое они не отвечают. Чем хуже в нем, тем лучше. Между столицей и Кавказом молодой покоритель Шамиля, фельдмаршал А. И. Барятинский, не допускал проведения телеграфа, предвидя, что вслед затем неизбежно уничтожение кавказского наместничества или, по меньшей мере, умаление его самостоятельности. Поэтому пока до государя дошло донесение о студенческих волнениях в столице и от него получились указания, что делать с ними, прошло гораздо более двух недель. За все это время мы были в Петербурге, если не господами положения, то, наверное, настоящими героями. При полном безучастии полиции и учебного начальства, мы ежедневно сходились,

узнавали новости — все больше о ночных арестах, получали инструкции, обменивались негодованием, любовались зрительницами, особенно с букетами, и к обеду расходились по домам. Так продолжалось с 25 сентября по 13 октября. Должно полагать, что за это время фельдъегерь успел довезти государю донесение о наших бесчинствах и вернулся с приказом прекратить их. И когда 13 октября мы установленным порядком собрались перед главным входом в университет и готовились открыть обычную сходку, нас внезапно окружили неизвестно откуда взявшиеся войска, загнавшие нас в университетский двор, так долго перед нами закрытый. Смышленые из нас проскользнули меж рядов и смешались с толпой «сочувствующих». Войскам, вероятно, приказано было не мешать беглецам. Во дворе нас долго и скучно переписывали, потом перекликали, на что пошло около трех часов, а то и больше. Захвачено нас было более ста юношей. Пока тянулась канитель составления списка, известие о нашем аресте успело облететь город. Когда нас, наконец, вывели из западных ворот университетского двора, чтобы через Тучков мост вести в Петропавловскую крепость, окружавшее нас каре солдат было атаковано большою толпою студентов, желавших разделить нашу участь. Не только солдаты, но и их начальство совершенно растерялись. Если б это мы набросились на них, чтобы освободиться, о, тогда не было бы никаких колебаний: в ход было бы пущено оружие, и холодное, и огнестрельное. А тут нападавшие домогались быть арестованными. При таком беспримерном явлении поневоле растеряешься. Нападавших было несколько сот человек. Началось что-то вроде рукопашной. Гвардейцы старались «честью» помешать студентам расталкивать ряды конвоя. В этот момент на нападавших налетел взвод конных жандармов, стремительным наскоком расколовших атакующих. Все это было делом нескольких минут, тотчас же вслед за открытием университетских ворот. Большая часть студентов, собиравшихся ворваться в наши ряды, была отброшена конною и пешею полицией на дальний край площади, причем немало студентов, ушибленных лошадьми или прикладами, валялось на мостовой. Все ж около полутораста юношей успело прорвать строй и войти в наш круг, хоть многие из них за это поплатились боками, а один даже и черепом (Вл. Лебедев). Мы были окружены отрядом около десяти часов утра; в крепость же нас доставили, когда смеркалось. И в крепости нас долго держали на дворе, под тем же караулом перед гауптвахтой, пока для нас очищали ряд казематов, выходивших окнами на Неву, против Дворцовой набережной, к северу от того спуска, с которого комендант крепости торжественно переезжает реку пред открытием по ней навигации. Пока мы стояли перед гауптвахтой, студенты заметили в ее окне М. Л. Михайлова, узнать которого было не трудно по его калмыцкому типу. Мать поэта была дочь калмыцкого царька. Все мы почтительно сняли шапки, а он долго кивал нам головой, как бы каждому отдельно. Пять лет спустя, когда он уже умер на каторге, я узнал из вполне достоверного источника, что прокламация «К молодому поколению», из-за

которой он погиб, была составлена и провезена через границу не им, а Н. В. Шелгуновым. Поэт принял вину на себя, чтоб тем избавить от обыска и ареста супругу писателя, Л. П. Шелгунову, от которой имел весьма симпатичного сына, рано погибшего с горя и в нужде. Ходивший в шестидесятых годах по рукам рисунок Михайлова в крепости был набросан с натуры в тот вечер одним из студентов нашей группы.

Перед тем, как ввести нас в казематы, нас снова пересчитали по списку, в присутствии плац-адъютанта, который выдал доставившему нас караулу расписку в приеме партии. Всего нас оказалось 240 человек. Это тот самый список, который вскоре появился сполна в «Колоколе».[32] Нас поместили в восьми низких, мрачных, сырых и сводчатых казематах, соединенных между собою арочными проходами.[33] Все восемь палат образовали как бы одно помещение, освещенное тусклыми фонарями, подвешенными к аркам. Ни малейшей мебели, ни кроватей, ни даже тюфяков и одеял в казематах не полагалось. Постояв немного, мы от усталости сперва присели на корточки, а затем и легли на голый, но довольно опрятный пол, кто где стоял, без пищи и питья. Особенно трудно далась эта ночь тем, кто, подобно мне, в то утро вышли из дому в одном пиджачке. Кажется, в ту ночь, несмотря на страшную усталость, мало кто из нас сомкнул очи.

Утром пошли группировки отдельными кучками, большею частью по землячествам. Поляки обособились в отдаленнейшей из палат. Малороссы тоже образовали отдельную раду, утешавшую себя и нас за душу хватавшим пением. Их хоры и соло изобиловали необычайно звонкими голосами. Главным запевалой был крымец Хартахай. В их группе отличались Евтушевский, впоследствии прославившийся, как педагог и автор учебников по математике, и Гулевич, оба неистощимые мистификаторы, то и дело распускавшие пуфы, морившие всех со смеху. Грузин было мало, чтобы образовать особый отдел. Мы с Абдушели и Лордкипанидзе попали в кучку, в которой выдавался вольнослушатель Игнатий Пиотровский. К нему меня влекло то, что я знал его, как автора бойких статей в «Современнике», под рубрикой «Погоня за лучшим». Совершенно случайно рядом с ним очутился приверженец совсем противоположного направления семинарист Линев, из Костромы, весьма охотно объяснявший мне в течение всего времени нашего заключения терминологию и особенности гегелевской философии. Поблизости же расположились другие студенты, с которыми мы сошлись за эти недели сходок и волнений: Лев Самарин * и Рождественский,** тоже увлекавшиеся литературой. Они все служили мне живою энциклопедией, более

---

* В 1864 г. приговорен гос. советом за «покушение на принятие участия в бывшем в западных губ. мятеже» к лишению прав и отдаче в солдаты с выслугой. В Россию вернулся в 1878 г., но разыскать его я не мог.

** Ив. А., автор выпущенной в 1869 г. брошюры «Литературное падение М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского», вследствие чего я с ним разошелся и потерял его из виду.

или менее полно отвечавшей на мои тогдашние запросы. Хоть они на них давали зачастую противоположные ответы, но и это мне нравилось, потому что заставляло быть настороже и шевелить мозгами.

Вскоре после нашего заключения в крепость Рождественский написал «Послание к М. Л. Михайлову», очень понравившееся студенчеству. Оно начиналось следующими стихами:

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братски шлем тебе привет;
Да усладит в печальной доле
Тебя, любимый наш поэт.
Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять,
Чтоб дань любви и дань участья
Тебе, учитель наш, воздать и т. д.[34]

Любуясь этим стихотворением, студенты и не подозревали, что оно в самом деле дойдет до Михайлова. Каково же было наше восхищение, когда, немного дней спустя, получился — неизвестно каким путем — трогательный ответ поэта,[35] до слез нас расстроивший.[36]

Тот же Рождественский сочинил в крепости и другое стихотворение, в подражание знаменитой «Солдатской песне» из сатир графа Л. Н. Толстого на крымские поражения:

Как восьмого сентября
Мы за веру и царя
От француз ушли [37]

Песня Рождественского была много грубее. В моей памяти сохранились лишь первые ее строфы:

Как однажды в понедельник
Всей полиции бездельник
Паткуль генерал,
Нам поставя в обвиненье
Своей рожи оскорбленье...

Нашлись охотники, хором распевавшие эту песню, особенно громко в часы обхода наших палат плац-адъютантом.

В этих заплесневевших казематах нас на пище святого Антония продержали, впрочем, не более недели, а то мы, наверное, расхворались бы тут всенепременно. В одно осеннее утро у лесенки спуска к Неве остановился ветхий пароход, на который нас усадили, в чем мы были, не разбирая, кто во что одет, и не говоря, куда нас везут. Всем казалось, что, наверное, в Шлиссельбург. Дул пронзительный, ледяной ветер и хлестал мелкий дождь, с примесью хлопьев снега. Нева покрыта была барашками. Я был в одном пиджаке и дрожал, как осиновый лист, не попадая зубом на зуб. До сих пор не понимаю, как спасся я тогда от простуды. Плыли мы часа четыре, если не больше: пароход был совершенно бессильный и едва выдерживал ветер. Кое-как добрались мы до Кронштадта. Но тут нас ждала встре-

ча, мигом заставившая нас забыть все наши невзгоды и огорчения. Когда нас повели под конвоем уже не щеголей-гвардейцев, а убогих гарнизонных солдат, все еще носивших николаевскую форму и клеенчатые каски и кивера, а не кэпи, то у входа в крепостные ворота, к неописуемому нашему изумлению, нас встретил предлинный двойной строй дам, несмотря на непогоду разодетых в пух и прах, и, пока нас вели сквозь такой восхитительный строй, они забрасывали нас цветами, чаще попадавшими в солдат, чем в нас. Неизвестно, где они их достали в такое время года? Овация была прямо трогательная. Понятно, с тех пор наше мученичество нас уже не тяготило, а тешило. Увы, наших преемников по «движению» впоследствии в тюрьмы вели не с такими почестями. Заключение для них было уже не праздником.

Нас привели в казармы, выходившие окнами на Финский залив, в сторону Ораниенбаума, предназначенные служить, в случае надобности, госпиталем, но совершенно новые и, по-видимому, еще не употреблявшиеся для этой цели. Тут каждому из нас досталось по койке, с новенькими двойными тюфяками, с чистым холщевым бельем На двоих полагалось по столику. Окна были огромные, разумеется, двойные, только что вымытые. Комнаты залиты были ярким светом и обдали нас теплом. Высокие стены выкрашены были в голубой цвет, а откосы дверей и окон и потолки в белоснежный. Все вообще после крепости произвело на меня впечатление, точно нас поселили в роскошный дворец. Это был первый со дня ареста день, когда мы вольно вздохнули: нас сытно накормили, и мы богатырски выспались.

Два месяца, проведенные нами в этой казарме, оставили во мне воспоминание, точно это были одни из счастливейших дней моей жизни. Удивительно, как в этом положении во мне ни на секунду не возникало мысли и беспокойства ни о моей судьбе, ни о родных, ни о чем земном. Моя койка помещалась между Кир. Лордкипанидзе и Линевым. Поблизости стояла койка Пиотровского, с которым я всего чаще коротал часы заключения. Он приворожил меня к себе тем, что моему безразборному и беспорядочному чтению прежних лет дал скелет и освещение, показавшиеся мне стройным и правильным. Он внушал мне, что времена настают боевые, когда некогда долго учиться и корпеть над мелочами науки, над «черною лабораторной работой». Надо хватать на лету «выводы», уже добытые учеными, обобщающими чужие научные труды. Ведь мы себя не в ученые, не в профессора готовим, а в «граждане». С нас совершенно довольно выводов, кухня научная для нас излишня. Выводы же делаются писателями, вроде Чернышевского или Добролюбова, именно только тем и занимающимися, чтобы вооружать молодежь всеми данными современного знания, последними словами науки, особенно же такой, которая как освободительная не допускается в стены казенных учебных заведений. Видя, что я читаю только что вышедший восьмой том «Сочинений Белинского» о Пушкине, Пиотровский настаивал, что едва ли стоит вдаваться в такие «мелочи и подробности». Все, что теперь нужно

знать об этих предметах, изложено в очерках Чернышевского «Гоголевский период русской литературы». Их необходимо прочесть всякому образованному человеку. По современной истории, которая в университете вовсе не проходится, нужно прочесть его же статьи «Борьба партий во Франции», «Кавеньяк», «Процесс Менильмонтанского семейства» (т. е. сен-симонистов) и т. п., и в особенности его неподписанные статьи во всех книжках «Современника» под рубрикой «Политика». Статья «Процесс Менильмонтанского семейства» важна еще и тем, что она, как и некролог Добролюбова о Роберте Оуэне, знакомит с положениями социализма, хоть говорить о нем и произносить это слово в печати строжайше запрещено. Многие из названных статей мной уже были прочитаны, но с его комментариями они приобретали более глубокое значение. На них он был щедр, а я не уставал их слушать.

Между тем в казарме, разделенной лестницей на два отделения, мы, 240 заключенных, учредили свою республику, с выборным правительством, еженедельно дававшим отчеты нашему общему собранию, заседавшему в особой палате, оставленной свободною для таких случаев, для концертов, литературных чтений, декламаций, судебных разбирательств и т. п. Кронштадтские дамы любезно одолжили нам на все время нашего затворничества два рояля, на которых любители играли, когда вздумается, по очереди. Обыкновенно эти рояли стояли каждый в отдельной половине казармы. Но в дни концертов и музыкальных вечеров они переносились в общий зал, где в свободные от собраний дни расположена была наша лавочка, снабженная папиросами, сладостями и всякою всячиной и находившаяся в заведывании тоже выборного персонала. Мы обосновались надолго. Кормили нас на казенный счет вполне сносно: утром и вечером давали чай в оловянных кружках, среди дня — обед из двух блюд, по воскресеньям же регулярно кронштадтки присылали нам роскошные блюда с изысканным десертом. Гарнизонное начальство, которому мы были вверены, не только не препятствовало таким проявлениям общественного сочувствия, но и само, как это ни странно, принимало участие в вечеринках и собраниях, устраиваемых нами. Одеты все мы были постоянно одинаково, в больничные халаты из серого солдатского сукна, в холщевое белье и в туфли без задков. В таком «арестантском» костюме мы любили сниматься группами на гауптвахтной платформе перед нашею казармой, с гарнизонными часовыми и караульным офицером в наших рядах.[38] Нам это охотно позволялось, и такие фотографии мы хранили, как святыню, воспоминание о вскоре вслед за тем погибших товарищах. На литературные чтения и музыкальные вечера к нам часто ходило не только наше начальство, но и высшее кронштадтское, присутствие которого ничуть не мешало нашим артистам петь бесцензурные песни, которым мы наиболее рукоплескали. Меж ними особенный успех доставался стихотворению Н. П. Огарева «Свобода». Мы совсем неистовствовали, когда пелась строфа:

Но если б грозила беда иль невзгода
И рук для борьбы захотела свобода,
Сейчас полечу на защиту народа.
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:
Свобода! Свобода![39]

Кронштадтские адмиралы внимали ей с неменьшим умилением, чем мы. Нам это нисколько не казалось странным. Мы считали, что радикализм моряков — следствие их долгих стоянок в иностранных портах, где они набираются свободолюбивых взглядов под влиянием европейских нравов и порядков. С еще большим энтузиазмом и мы, и гарнизонное офицерство, и кронштадские власти присутствовали на «гласном суде» и «суде присяжных», по временам устраивавшихся у нас, с импровизованными защитниками, обвинителем, судьями, приставами и т. п. В те дни суд на Руси был синонимом взятки и крючкотворства. За две-три недели слушания нами университетских лекций неизгладимо благотворные воспоминания оставили в нас курсы Спасовича, по уголовному праву, и Утина — по судопроизводству. Сличая положения русского законодательства с практикой правосудия в Европе, особенно же в Англии, они ввели «судебную реформу» в число десяти заповедей молодого поколения. «Примерные представления» судебного процесса, которые устраивались в университете и в нашей казарме, имели для посещавшей их публики глубокое воспитательное значение. Эти процессы происходили у нас почти еженедельно под руководством юристов старших курсов, по всем правилам английского судопроизводства, иной раз для разбора действительных проступков кого-нибудь из нас, большею же частью по воображаемым поводам. Красноречием иные из импровизированных прокуроров и защитников отличались изумительным. Для лиц, подобно мне присутствовавших на подобных опытных судоговорениях, уже не могло быть сюрпризом пять лет спустя, по открытии осенью 1866 г. судебных установлений по уставам 1864 г., внезапное появление целой плеяды перворазрядных судебных деятелей и ораторов: их взростила наша университетская наука, с ее студенческою практикой товарищеского суда, недаром казавшегося тогдашним правителям России «пропагандой превратных понятий».

Бывали, впрочем, у нас и дни печали и уныния: едва ли не все студенты точно громом были поражены, когда до нас в середине ноября дошло известие о смерти Н. А. Добролюбова.[40] Не один только Пиотровский залился слезами, узнав о ней. Покойного я знал по статьям. Но меня удивляло, что окружавшее меня студенчество помнило совсем другие его статьи, чем те, которые всего более волновали меня. На меня и на некоторых моих сверстников особенно долговременное влияние имела в конце 1860 г. его статья о падении неаполитанского престола. Она художественно описывала сперва непоколебимую прочность королевского трона, покоившегося на сплошном неве-

жестве народа, а потом головокружительную быстроту его падения, по мановению руки Гарибальди. Под свежим впечатлением этого изумительного события статью Добролюбова мы поняли в том смысле, что и русский престол может быть взорван. Точно так же язвительные стихотворения Якова Хама, будто бы переведенные то с «австрийского», то с «неаполитанского» языков, нами принимались, по их действительному назначению, за безудержное издевательство над нашими порядками и правительственными взглядами[41] <...>

Около того же времени — середины ноября — к нам, наконец, пожаловала из Петербурга «Высочайше учрежденная» комиссия для расследования студенческих беспорядков и для суда над нами. Председателем ее состоял профессор полицейского права И. Е. Андреевский.[42] Его предмет был одним из главных в моем (административном) отделении юридического факультета, и потому я пошел слушать его вступительную лекцию, которую он начал буквально так: «та часть философской науки, милостивые государыни и господа, которая называется полицейским правом»... и т. д., хоть в его аудитории не было ни единой милостивой государыни. Прибавьте льстивое выражение лица, вкрадчивый тон и голос, и вы поймете, почему мы не взлюбили его, совсем независимо от зазорного наименования его предмета. Нас нимало не удивило, что он взялся судить нас.

Комиссия только и сделала, что раздала нам печатные опросные бланки со множеством рубрик, которые мы должны были заполнить собственноручно. Меж ними были и странные вопросы вроде того, например, говорили ли мы офицерам арестовавшего нас отряда, что их имена будут заклеймлены в «Колоколе»? Старшие студенты из юристов просматривали наши ответы, чтоб мы не отяготили напрасно нашего положения необдуманными фразами. На другой же день наши ответы, скрепленные надлежащими подписями, были церемонно отобраны у нас полным составом комиссии и отвезены в Петербург.

Прошло незаметно еще две-три недели: мы их и не считали. Не только Нева, но и все море уже покрылось толстым слоем льда. Из столицы к нам по льду на санях ездили знакомые и товарищи, беспрепятственно к нам допускавшиеся. Нередко даже и нас отпускали кататься с ними на санях по заливу и городу. Товарищи привозили отрадные вести, что наша «демонстрация» принесла ожидавшиеся плоды: вернувшись в столицу, государь прогнал не только генерал-губернатора с обер-полицеймейстером, но и министра просвещения Путятина, и попечителя Филипсона, а с ними и кое-каких других министров, например министра внутренних дел. Вместо старых, дряхлых, он назначил молодых, уверяют, либеральных, рекомендованных ему великим князем Константином Николаевичем и великою княгиней Еленой Павловной, А. В. Головнина на пост министра просвещения и П. А. Валуева — министра внутренних дел. Еще раньше на место престарелого Сухозанета военным министром назначен был Д. А. Милютин, начальник штаба кавказской армии и сотрудник Барятинского

в завоевании Дагестана.[43] Теперь де, несомненно, пойдут новые, иные песни. Военщины в университетах и духу не будет. С новым, готовящимся, университетским уставом матрикулы исчезнут, и все пойдет прекрасно. Ура!

Так настал декабрь. 6-го числа утром нам внезапно предложено было снять и сдать казенное платье и облачиться в собственное. У ворот казармы нас ждала сотня саней, запряженных тройками. Те лихо домчали нас через залив в Петергоф, где нас ждал специальный поезд, мигом довезший нас в столицу. Здесь, на Петергофском (теперь Балтийском) вокзале, нам, наконец, объявили, что мы свободны и можем ехать, куда глаза глядят, но уже на собственный счет. Для получения видов на жительство нам предложено было явиться уже не в университет, как было прежде, а в канцелярию обер-полицеймейстера, на Большую Морскую, дом № 20.[44]

Там мы скоро узнали, что объявление о нашей свободе и праве ехать куда глаза глядят было не совсем верно: по высочайше утвержденному приговору комиссии мы все признаны были виновными и разделены на четыре категории. Первая, в составе семи зачинщиков, приговорена к высылке в отдаленные губернии. Попавшие во вторую категорию, все больше студенты четвертого курса, исключались из университета по волчьему паспорту, с тем, чтобы их ни в какие высшие учебные заведения не принимать. Третьей категории разрешалось поступать на соответственные курсы провинциальных университетов. Четвертая категория, в которую попали мы, молокососы, т. е. студенты первого курса, отдавались «на поруки родителям». У кого же их в столице не имелось, те высылались полицией на родину.[45] <...>

Когда в Петербург пришли новые номера «Колокола» со статьей «Исполин просыпается» и со списком студентов, захваченных 13 октября, т. е. с нашими фамилиями,[46] мы были на седьмом небе: поймите, ведь это в нашем лице впервые просыпается исполин — Россия. Наши волнения тут описывались как начало новой эры в истории государства Российского. Ну как тут не возмечтать, не пожелать участия в дальнейших подвигах? <...>

А тут пошли новые прокламации, теперь уже поменьше объемом и поскромнее содержанием, домашнего, несомненно, производства, на сероватой бумаге лубочных изданий и со старым шрифтом. То были номера «Великорусса»,[47] требовавшего всего только представительного правления, что-то в роде Земского Собора. Возбужденные ими споры и волнения — восторги по поводу обхода полиции и цензуры — побудили меня искать способов, как бы обойти предстоящую мне высылку на родину и остаться в столице, не осрамясь подчинением матрикулам? Как в самом деле, уехать при мысли, что можешь прозевать революцию? Я решился рискнуть «выписаться выехавшим на родину», в действительности же перебраться в такой квартал, где полиция не особенно усердствует, по обилию тут благонадежных элементов: военных и чиновничества. Для этого стоило перебраться к кн. Ака-

кию Церетели,[48] уже и тогда известному грузинскому поэту. <...>. Его хозяйка-старуха, души в нем не чаявшая, согласилась держать меня без прописки, пока я получу с погибельного Кавказа новый паспорт вместо будто бы утерянного. В действительности же мой университетский вид на жительство был у меня отобран при выдаче из полиции открытого листа на следование на родину для явки там местному начальству. Я скинул с себя пиджак, заменив его черкеской, придававшей мне вид конвойца, или по меньшей мере его слуги. Я редко выходил из дому, чтобы не мозолить глаз дворнику. В кварталы с преобладающим студенческим населением я вовсе не ходил. Дома же я занимался изучением старых номеров «Современника» и проглатыванием от первой до последней строчки новых его книжек, выхода которых ждал, как манны с неба <...>

Перед рождественскими праздниками ко мне неожиданно зашли две очаровательнейшие дамы, старшая из которых сказала, что она жена Чернышевского и просит одолжить ей черкесский костюм для маскарада. О ней я много слышал от товарищей, познакомившихся с нею за время нашего заключения и часто у нее бывавших. Разумеется, я тотчас же исполнил ее желание. С ней была сестра, много моложе ее. Обе были темноглазые, брюнетки. Старшая казалась даже грузинкой и была гораздо бойчее сестры, нежный взгляд которой, казалось, старался скрыть симпатию к вам. Звали старшую Ольгой Сократовной, а младшую — Минодорой. Уходя, Чернышевская властно наказала мне завтра же притти к ней за костюмом и на чашку чая. «Я вас познакомлю с Чернышевским». Я не верил своему счастью и чуть с ума не спятил от него.

Кое-как дождался я следующего вечера, считая часы и минуты. Они жили на Владимирской, наискось от собора.[49] Гости уже сидели за чаем, в столовой. Хозяйка разливала чай, но самого Чернышевского в комнате не было. Ольга Сократовна сказала, что он скоро придет. За столом сидело около дюжины гостей и только две дамы, мои посетительницы. Большинство гостей состояло из грузин, студентов старших курсов, великовозрастных красавцев, в щегольских костюмах и с модными тогда бородами и прическами à la Garibaldi.

Сущность разговора, врезавшегося мне в память, заключалась в том, что один из студентов, кн. Иван Андроников, впоследствии видный кахетинский винодел, восторгался рассказом о безбоязненном поведении в сенате М. Л. Михайлова, открыто выложившего свои убеждения и произнесшего, вместо защитительной, обвинительную речь против правительства.[50] Чернышевская прервала его восторги замечанием, что Николай Гаврилович (ее муж) очень сожалеет о таком поведении Михайлова. Ему вовсе не следовало сознаваться, а нужно было сделать все, что только возможно, чтобы спастись. Нас уж не так много, чтобы самим лезть в петлю. Андроников конфузился и не возражал, тем более, что в столовую вошел Чернышевский, подтвердивший последние слова жены и сказавший, в нос и скороговор-

кой, две-три фразы в том же смысле насчет того, что глупо откровенничать с начальством, которого все равно словами не вразумишь. Тут я был представлен ему женой, с прибавлением, что я один из сидевших в крепости. С непередаваемой улыбкой он задал мне несколько вопросов о моих впечатлениях, от которых меня бросило в пот и волненье. Он скоро меня оставил в покое. Я нисколько не обиделся полуироническим тоном его вопросов о крепости, сознавая естественность отношения ко мне, как к малышу, со стороны человека, так мало церемонящегося с гигантами.

Когда я уходил, Чернышевская сказала мне обычную всем хозяйкам фразу: заходите почаще. Я, однако ж, при всем желании бывать у них не мог не стесняться, тем более, что мне довольно далеко было ходить. Ее сестре снова понадобилась черкеска, и они заехали ко мне в экипаже, запряженном чудным рысаком, на котором они и повезли меня к себе. Мало-помалу я к ним привык и перестал стесняться. Подобно всем другим студентам-грузинам, ежедневно бывавшим у них, и я стал ручным в их доме <...>

Чернышевский редко показывался гостям жены, а все время сидел в кабинете, куда редкий из них заходил. Едва ли не один М. А. Антонович,[51] которого мы считали преемником Добролюбова, свободно входил в кабинет. Кроме него и грузин-студентов, у Чернышевских бывали устроители студенческих вечеров, чтений и некоторые профессора университета.[52] Но мое особенное внимание обращали тут военные, офицеры генерального штаба, между которыми было много полковников, но бывали и генералы. Помню самоуверенный вид полковника Сераковского, поляка, блистательного красавца, про которого Ольга Сократовна говорила, что Николай Гаврилович очень его ценит за ум и многостороннее образование. Он тоже свободно заходил к Чернышевскому в кабинет и подолгу там оставался. Когда они выходили оттуда вместе, меня удивляли знаки глубокого уважения, с которым Сераковский относился к нашему писателю. Мог ли кто-нибудь из нас тогда, любуясь этим героем, украшенным всевозможными знаками отличий и щеголявшим верою в свою звезду, вообразить себе, что менее, чем через год, он будет повешен в Вильне Муравьевым?[53] <...>

Штаб-квартирою студенчества, по закрытии университета, стал книжный магазин и библиотека для чтения Н. А. Серно-Соловьевича[54] на Невском, в доме Петропавловской церкви.[55] Тут мы имели возможность читать все, что угодно. Так как в то время продажи газет отдельными номерами на улицах еще не существовало, на журналы же надо было подписываться на целый год, библиотека доставляла всем большие удобства. Здесь же можно было узнать все политические и литературные новости, в печати не появлявшиеся, видеть почти всех знаменитостей, а нередко и знакомиться с ними. Серно-Соловьевич приступал тогда к изданию многотомной «Всемирной истории» Ф. Шлоссера, под редакциею Чернышевского.

Эти развлечения и удобства не заменяли нам университета, все еще остававшегося закрытым. Министерство, видимо, рассчитывало держать его подольше в таком состоянии, чтобы тем очистить столицу от беспокойной молодежи и заставить ее перебраться в провинциальные университеты. Чтобы расстроить этот коварный замысел, студенты постарше испросили у кн. Суворова разрешение открыть курсы публичных чтений в залах городской думы. Почти все наши уволенные профессора приняли в них участие, т. е. просто-напросто возобновили свои университетские курсы. Слушатели должны были платить не за все лекции, а только за те курсы, на которые записались. Этот «Вольный университет» достиг, тотчас же по его открытии, полного успеха не только у студенчества, но и всей столичной образованной публики, особенно же у дам из высшего общества. Каждый из нас слушал по крайней мере две-три лекции в день, совсем по-университетски, т. е. стараясь уловить и записать их содержание. Мы рассчитывали дотянуть так до осени, до предположенного открытия настоящего университета. Но человек предполагает. . .[56]

Лично я хоть и жил с грузинами-студентами, но большую часть своего времени, свободного от чтения, проводил с юношами, с которыми сдружился в дни, называвшиеся нами «пленом Вавилонским». После самоубийства Пиотровского[57] и высылки на родину Линева у меня остались приятелями Самарин и Рождественский. Они познакомили меня с Е. Стопакевичем, старшим корректором «Современника», недавно кончившим университет. Он жил в Спасском переулке близ Сенной недалеко от меня, знал все новости и был общительный и интересный человек. А главное — он давал мне читать статьи «Современника» в корректуре, за недели до их появления в свет <. . .> Я с жадностью перечитывал рукописи или «чистые листы» таких статей, заготовлявшиеся для авторов и редакции. Но скоро мой интерес усугубился наездами сюда из Москвы приятелей Стопакевича, студентов Московского университета Аргиропуло, Заичневского и Саблина (старшего).[58] Они ездили всегда порознь и всегда с одним и тем же чемоданом, битком набитым свежими тетрадями, издававшихся ими подпольно литографированных переводов материалистических сочинений Бюхнера и Фейербаха: «Сила и материя», «Сущность религии» и т. п. На этот раз они привезли начало нового издания: «Сущность христианства», которое и я взялся распространять в грузинской среде. Все эти юноши держали себя, как истые заговорщики, и со мною ни в какие откровенности не пускались, да и я стеснялся их расспрашивать. Но заговорщичество их было еще примитивное, и в разговорах со Стопакевичем при мне они часто проговаривались, так что нередко можно было догадываться, в чем секрет. Привозимые ими тетради имели точь-в-точь такой же вид, как наши университетские лекции. Из их разговоров я понял, что в Москве они же издавали массу университетских лекций; переводы же они печатали между прочим, что им сходило контрабандой. Этих юношей я иной раз встречал и у Чернышевских <. . .>

К. А. Тимирязев

СТУДЕНТЫ-ЗАБАСТОВЩИКИ

Много, чересчур много, писали о студентах-забастовщиках, но разъяснил ли кто-нибудь психологию студента-забастовщика? А я пережил эту психологию и потому не считал себя вправе врываться непрошенным в область, в которой судьей могла быть только самая чуткая, молодая совесть. Вспомнился мне и старик-отец, с утонченною деликатностью не позволивший себе усложнить своими порицаниями или одобрениями ту бурю, которая кипела под молодым черепом. В наше время мы любили университет,[1] как теперь, может быть, не любят, — да и не без основания. Для меня лично наука была все. К этому чувству не примешивалось никаких соображений о карьере, не потому, чтобы я находился в особых благоприятных обстоятельствах,— нет, я сам зарабатывал свое пропитание, — а просто мысли о карьере, о будущем не было места в голове: слишком полна она была настоящим. Но вот налетела буря в образе, недоброй памяти, министра Путятина с его пресловутыми матрикулами. Приходилось или подчиниться новому полицейскому строю, или отказаться от университета, отказаться, может быть, навсегда от науки, — и тысячи из нас не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной доле делаем общее дело, даем отпор первому дуновению реакции, — в убеждении, что сдаваться перед этой реакцией позорно. Но нелегко было на душе. Помнится, когда настал день лекции Д. И. Менделеева,[2] — я особенно увлекался этими лекциями, — вдруг стало так жутко, что, подвернись в эту минуту какой-нибудь Мефистофель с матрикулой, пожалуй, подмахнул бы ее и не чернилами, а кровью.* Особенно выводила из себя мысль, что вот товарищ, аккуратный остзейский барончик,

* Позднее такой Мефистофель, действительно, явился в образе участкового пристава, сначала лестью, а потом угрозой убеждавшего вернуться в университет,— но тщетно.

теперь сидит и слушает Менделеева. А почему? Потому только, что помимо химии, он не понимает, не чувствует того, что чувствую, что понимаю я. И утешался я только мыслью, что и науку-то он, верно, не понимает по-настоящему, и не пойдет она ему впрок, что и оправдалось. Любопытная подробность: мы продолжали любить и уважать своих не только профессоров, но и учителей: А. Н. Бекетова,[3] Н. Н. Соколова,[4] оставшихся на бреши разгромленного университета, *а они уважали нас, отсутствовавших, более, чем тех, что продолжали посещать опустевшие аудитории.*

И вот теперь, на седьмом десятке, когда можешь относиться к своему далекому прошлому, как беспристрастный зритель, я благодарю судьбу или, вернее, окружавшую меня среду, что поступил так, как поступил. Наука не ушла от меня, — она никогда не уходит от тех, кто ее бескорыстно и непритворно любит; а что сталось бы с моим нравственным характером, если бы я не устоял перед первым испытанием, если бы первая нравственная борьба окончилась компромиссом! Ведь мог же и я утешать себя, что, слушая лекции химии, я «служу своему народу». Впрочем, нет, я этого не мог, — эта отвратительная фарисейски-самонадеянная фраза тогда еще не была пущена в ход.

Такова была психология студента-забастовщика чуть не полвека тому назад <...>

Л. Ф. Пантелеев

„ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ“

Имея некоторое касательство к обществу «Земля и воля»,[1] я считаю своим нравственным долгом пополнить недостаток сведений о нем; но заранее оговариваюсь, что могу это сделать лишь в некоторой степени: много осталось для меня неизвестным, а из того, что знал, немалая доля улетучилась из памяти.[2] Затем перехожу к делу.

Я был знаком с К. Д. Кавелиным и, как только студентов выпустили из крепости (6 декабря 1861 г.), заявился к нему. Хотя Кавелин и был против каких-нибудь демонстраций со стороны студентов, но он хорошо понимал, что молодость имеет свой темперамент и свой житейский кодекс. Кавелин встретил меня крайне сердечно; после разговора о том, каково нам жилось в крепости, он спросил меня:

— Что вы теперь предполагаете делать? (Как студент четвертого курса, я был исключен из университета.)

— Да думаю делать то же, что и ранее; правда, университет закрыт, но можно работать у себя на дому и на всякий случай готовиться к экзамену.

— Душевно вам этого желаю; но как трудно, как трудно войти в прежнюю колею жизни. Боюсь, чтобы на многих это сидение в крепости не оставило крупного следа; иных уже теперь нельзя узнать; вот, например, Евг. Петр. Михаэлис* выглядит конспиратором, того и гляди погибнет ни за что, а какая талантливая, многообещающая личность.**

Кажется, недели две мы провожали наших высылаемых товари-

---

* Брат Л. П. Шелгуновой; умер в Сибири в 1913 г., 2 декабря,[3] справка Э. Пекарского.

** «Крепость укрощает только легкий, напускной либерализм,— люди с твердым характером выходят из нее уже опытными заговорщиками» («Автобиография» И. А. Худякова).

щей;* все вечера проводили в пирушках по этому случаю да в посещении разных салонов, гостеприимно открывшихся для нас. Везде между студентами шел один разговор: надо непременно, несмотря на закрытие университета, поддержать связь между студентами. С этой целью было даже устроено примирение с матрикулистами.** Но как поддержать связь между студентами? Единственное средство, чтобы побольше организовалось кружков — эти кружки должны регулярно собираться и через посредство своих представителей быть в постоянном общении между собой. Посещая разные кружки, не трудно было заметить, что в каждом из них было ядро, которое не удовлетворялось одними разговорами о прошлой истории да обсуждением разных чисто студенческих дел; тянуло в какую-то другую неведомую сторону, но ничего определенного не высказывалось, только нередко говорилось о необходимости быть осторожным. По этому последнему поводу я как-то, смеясь, сказал: «Да, право же, господа, эти разговоры об осторожности оскомину набили, а между тем не знаешь — что осторожно, что неосторожно; лучше прямо начать с того, что сочинить руководство к конспираторству и всем вместо матрикулы иметь его в кармане». По времени стали провертываться разговоры, что хорошо бы завести Акулину (под этим словом почему-то стали разуметь тайную организацию); но собственно студенческая среда так на этих разговорах и остановилась. Между тем текущие события, как-то ссылка на каторгу М. И. Михайлова, затем В. А. Обручева, дело тверских мировых посредников, арест В. В. Берви, высылка П. В. Павлова, — с каждым днем все сильнее и сильнее возбуждали молодежь; не без впечатления также проходили и вести из Польши.***

Помнится, на пасхе 1862 г. заходит ко мне Николай Утин. До крепости я с ним почти не был знаком, там несколько сблизились, но, кажется, на него произвел впечатление разговор, который я имел с ним после одного довольно бурного заседания студенческого комитета.

Я спокойно, но откровенно высказал ему, что его диктаторские замашки и резкая манера относиться к мнениям товарищей, когда они в чем-нибудь не сходились с ним, каждый день плодят ему если не явных врагов, то людей, которые могут покинуть его при первом остром случае, что человек, желающий играть руководящую роль, должен не только соображать свой каждый шаг, но и взвешивать всякое слово. Он стал после этого нередко советоваться со мной перед более серьезными заседаниями студенческого комитета; оказал мне самую деятельную поддержку в комитете относительно созвания большой сходки и избрания

* Тогда были высланы студенты К. А. Ген, М. П. Покровский, Е. П. Михаэлис, Френкель, Новоселицкий (один из весьма немногих тогда студентов евреев) и вольнослушатель Филитер Орлов.

** То есть теми студентами, которые подчинились новым правилам и взяли матрикулы. От их имени главным оратором был Полозов, или Порозов; не знаю, жив ли, но еще недавно состоял присяжным поверенным в Рязани.

*** То есть студенты поляки по закрытии Университета большей частию разъехались по домам и там стали одними из самых горячих пропагандистов восстания.

нового комитета взамен прежнего, случайно сформировавшегося. В «думской истории» я, насколько хватало сил, везде защищал комитет, на который взваливали всю ответственность за нее; и хотя лично находил, что Костомаров стал жертвою разных случайностей, тем не менее отказался подписать адрес ему от молодежи. Это нас еще более сблизило. Утин после «думской истории» не раз заводил разговор на тему, что время требует более строгой организации, чем та, которую представляют из себя студенческие кружки, что пора выйти из рамок чисто суденческих интересов. Я не возражал ни против того, ни против другого, но указывал, что почин должен выйти из кругов с известным общественным положением.

Так вот, заехавши ко мне, Утин и говорит: «Приходи ко мне завтра вечером; будут два господина с очень серьезным разговором, кроме тебя я никого не звал». Я догадался, о чем предстоит собеседование, и коротко ответил: «Хорошо, приду». На другой день в назначенный час являюсь. В кабинете наглухо спущены все драпировки; Утин, видимо, в приподнятом нервном настроении; я сам испытывал ощущение вроде того, как бы вступал в некое заповедное святилище. Через короткое время раздался звонок, и вошли двое мне незнакомых. Сейчас же Алексею (лакей Утина*) был отдан приказ никого более не принимать и подавать чай. Нас взаимно представили; один [А. А. Слепцов [4]] был высокий, несколько плотный блондин; ему не было и тридцати лет, но смотрел он старше; я буду называть его — господин с пенсне; другой — моложе, небольшого роста, со впалой грудью и поразительно добрыми глазами, — хотя и был в штатском платье, оказался студентом Медико-хирургической академии — Рымаренко.[5] После непродолжительного стороннего разговора уселись за стол, на котором уже стоял чай.**

— Можно приступать к делу? — спросил господин с пенсне тоном человека, не привыкшего понапрасну тратить время.

— Пожалуйста.

Нарисовав картину тогдашнего положения наших внутренних дел, указав на всеобщее недовольство, господин с пенсне обратил наше внимание на то, что никаких настоящих реформ нельзя ждать от правительства. «Вся история, — сказал он (и тут было приведено немало примеров, всем известных), — учит, что действительные реформы всегда исходили из народа, а не преподносились ему. Но народ не организован; единичные же усилия, каким бы героизмом они не отличались, ничего не могут дать. Поэтому нужна организация. Что должно стоять на

* Сначала Утин был вполне убежден в полной преданности Алексея, но потом некоторые обстоятельства стали наводить его на сомнения; тем не менее отпустить Алексея не решался, боясь еще худших последствий. И так тянулось до самого бегства Утина. Была принята одна предосторожность — мы перестали собираться на квартире Утина.

** Прошло без малого пятьдесят лет, но при воспоминании об этом вечере я и теперь испытываю какое-то особенное настроение, хорошо припоминаю даже мелочи: например, как мы сидели,— Слепцов и Рымаренко на диване, слева Утин, а я визави в креслах; овальный стол, на нем пара стеариновых свечей и малиновое варенье к чаю...

ее знамени? — „Земля", то есть возвращение народу того, что ему по праву принадлежит, и „Воля", то есть созвание земского собора, который должен перестроить всю нашу государственную жизнь на новых, народно-демократических и федеративных началах». Затем господин с пенсне заявил, что начало такой организации уже положено. «Вся Россия, — продолжал он, — в революционном отношении, в силу естественных и исторических условий, распадается на районы: северный, — там есть еще места, где в народе до сих пор сохранилась память о вечевом строе; волжский, где Стенька Разин и Пугачев навсегда заложили семена ненависти к существующему строю; уральский с его горнозаводским населением; среднепромышленный, казачий. Что касается до Литвы и Малороссии, то здесь должны действовать свои собственные организации; с ними великорусская организация, конечно, обязательно входит в самые тесные отношения, но как равная с равными». Далее мы были посвящены в некоторые детали организации; помнится, все дело сводилось на целую иерархию пятерок. В Петербурге имеется центральный комитет (оратор и его сотоварищ были не более как скромные агенты центрального комитета, даже сами не знали, которой степени, — так строго выдерживается в организации тайна!); в каждом районе свой комитет, но, понятно, главное руководительство принадлежит центральному комитету. Вся эта речь длилась, может быть, с час; говорил господин с пенсне складно, с дипломатической выдержкой, как бы взвешивая каждое слово, местами, правда, несколько темновато, когда, например, шла речь об отношениях центрального комитета к областным; но мы понимали, что он и не обязан был выкладывать перед нами все карты. В заключение нам был предложен вопрос: желаем ли мы вступить в организацию?

Мы не колеблясь выразили свое согласие <...>

Л. Ф. Пантелеев

„ВОЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Когда осенью 1861 г. сидели мы в крепости,[1] два студента, С. И. Ламанский и П. А. Гайдебуров,[2] вместе с проф И. Е. Андреевским во главе, — он был депутатом от университета в следственной комиссии[3] по студенческой истории, — производили денежные сборы на нужды сидевших под арестом. 6 декабря все студенты были выпущены (около 300 человек, в Петропавловской крепости и Кронштадте). Сейчас же к И. Е. Андреевскому примкнуло несколько студентов, игравших более или менее выдающуюся роль во время студенческой истории, и образовался своего рода комитет; в состав его входили: Н. Утин, В. Гогоберидзе, А. Герд, П. Фандер-Флит, Е. Печаткин, С. Ламанский, П. Гайдебуров, П. Спасский, Моравский[4] и я. По ходатайству генерал-губернатора Суворова правительством было отпущено в его распоряжение 5 тысяч рублей на пособие нуждающимся студентам.[5] Эти деньги Суворов не иначе расходовал, даже когда к нему прямо обращались,—как по соглашению с комитетом, Раз даже вышел оригинальный случай: в присланном им списке оказалась фамилия Варшавчика, вольнослушателя, но, собственно, бывшего агентом III отделения. Понятно, что комитет отказал в своей рекомендации, а Суворов, узнав, кто был Варшавчик, даже пришел в сильнейшее негодование от его дерзости обратиться к нему за пособием. Пока не были израсходованы 5 тысяч рублей суворовских и те суммы, которые находились на руках И. Е. Андреевского к 6 декабря, комитет всегда собирался под его председательством, а потом И. Е. уже устранился. Деньги в комитет шли со всех сторон,[6] но все же их не хватало, так как с закрытием университета все получавшие стипендии лишились их; другие растеряли уроки, многим нужны были средства на отъезд домой. Пришла мысль устроить публичные лекции; постепенно эта мысль расширялась, и решено было в форме публичных лекций возродить чтение почти всех университетских курсов (кроме восточного факультета). Что



Группа арестованных студентов Петербургского университета в Кронштадтской крепости

идея этих курсов вышла из среды комитета, это видно из того, что хотя прошения подавались профессорами от своего имени, но только теми, которые были приглашены комитетом. При этом дело не обошлось без попытки посчитаться с некоторыми профессорами, роль которых во время студенческой истории почему-нибудь не оправдала надежд, на них возлагавшихся.[7] Я уже говорил несколько выше <...> о неудаче М. И. Сухомлинова; зуб был на Кавелина. Его поведение в совете было безупречно; он был руководителем, и притом весьма умелым, профессорской оппозиции Путятину; но в некоторой части студентов он возбудил неудовольствие тем, что старался удержать студентов от каких-нибудь демонстраций. Не совсем также были довольны и Костомаровым, по следующему поводу: во главе министерства — реакционер Путятин, университет в разгроме, студенты сидят в крепостях, а Костомаров выступил с проектом университетской реформы, с вольным университетом, в котором не было ни профессорской корпорации, ни студентов, а читались курсы на манер Collège de Françe. С точки зрения чисто научных интересов ему очень веско возражал М. М. Стасюлевич (в «С.-Петербургских ведомостях» осенью 1861 г. были напечатаны как статья Костомарова, так и возражения на нее)[8] <...>

Чтобы по возможности открыть полные курсы, в комитете пропускались даже такие отсталые личности, как проф. Ивановский (международное право); но когда очередь дошла до Кавелина, то, несмотря на все усилия мои и В. Гогоберидзе, он получил одним голосом меньше.* Тогда те, кто стоял за Кавелина, решили подавать голос против Костомарова, чтобы провалом его довести дело до нелепости; никакие уговоры не побудили нас отказаться от этой тактики, и Костомаров также был забаллотирован. Кончилось тем, что произвели новую баллотировку, и на этот раз как Кавелин, так и Костомаров были выбраны.

В комитете также было решено обратиться к некоторым лицам, не принадлежавшим к числу профессоров Петербургского университета; были намечены: К. П. Победоносцев[9] (он тогда состоял в комиссии по преобразованию судопроизводства и преподавал наследнику Николаю Александровичу) — для судопроизводства, Чернышевский — финансы, Лавров — философия, Берви (тогда магистрант, служивший в Сенате),[10] А. В. Лохвицкий — государственное право европейских держав, профессор Артиллерийской академии Гадолин — физика, И. М. Сеченов (в то время профессор Медико-хирургической академии) — физиология. Все выразили свое согласие. Но вот в один прекрасный день К. П. Победоносцев дал знать комитету, что ввиду многочисленных занятий он не имеет свободного времени для чтения лекций. Так как комитет весьма желал иметь его в составе лекторов, то отрядил к нему депутацию: Неклюдова и меня.

— Я очень занят, — ответил К. П.[11]

— Но ведь ваши занятия все те же, что раньше были.

* За были: В. Гогоберидзе, П. А. Гайдебуров, С. И. Ламанский и я; против — Н. Утин, П. Л. Спасский, П. Ф. Моравский, Е. П. Печаткин и Анат. Макаров.



Группа студентов Петербургского университета, ведавших в 1861 г. пособиями учащихся. Сидят (слева направо): С. М. Ламанский, А. Н. Макаров, А. Я. Гердт, П. Л. Спасский, Л. Ф. Пантелеев, В. Ю. Хорошевский, Н. А. Неклюдов. Стоят (слева направо): П. А. Гайдебуров, В. Л. Гогоберидзе, Н. И. Утин, Е. П. Печаткин, П. Ф. Моравский.

— Это правда, но вот что я вам скажу: я не хочу читать в одной компании с Чернышевским <...> если он не будет читать, то извольте — я готов.

Неклюдов пытался было отстаивать Чернышевского, но К. П. стоял на своем. Комитет, выслушав наш отчет о свидании с К. П., конечно, скорее предпочел отказаться от удовольствия иметь его в числе лекторов, чем нанести уже приглашенному Чернышевскому ничем не оправдываемое оскорбление. Однако Чернышевскому не довелось читать: он не получил разрешения; по той же причине не состоялись лекции Лаврова, а Берви был арестован.[12] Лекции читались днем, в залах Думы и Петершуле (директором ее был проф. Штейнман); всего было 20 лекторов, читавших 36 лекций в неделю; были как абонементные, так и разовые билеты. Лекции усердно посещались не только студентами, но и публикой, а Костомаров собирал не менее 500 слушателей. Все шло хорошо[13] до истории с проф. П. В. Павловым по поводу вечера в зале Руадзе.[14] Павлов также читал (в зале Петершуле) что-то вроде курса философии истории. По своей простоте его лекции скорее походили на беседы в небольшом частном кружке; в них сказывалось сильное влияние Бокля;[15] самостоятельных взглядов он никаких не высказал.

Как только стало известным, что Павлов высылается в Ветлугу (у него даже не спрашивали никаких объяснений, не потребовали текста чтения), сейчас же собрался студенческий комитет; все были в крайнем возбуждении, да и не одни студенты, — все общество было взволновано.[16] В комитете почти единодушно было решено в виде протеста закрыть все лекции; но для этого нужно было иметь согласие профессоров; потому остановились на таком порядке; созвать всех лекторов, отрядить в это собрание нескольких депутатов от комитета с поручением поставить вопрос: в виду участи, постигшей Павлова, считают ли они возможным продолжение лекций? Делегаты, конечно, не должны были говорить, что комитет уже пришел к решению закрыть лекции, но они обязаны были заявить, что не ручаются за сохранение порядка (и это была правда) ввиду крайне возбужденного настроения не только молодежи, но и публики. Профессора собрались в квартире В. Д. Спасовича; все они одинаково были возмущены высылкой Павлова. Прежде всего выбрали председателя собрания; выбор пал на И. Е. Андреевского, и этим они погубили свое дело, что будет видно далее. Как только делегаты поставили вопрос, могут ли продолжаться лекции, то Стасюлевич, Б. Утин, Спасович самым решительным образом высказались против закрытия лекций; они, конечно, находили меру, принятую против Павлова, ничем не оправдываемой, но не видели никакой связи между судьбой, постигшей Павлова, и лекциями. М. М. Стасюлевич, напр., сказал: «Вы идете по улице; вдруг на вас падает кирпич, значит ли это, что не следует ходить по улицам?» Забавно было видеть, как сцепились два брата, Б. Утин и Н. Утин, который был в числе делегатов: оба они были раздражительны и наговорили друг другу разных любезностей. В середине заседания приехал Костомаров; узнав, в чем дело, он тоже высказался против закрытия лекций. «Для меня, — сказал он, — читать лекции,— это величайшее наслаждение». Он, однако, не остался до конца заседания, и все решения были приняты без него. Тем не менее огромное большинство профессоров (делегаты в баллотировке, помнится, не участвовали) высказалось за закрытие лекций, причем предварительно было постановлено, что решение будет обязательно для меньшинства. Затем был обсуждаем вопрос: объявление о закрытии лекций (оно собранием возлагалось на студенческий комитет и даже назначили день — ближайшая лекция Костомарова) должно ли быть мотивировано участью, постигшей Павлова? И опять значительным большинством решено в утвердительном смысле.* Все это произошло в значительной степени от роли, которую на этом собрании сыграл И. Е. Андреевский. Ранее он никогда не заявлял резкого образа мыслей, а тем

---

* В числе очень горячо высказывавшихся за закрытие лекций, как протеста, был Д. И. Менделеев, а И. М. Сеченов даже поднимал вопрос о расширении протеста: «Мы ведь не в одной Думе». Но поддержки он не встретил. Зато на собрании у Советова Д. И. не только выразил согласие на возобновление лекций, но и живейшую радость, что отменили прежнее решение. Напротив, Сеченов даже не пошел на собрание у Советова, зная зачем оно созывается.



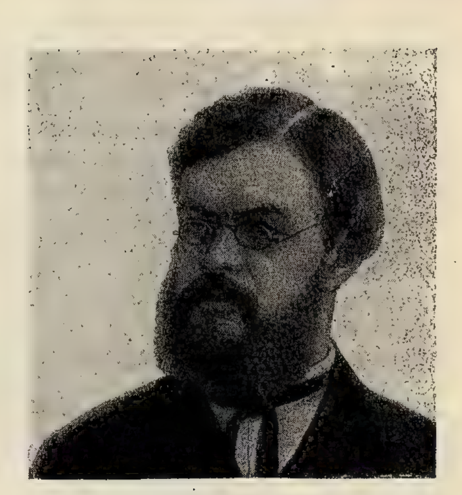
Н. И. Костомаров



В. Д. Спасович



М. М. Стасюлевич



А. Н. Пыпин

Группа профессоров, оставивших в 1861 г. Петербургский университет в знак протеста против расправы правительства со студенческим движением.

паче какого-нибудь фрондерства; но на этом собрании сделал все, что было в силах председателя, чтобы решение вышло такое, какого, видимо, хотел студенческий комитет. Профессора потом громко говорили, что И. Е. их предал. Мы вышли торжествующие и даже несколько удивленные легко одержанной победой; но мы никак не могли понять, каким образом И. Е. оказался всецело на нашей стороне?

Кажется, через день, во всяком случае накануне лекции Костомарова, комитет собрался; надо было сообразить некоторые практические обстоятельства, которые вызывались закрытием лекций, например, расчет с публикой за недослушанные лекции и т. п.; но было еще и другое дело: это — адрес от публики к министру народного просвещения о возврате Павлова; он был заготовлен (редактировал Н. Утин, кажется, вместе с Хорошевским), прошел в комитете; предположено было предложить его для подписи на лекции Костомарова и, кроме того, пустить отдельные листы по городу.

Было уже за 11 часов вечера, как входит Гогоберидзе. «Я шел в комитет, — сказал он, — но случайно встретил Советова,[17] он мне сказал, что у него будет собрание профессоров, и усиленно просил меня присутствовать на нем, чтобы потом передать комитету, что будет решено. Я согласился, и, знаете ли, профессора отказались от принятого решения и постановили, что будут продолжать чтение лекций и обязались завтра, до начала костомаровской лекции, или лично явиться в Думу, или послать на имя комитета письменное уведомление от каждого, что лекции его будут продолжаться». Сообщение Гогоберидзе произвело невыразимую сенсацию. Н. Утин, не разобрав дела, накинулся на Гогоберидзе: «Да как же вы могли на это согласиться? Вы не имели никакого права». — «Да я ни на что не соглашался, а только сидел и слушал».

Естественно возникал вопрос: что же теперь делать? П. А. Гайдебуров, и ранее не обнаруживавший никакого сочувствия к закрытию лекций, первый заговорил, что нужно все бросить, но другие не хотели помириться с мыслью отказаться от демонстрации. Слабая сторона собрания у Советова была та, что на нем не присутствовали некоторые лекторы, убежденно стоявшие за закрытие лекций. «Не обращать никакого внимания на решение профессоров, они — трусы!» — слышалось в комитете. Но даже Н. Утин, не находивший достаточно резких слов, чтобы клеймить измену профессоров, понимал, что сделать этого никак нельзя. Однако, когда достаточно поговорили и поставили на баллотировку, признавать ли новое решение профессоров, то большинством одного голоса было принято, что оно не обязательно (не скрою, что в большинстве был и мой голос, в чем я недолго спустя и стал раскаиваться); а что же затем делать? Ни до чего практического не договорились; сам Н. Утин, видимо, был смущен результатом баллотировки и поминутно повторял: «Однако как же теперь быть?» Проспорив до утра, ничего не порешили и, напившись у Утина чаю, прямо отправились в Думу. Там — сюрприз: не находим никого из профессоров, ни посланных от них с записками. Ничего не можем понять; может быть, про-

фессора опять передумали? Вот уже приближается лекция Костомарова; наконец-то заявились Советов и А. В. Лохвицкий[18] и сообщают о состоявшемся накануне решении профессоров; присылаются также две-три записки. В объяснениях с Советовым и Лохвицким мы ссылались на то, что собрание накануне было неполное, что присутствовавшие на нем профессора обязались или лично, или каждый отдельно поставить комитет в известность, что их лекции будут продолжаться; а так как профессора раз уже перерешили, то, может быть, вновь изменили свое мнение. Словом, фонды партии протеста поднялись благодаря этой совсем непонятной беспечности или колебательности профессоров. Комитет сейчас же собрался в одном из кабинетов Думы, и хотя был не в полном составе, но в достаточном; решено было сделать объявление о закрытии лекций на основании решения, состоявшегося у Спасовича, но при этом оговорить, что такие-то и такие-то профессора отказались от этого решения и прислали заявления, что будут продолжать чтение лекций.

Было 8 марта, большая думская зала была переполнена не только студентами, но и огромной массой публики, так как в нее уже успели проникнуть слухи о какой-то предстоящей демонстрации. Вот Костомаров кончил свою лекцию; раздались обычные аплодисменты. Затем на кафедру сейчас же вошел студент Е. П. Печаткин и сделал заявление о закрытии лекций с тою мотивировкой, какая была установлена на собрании у Спасовича, и с оговоркой о профессорах, которые будут продолжать лекции. Костомаров, который не успел далеко отойти от кафедры, сейчас же вернулся и сказал: «Я буду продолжать чтение лекций», — и при этом прибавил несколько слов, что наука должна итти своей дорогой, не впутываясь в разные житейские обстоятельства. Разом раздались и рукоплескания и шиканье; но тут под самым носом Костомарова Е. Утин выпалил: «Подлец! Второй Чичерин!* Станислава на шею!» Влияние, которым пользовался Н. Утин, видимо, не давало покоя Е. Утину,[19] и он тогда из кожи лез, чтобы заявить свой крайний радикализм; его даже шутя прозвали Робеспьером. Выходка Е. Утина могла взорвать и не такого впечатлительного человека, каким был Костомаров <...> По программе мне следовало сделать заявление о расчете с публикой; я это и сделал, но, кажется, меня никто не слышал, да и слышать не хотел. Несмотря на то, что Костомаров тотчас же уехал, публика не расходилась; немногие пытались защищать его, но подавляющее большинство возбужденно говорило, что если Костомаров попробует читать, то его до этого не допустят, забросают солеными огурцами и мочеными яблоками. А той порой циркулировал адрес, и было собрано несколько сот подписей. Наконец появился Н. И. Погребов (город-

* Б. Н. Чичерин публиковал тогда, кажется в «Московских ведомостях» (1861, №№ 247, 250 и 260) ряд статей по университетскому вопросу, реакционных. Но еще ранее того его письмо к Герцену сделало имя Б. Н.[20] крайне непопулярным среди молодежи; защищал его Кавелин, видя в нем крупную научную величину, хотя и не разделял большинства его взглядов.

ской голова) и попросил публику разойтись, что и было тотчас же всеми исполнено.

Когда стал известен в широких кругах этот совсем неожиданный и вместе с тем фатальный эпизод, он вызвал во многих сильнейшее неодобрение поведения студентов (участие публики как-то игнорировалось); между самими студентами проявился раскол; большинство профессоров было возмущено и решило непременно продолжать чтение лекций, о чем и появилась публикация.[21] Но в то же время возросло в высшей степени раздражение, даже озлобление и в другой стороне, то есть противной Костомарову; нам, членам комитета, приходилось иногда выслушивать такие заявления, что становилось жутко, и в то же время сто раз рассказывать всю историю и объяснять в разных студенческих кружках, что мы, то есть комитет, в эпизоде с Костомаровым ни при чем <...>

О 8 марта есть рассказ самого Костомарова в его «Автобиографии» («Русская мысль», № 5 и 6, 1885 г.), но в нем встречаются неточности, между прочим относительно роли, которую играл в финале этого дела Чернышевский. Н. И. совсем пропускает собрание у Спасовича; говоря о собрании у Советова (я думаю, что он смешал его с собранием у Спасовича), утверждает, что Стасюлевич, Б. Утин, Кавелин и молодежь были за закрытие лекций, что только Б. Утин наконец перешел на его сторону. Кавелин тогда был уже за границей, а Стасюлевич и Б. Утин, как сказано выше, были против закрытия лекций; никакой молодежи у Советова не было.*

Несмотря на публикацию (не от всех, однако, профессоров), чтение лекций не возобновилось, кажется, по совместному соглашению профессоров и Головнина; один Костомаров непременно хотел читать. Чернышевский был осведомлен о настроении молодежи и, вероятно желая спасти ее от неминуемо прискорбных последствий, вмешался в дело. Он поехал уговаривать Костомарова отказаться от чтения лекций; тот ни за что не хотел этого сделать[22] <...>

Едва стало известно, что лекции Костомарова не состоятся,[23] как волнение между молодежью постепенно стихло. Большинство жалело Костомарова; стала даже возможной своего рода демонстрация в его пользу, — ему был поднесен адрес от молодежи; впрочем, под ним подписалось не более сотни, в том числе и В. Гогоберидзе.

Первое время после 8 марта душевное состояние Костомарова было ужасно; его, конечно, возбуждал всякий намек на это событие, но еще более выводило из себя выражение сочувствия со стороны людей, кото-

---

* Вообще в «Автобиографии» немало ошибок или, может быть, описок, опечаток; говорится, что Костомаров стал профессором Петербургского университета в 1858 г., а это произошло осенью 1859 г.; «зима 1862 г., время польского восстания», но оно вспыхнуло в 1863 г.; «Гайдебуров, Гогоберидзе — одни из самых ярых моих врагов», Гайдебуров все время был решительно на стороне Костомарова, а Гогоберидзе занимал среднее положение; назначение Путятина переносится на осень 1861 г., на самом деле оно имело место летом, и т. д.

рых он не уважал, и доходившие до него из известных сфер толки: «Да Николай Иванович совсем не такой человек, каким мы его себе воображали». Лица, которые в то время особенно часто посещали его, напр. В. М. Белозерский, Хорошевский (последний проводил у него целые вечера и, чтобы развлечь Н. И., читал что-нибудь из классиков), передавали, что Н. И. поминутно говорил: «За меня вся сволочь, а против — все порядочные люди и настоящая молодежь» <...>

На студенческий комитет ближайшим образом относилась ответственность за 8 марта; а так как он не был выборный, то большинство комитета, несмотря на живую оппозицию П. А. Гайдебурова, решило собрать сходку, чтобы дать по этому делу своего рода отчет и вместе с тем предложить устроить выборный комитет. В новый комитет с одной стороны не попал П. А. Гайдебуров, а с другой — Е. Утин, который считал себя главным героем 8 марта, а между тем получил до смешного малое число голосов. Новый комитет вышел более однотонный в смысле расширения деятельности, до того времени исключительно направленной на чисто студенческие дела.

8 марта вызвало не только разнообразные толки в обществе, но и горячие нападки на студентов в печати. Последняя публицистическая статья Чернышевского «Научились ли?» была посвящена энергической и остроумной защите студентов <...>

Н. Г. Чернышевский

НАУЧИЛИСЬ ЛИ?

От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров в самом деле «поневоле повесишь голову и разочаруешься». Но автор статьи ведет речь не о том.[1] Он толкует о так называемых историях со студентами. Что ж, и об этих историях мы умели бы рассказать много любопытного. Например, захватывались все люди,[2] которых заставала полицейская или другая команда на известном пространстве набережной, служащей единственным путем сообщения между двумя частями города, и все эти люди держались не один месяц в заключении, без разбора даже того, каким образом кто из них находился на опальном пространстве в несчастную минуту,— не проходил ли кто-нибудь из них через это пространство с Васильевского острова в гостиный двор для покупки сукна или сапог; не проходил ли другой с этой стороны города на бывшую тогда выставку картин в Академию художеств,— не только без всякого отношения к студенческой истории, но, быть может, и без понятия о том, что существуют на белом свете люди, называемые студентами. Если угодно, можно будет указать сотни подобных сторон в делах, называемых студенческими историями. Но автор статьи говорит не об этих многочисленных сторонах, но только об одной той, которая, по его мнению, может быть обращена в порицание студентам. По его словам, «поколение», которое ныне должно кончать свое образование, отказалось от учения, оно может обойтись и без науки: это поколение косвенным образом содействовало закрытию Петербургского университета и прямо — прекращению публичных лекций. Будем говорить о деле даже только в тех слишком узких границах, в которых угодно рассуждать о нем автору статьи.

Первым доказательством тому, что молодое поколение, представляемое студентами здешнего университета, отказалось от ученья, он выставляет события, вследствие которых был закрыт университет. Чем были вызваны эти события? Теми «правилами», которые сделались

известны под именем матрикул.[3] Чем были недовольны студенты в этих правилах? Общий дух правил состоял в том, что студентов, людей, вообще имеющих тот возраст, в котором, по законам нашей же империи, мужчина может жениться и становиться отцом семейства, возраст, в котором, по законам нашей же империи, человек принимается на государственную службу, может быть командиром военного отряда, хозяйством которого будет управлять, над людьми которого будет иметь очень большую дискреционную * власть, может быть товарищем председателя гражданской или уголовной палаты и решать самые многосложные гражданские дела о миллионах или приговаривать людей к плетям и каторге, может быть даже управляющим палатою государственных имуществ или удельною конторою, то есть иметь очень значительную самостоятельную власть над сотнями тысяч, — студентов, людей этого возраста, «правила» хотели поставить в положение маленьких ребят. Удобно ли это вообще? — Пусть рассудит автор статьи. Мы ограничимся только тою стороною дела, о которой угодно рассуждать ему. Если люди признаны недостойными или неспособными находиться в ином положении, чем маленькие ребята, значит, эти люди признаны неспособными и науку изучать в таком виде, в каком сообщается она взрослым людям и в каком должна преподаваться в университете; значит, общий дух «правил» необходимо вел к обращению университета со стороны преподавания в училище малолетних ребят, в низшие классы гимназии, в уездные училища. Значит ли, что взрослый человек отказывается от учения, когда недоволен тем, что его хотят учить, как маленького ребенка? Это пусть знает автор статьи относительно общего духа «правил». Кроме того, были в них два отдельные постановления, в особенности возбудившие неудовольствие студентов. Эти два постановления были: во-первых, отнятие права у университетского начальства освобождать недостаточных студентов от взноса платы за слушание лекций и воспрещение студенческих сходок. Разъясним автору статьи значение этих постановлений.

Плата за слушание лекций составляет 50 руб. в год. Большинство студентов — люди, не имеющие совершенно ничего и живущие самыми скудными неверными доходами, из-за приобретения которых они бьются бог знает как. Кто из этих бедняков имеет какие-нибудь уроки, тот уже счастливец. Не имея верного рубля серебром на чай и сахар, не имея никогда хотя бы 20 руб. свободных денег, каким образом могли бы эти люди вносить по полугодиям 25 руб., требуемые в начале каждого семестра? Прекращение права университетского начальства освобождать бедных студентов от взноса платы за слушание лекций равнялось отнятию у большинства студентов права слушать лекции. Если они почувствовали неудовольствие на такое распоряжение, значит ли, что они не имели охоты учиться?

Людям, перебивающимся такими малыми и неверными доходами,

---

* Т. е. произвольную. — *Сост.*

как большинство студентов, беспрестанно бывают очень важны какие-нибудь 10 или 20 рублей. Через месяц, через два студент как-нибудь перевернется, — получит уроки, достанет несколько листов перевода, и будет уделять рубли на уплату долга; через три, четыре месяца доходы опять иссякнут и опять придется занимать. Понятна важность кассы взаимного вспоможения для общества людей, живущих в таком положении. Понятно также, что этою кассой никто не может управлять, кроме товарищей тех людей, которым она должна помогать. Тут нужно до мельчайших точностей знать дела и характер каждого просящего денег. Ведь обеспечения в уплате нет никакого, кроме личного характера; а видимое положение почти всей массы таково, что, кроме близких знакомых, никто не может различить, действительно ли нужно пособие требующему его, или требование неосновательно. Ни профессора, никакое начальство не может заменить студентов в управлении их кассой. Также никто, кроме студентов, не в состоянии и проверять добросовестность или беспристрастие распорядителей кассы. Значит, при существовании кассы необходимы сходки студентов для выбора депутатов, распоряжающихся кассой, для поверки их отчетов, для обсуждения многочисленных случаев, в которых сами распорядители кассы будут чувствовать надобность спрашивать советов. Значит, запрещение студенческих сходок равнялось уничтожению студенческой кассы, столь необходимой.[4]

Понятно ли теперь автору статьи и его единомышленникам, какой смысл имело недовольство студентов воспрещением сходок и непременною обязанностью платы за слушание лекций с каждого студента? Тут дело шло не о каких-нибудь политических замыслах, а просто о куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались.

Или это не так? Попробуйте доказать противное; попробуйте напечатать документы, относящиеся к этому периоду дела.

Угодно ли слушать, что было далее? Студенты, которым сходки еще не были воспрещены, собрались, чтобы путем, который они считали законным и который тогда еще не был незаконным (потому что «правила» еще не были приведены в действие, и потому студенты даже и формально еще не имели основания считать воспрещенным для них в эти дни то, что не было им воспрещаемо прежде),— чтобы законным путем просить высшее начальство университета ходатайствовать перед правительством об отменении «правил», искажавших характер университетского преподавания и отнимавших у большинства студентов возможность слушать лекции. Начальство это находилось в здании университета. Но, узнав о предполагавшемся представлении просьбы, оно исчезло. Надобно было отыскивать, где оно. Натуральнее всего было предположить, что надобно искать его на его квартире. Студенты пошли к этой квартире. Они шли совершенно спокойно.[5]

Или это было не так? Но ведь это известно всему городу. Виним ли мы кого-нибудь? Нет, мы еще только пробуем, можно ли и без всяких

обвинений против кого-нибудь объяснить автору статьи и его единомышленникам, что напрасно винят они студентов в нежелании учиться. Мы еще сомневаемся, допущено ли будет говорить хотя в этом тоне Но если из допущения этих замечаний мы увидим, что можно сделать дальнейшую пробу публичного разбора этих дел, тогда мы прямо попробуем сказать, кого тут следует винить и за что.

Итак, студенты вынуждены были перейти из здания университета в другую часть города, чтобы отыскать свое начальство для представления ему просьбы, на представление которой оставалось за ними законное право и были у них такие уважительные причины, как желание учиться и забота о куске хлеба для возможности учиться. Найденное ими начальство пригласило их возвратиться в здание университета. Они сделали это с радостью, как только получили от начальства обещание, что оно также отправится туда для выслушания их просьбы.

Образ их действий был так мирен и законен, что само это начальство почло себя вправе уверить студентов на совещании с ними в здании университета, что никто из них не будет арестован или преследуем за события того дня. На другой день поутру жители Петербурга и в том числе студенты были встревожены известием, что ночью арестовано значительное число студентов.

Виним ли мы кого-нибудь за эти аресты? Нет, мы еще не пробуем теперь делать этого, как уже и говорили выше.

Но весь город недоумевал при несоответствии факта с уверением, которое публично дано было накануне университетским начальством. Студенты желали, чтобы начальство разъяснило им это недоумение и сообщило им, насколько то удобно по обстоятельствам, в чем обвиняются их арестованные товарищи, чего ждать этим товарищам и всем другим студентам.

Узнать это желал весь город.

Вследствие попытки студентов узнать, не может ли университетское начальство сколько-нибудь разъяснить им это дело и сколько-нибудь успокоить тревогу каждого из них за самого себя — были новые аресты.

Опять повторяем, что мы еще не пробуем винить кого бы то ни было. Посмотрим, откроется ли нам впоследствии возможность к этому. Но если откроется, то, разумеется, мы воспользуемся ею.

Продолжать ли изложение дальнейшего хода осенней студенческой истории, следствием которой было закрытие здешнего университета? Если угодно будет автору статьи и его единомышленникам, мы готовы будем сделать это для пополнения их сведений о ней. Но для нашей цели довольно изложенных фактов. Автор статьи выставляет закрытие здешнего университета следствием или признаком нежелания студентов учиться. Мы доказали, что события, имевшие своим следствием закрытие университета, произошли от недовольства студентов «правилами», отнимавшими у большинства их возможность учиться.

Рассматривать ли вопрос, до какой степени имелась в виду при составлении «правил» эта цель — отнятие возможности учиться у боль-

шинства людей, поступивших в студенты университета. Мы не будем рассматривать этого вопроса теперь; но если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила.

Но, во всяком случае, какую бы цель ни полагали себе лица, занимавшиеся составлением правил, правила вышли таковы, что необходимым их последствием было бы именно отнятие возможности учиться у большинства студентов и возбуждение недовольства в студентах этим отнятием. Таково было мнение не одних студентов, а также и большинства профессоров здешнего университета и многих других лиц, занимавших или занимающих теперь в министерстве народного просвещения места более высокие.

Если автор статьи и его единомышленники хотят опровергнуть это наше свидетельство, пусть попробуют они напечатать документы, относящиеся к заседаниям совета здешнего университета по вопросу о тогдашних университетских правилах, и другие документы, связанные с этим вопросом.[6]

Если же они захотят утверждать, что разделяемое нами мнение этих лиц о тогдашних правилах неосновательно, то пусть они докажут, что мы ссылаемся на факты, выдуманные нами, когда говорим, что в скором времени после закрытия здешнего университета правительство учредило комиссию для пересмотра этих правил; что председателем этой комиссии было назначено лицо, формально осудившее эти правила при самом же их обнародовании и отказавшееся приводить их в исполнение в своем университете;[7] что теперь эти правила совершенно отвергнуты правительством.

Когда будет доказано, что мы лжем, указывая на эти факты, только тогда будет доказано и то, что ошибочно было впечатление, произведенное этими правилами на студентов здешнего университета, и что причиною закрытия здешнего университета были не именно эти правила, а нежелание студентов учиться.

Переходим к другому факту, выставляемому у автора статьи вторым доказательством нежелания студентов учиться. Этот факт — прекращение публичных лекций весною нынешнего года. Мы думаем, что автор статьи и его единомышленники не найдут вредящим убедительности своего мнения об этом происшествии то, что мы не делаем попытки к изложению обстоятельства, за несколько дней перед прекращением лекций возбудившего очень сильные толки в целом городе;[8] надеясь на то, мы не будем касаться этого предварительного обстоятельства, рассмотрение которого не необходимо для частного вопроса о степени виновности студентов в прекращении публичных лекций. Для нашей цели достаточно будет начать изложение дела несколькими днями позже этого первоначального случая.

Мы слышали, что за два дня до прекращения лекций, объявленного в четверг, 8 марта, было (во вторник, 6 марта, вечером) на квартире одного профессора[9] собрание профессоров, читавших лекции; что на этом собрании эти профессора приняли решение прекратить лекции; что, будучи спрошены, свободно ли и по собственному ли убеждению они приняли это решение, они отвечали, что приняли его совершенно свободно, по собственному убеждению. Мы желаем знать, может ли быть отрицаема достоверность этого слышанного нами рассказа; и пока будет нам доказано, что она может быть отрицаема, мы считаем делом излишним доказывать какими-либо другими соображениями, что прекращение публичных лекций не должно быть приписываемо студентам. Если же автор статьи или его единомышленники захотят опровергать слышанный нами и сообщенный здесь рассказ о собрании профессоров вечером во вторник 6 марта, то мы предупреждаем, что он может быть опровергаем только свидетельством самих профессоров, бывших на этом собрании, и что это свидетельство будет заслуживать рассмотрения только тогда, когда будет скреплено их подписями.

Мы посвятили несколько страниц разбору нескольких строк, которыми начинается статья «Учиться или не учиться?» Теперь можем итти быстрее.

Автор статьи, «разочаровавшись» в нынешних студентах, спрашивает себя, каковы будут будущие студенты: «будут ли они грозить кафедрам свистками мочеными яблоками и т. п. уличными орудиями протестующих», т. е. нынешних студентов. Свистки и моченые яблоки употребляются не как «уличные орудия»: уличными орудиями служат: штыки, приклады, палаши; пусть вспомнит автор статьи, студентами ли употреблялись эти уличные орудия против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов, и пусть скажет, если может, была ли нужда употреблять их против студентов;[10] и если вздумает говорить, что нужда в этом была, то пусть объяснит, было ли в то время разделяемо такое мнение высшим начальством расположенного в городе отдельного гвардейского корпуса. Итак, отлагаем речь об употреблении уличных орудий во время студенческой истории до той поры, когда автор статьи покажет нам возможность подробнее заняться этим предметом. — Что же касается свистков и моченых яблок, эти орудия протеста употребляются за границею в театральных и концертных залах, а не на улицах; но находился ли хотя один свисток в руках у кого-нибудь из студентов и было ли хотя одно моченое яблоко брошено в кого-нибудь на какой-нибудь лекции или студенческой сходке? Мы не слышали ничего подобного и будем полагать, что ничего подобного не было, пока автор статьи не докажет противного. Впрочем, он, вероятно, только не умел выразиться с точностью или увлекся красноречием, а в сущности намерен был сказать только, что 8 марта в зале городской думы было шиканье и свист.[11] Кто свистал и шикал? По одним рассказам — большая половина присутствовавших, по другим рассказам — меньшинство, но очень многочисленное. Между тем известно, что студенты составляли лишь

небольшую часть публики, находившейся в зале. И если бы не хотела свистать и шикать публика, то голоса студентов были бы заглушены ее аплодисментами, если бы и все до одного студента шикали. А притом известно, что многие из них не свистали и не шикали.

Следовательно, многочисленность свиставших и шикавших показывает, что шикала и свистала публика. Это положительно утверждают и все слышанные нами рассказы: часть публики аплодировала, а другая часть шикала. Если шиканье было тут дурно и неосновательно, то извольте обращать свои укоризны за него на публику, а не на студентов. Пропуская несколько тирад, содержащих в себе вариации на строки, нами разобранные, заметим слова, относящиеся также к прекращению публичных лекций: студенты «стали требовать от профессоров, чтобы они пристали к их протестациям и демонстрациям». Когда это было? Сколько мы знаем, этого никогда не было. «Конечно, последние отказались». Как они могли «отказываться» от того, к чему их никогда не приглашали и чего никогда не предполагали делать сами студенты? «Это вызвало со стороны учащихся ряд неприличных выходок» — каких это выходок? когда они были? — «что и публичные лекции должны были закрыться». Решение прекратить публичные лекции, как мы сказали, было принято профессорами вечером 6 марта свободно и по их собственному убеждению, как они тогда же объявили, и никакие выходки со стороны студентов не предшествовали этому свободно принятому профессорами решению.

Далее автор статьи рассуждает о «свободе» человека «иметь в религии, политике и т. д. такие убеждения, какие почитает лучшими», и порицает наших «либералов» за то, что они стесняют эту свободу во всех других людях. В доказательство тому приведена фраза из одной моей статьи; впрочем, она совершенно напрасно выставляется уликой против либералов, которые всегда отвергали всякую солидарность со мною и порицали мои статьи не меньше, чем автор статьи порицает студентов. А главное дело в том, что чем же студенты-то виноваты: в моих статьях или в неблагодарности либералов? Разве я советуюсь с студентами, когда пишу свои статьи? или разве наши «либералы», — имя, под которым разумеются люди более или менее немолодые и чиновные и уже ни в каком случае не студенты,— разве они набираются своих мнений от студентов? Впрочем, автор только не умел начать речь так, чтобы понятно было, к чему он ведет ее,— а он ведет ее не к тому, чтобы винить студентов за неблагонамеренность наших «либералов», каковых он обижает совершенно напрасно, выставляя их солидарными со мною, с которым не хотят они иметь ничего общего, а к тому, чтобы убедить студентов перестать верить этим «либералам», которых он выставляет похожими на «турецких пашей» и имеющими привычку «грозить побоями» людям других мнений. Но, во-первых, студенты никогда и не верили нашим «либералам», всегда считали их людьми пустыми, даже и не турецкими пашами, а просто пустозвонами; во-вторых, если статья имеет целью подольститься к студентам и разочаровать их насчет «ли-

бералов» (забота совершенно излишняя), то статья не должна была бы так несправедливо винить самих студентов и тем отнимать у них расположение к мыслям, в ней изложенным.

Потом идет речь о каких-то «деспотах» и «инквизиторах», под которыми автор статьи разумеет все тех же наших турецких пашей, то есть, по его мнению, «либералов». Они, между прочим, сравниваются с двумя Наполеонами,— тем, который ходил в Москву, и тем, который управляет теперь Франциею, и которые «оба были республиканцами». Но это последнее слово уж никак неприложимо к нашим «либералам», которые от республиканских понятий гораздо дальше, чем от понятий, свойственных автору статьи <...>

Затем автор «от души жалеет тех молодых людей, которые, еще не искушенные опытом жизни, увлекаются обманчивой и ласковой наружностью лжелибералов»,— успокойтесь, почтенный автор: ни лжелибералами, ни просто либералами молодые люди никогда и не увлекались, когда собирались просить свое начальство об отмене «правил», из-за которых произошли события, имевшие своим последствием закрытие университета; а прекращение публичных лекций было следствием решения, принятого, как мы уже говорили, профессорами, читавшими лекции. Затем опять идет речь о «миньятюрных бонапартиках и кромвельчиках», которые были будто бы «коноводами» студентов. Любопытно было бы знать, на каких основаниях автор статьи полагает, что во время, предшествовавшее закрытию здешнего университета, или во время, предшествовавшее прекращению публичных лекций, у студентов были «коноводы» из людей, не принадлежавших к студенческому обществу? Мы положительно говорим, что никаких таких «коноводов» студенты не имели.[12] Если же автор статьи желает опровергнуть это, то пусть попробует напечатать следственные дела, производившиеся по поводу осенней студенческой истории или по другим процессам, в которых падало подозрение на каких-нибудь студентов,— тогда мы увидим, подтверждается или опровергается этими документами мнение автора о каких-то будто бы существовавших тогда связях между студентами и какими-то «коноводами». Пока не будут обнародованы документальные доказательства подобных отношений, мы будем утверждать, что ни в каких документах ничего подобного отыскать нельзя, а во множестве документов должно находиться множество фактов, положительно уничтожающих всякую возможность хотя сколько-нибудь основательного предположения о существовании этих мнимых связей.

Но вслед за обличением «миньятюрных бонапартиков и кромвельчиков», которые губили студентов, мы читаем успокоительное уверение, что теперь студенты уже отвергли этих прежних своих зловредных коноводов: «высказавшись слишком рано, они (миньятюрные бонапартики и кромвельчики) вовремя оттолкнули от себя тех, которые сначала поверили было искренности их стремлений», т. е. оттолкнули от себя студентов. Ну, вот и слава богу. Далее следует уверение; еще более отрадное: по словам автора, скоро и вовсе провалятся в общественном

мнении миньятюрные бонапартики и кромвельчики. Вот в подлиннике это чрезвычайно утешительное предуведомление:

«До сих пор еще, впрочем, условия цензуры несколько затрудняли общественное разочарование; если же (как носятся слухи) печать будет, в скором времени, более облегчена, тогда мыльные пуузыри или миражи рассеются сами собою, и тогда вряд ли будут увлекаться даже наивнейшие из самых наивных людей. Это будет первой и огромной пользой, которую принесет за собою облегчение печати.

Когда можно будет говорить свободнее, тогда лжелибералы встретят себе сильный отпор в людях, истинно преданных какой-нибудь мысли; тогда никто не будет стеснен: на один полунамек, темный, обманчивый и двусмысленный, ответят десятью ясными и здравыми словами. Внутренняя пустота, скрывающаяся теперь под наружными формами каких-то убеждений, должна будет уступить полноте убеждений истинных».

Дай бог, дай бог, чтобы поскорее пришло такое хорошее время!

Но дальше автор статьи как будто несколько сбивается в словах: «обществу», говорит он, «нужны коноводы»; ну, на что же это похоже, что он желает всему обществу стать в послушании «коноводов», когда сам же так сильно напустился на студентов по одному неосновательному подозрению, что они имели «коноводов»? Ай, ай, ай, ведь это уже вовсе нехорошо! Да то ли еще провозглашает автор статьи: мало того, говорит, что обществу нужны «коноводы», — «народу нужны полководцы», — с нами крестная сила, что это такое значит? какие это полководцы нужны народу? Разве народ надобно поднимать против кого-нибудь, вооружать? вести в какие-нибудь битвы? Странно, странно читать такие вещи, напечатанные в «С.-Петербургских ведомостях» и перепечатанные оттуда в «Северной пчеле». Ну, договорился благонамеренный автор статьи до того, что оставалось бы ему только тут же закончить статью восклицанием про себя: «Язык мой — враг мой!» Но он, нимало не конфузясь, продолжает: «довольно мы слышали всяких возгласов; нам теперь нужны дело и люди дела». Я совершенно разочаровываюсь в благонамеренности автора и кричу: «слово и дело!»[13] Что же это, в самом деле, автор хочет, чтобы у нас образовалось то, что в Италии называется «партия действия»?[14]

Выразив это желание, <...> автор возвращается от забот о ведении народа в какие-то битвы снова к студентам. Ну, думаем, авось-либо поправится, обнаружит прежнюю благонамеренность; не тут-то было. Он говорит, например, что если бы публичные лекции не были прекращены демонстрациею 8 марта в зале городской думы, то «сочувствие общества принадлежало бы» студентам «вполне, потому что в таком случае все их прежние демонстрации имели бы смысл». — Позвольте, позвольте: а какой смысл имеют эти слова? Дело студентов испорчено прекращением публичных лекций, — без этого случая «прежние их демонстрации имели бы смысл, и сочувствие общества принадлежало бы студентам вполне» — так; значит до этого случая оно не было испорчено и «сочувствие пуб-

лики вполне принадлежало студентам» и их «прежние демонстрации» казались публике (или даже и автору статьи?) «имеющими смысл»? Так, так. А ведь решение прекратить публичные лекции было принято профессорами; значит, только профессора испортили дело студентов, а то оно «вполне» пользовалось сочувствием публики, ну, хорошо; только уже не слишком ли автор выставляет профессоров порицанию публики!

К этому, что ли, хотел привести речь автор статьи, что студенческое дело испорчено только профессорами?

Хорошо, хорошо, слушаем, что будет дальше,

Дальше автор говорит, что столичные университеты безнадежны, погубили себя безвозвратно (или он не то хочет сказать? Ведь у него не разберешь, ведь, может быть, он и профессоров не хотел выставлять людьми, испортившими студенческое дело, и народ не хотел вести на борьбу против каких-то врагов), и что «остается надежда» только «на провинциальные университеты»—что это значит? Предположено уничтожить здешний и Московский университеты? Или это только неуменье автора выражаться? Должно быть, только неумение выражаться, потому что вслед затем статья оканчивается уведомлением о возобновлении лекций в здешнем университете и вопросом: «какие слушатели соберутся» в здешний университет, когда он снова откроется, и будут или не будут они «учиться»? На эти вопросы отвечать очень легко: соберутся в университет все те не успевшие окончить курса слушатели его, которые будут иметь средства и получат дозволение собраться, а учиться они будут, пока им не помешают учиться.[15]

Но автор статьи, вероятно, только не умел выразить свою настоящую мысль и хотел спросить вовсе не об этом, а о том, будут ли новые демонстрации со стороны студентов при открытии или по открытии университета? И на это можно отвечать очень определенно: студенты решили до последней крайности воздерживаться от всяких демонстраций, и, насколько делание или неделание демонстраций зависит от воли студентов, демонстраций не будет. Но ведь не всесильны же студенты — мало ли что делается против их желания? Вот, например, публичные лекции они устраивали с мыслью держать себя совершенно спокойно и удерживали спокойствие в залах лекций, пока могли; а все-таки произошла демонстрация 8 марта. Студенты накануне решили, что не нужно делать демонстрации, но обстоятельства сложились против их воли так, что она была произведена публикою.

Прошедшие события должны служить уроком для людей, которые думают, что демонстрации вредны. Эти люди должны предотвращать такие обстоятельства, из которых рождаются демонстрации.

Посмотрим, как эти люди будут держать себя при открытии и по открытии университета, и тогда увидим, научились ли они рассудительности.[16] А мало надежды на это, если люди, о которых мы говорим, разделяют взгляд, выразившийся в статье, нами разобранной.

П. А. Кропоткин

ВОСТОРГ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

В начале осени 1867 г. я и брат[1] с семьей поселились в Петербурге.

Я поступил в университет и сидел теперь на скамье вместе с юношами, почти мальчиками, гораздо моложе меня. Заветная мечта, которую я так долго лелеял, наконец, осуществилась. Теперь я мог учиться. Я поступил на математическое отделение физико-математического факультета, так как считал, что основательное знание математики — единственный солидный фундамент для всякой дальнейшей работы.

<...> Занятия в университете и научные труды поглотили все мое время в течение пяти следующих лет. У студента-математика, конечно, очень много работы, но так как я прежде уже занимался высшей математикой, то теперь мог уделить часть моего времени географии. Кроме того, в Сибири я не утратил способности усиленно работать.

Отчет о моей последней экспедиции печатался;[2] но в это время у меня стали зарождаться географические обобщения, вскоре всецело захватившие меня. Путешествия по Сибири убедили меня, что горные цепи, как они значились тогда на картах, нанесены совершенно фантастически и не дают никакого представления о строении страны. Составители карт не подозревали тогда даже существования обширных плоскогорий, составляющих столь характерную черту Азии. Вместо них обозначали несколько больших горных кряжей. Так, например, в чертежных, несмотря на указания Л. Шварца,[3] сочинили восточную часть Станового хребта в виде громадного червя, ползущего по карте на восток. Этого хребта, в действительности, не существует <...>

Мое внимание теперь в продолжение нескольких лет было поглощено одним вопросом — открыть руководящие черты строения нагорной Азии и основные законы расположения ее хребтов и плоскогорий. Долгое время меня путали в моих изысканиях прежние карты, а еще

больше — обобщения Александра Гумбольдта,[4] который после продолжительного изучения китайских источников покрыл Азию сетью хребтов, идущих по меридианам и параллельным кругам. Но, наконец, я убедился, что даже смелые обобщения Гумбольдта не согласны с действительностью <...>

В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение целого ряда лет казалось хаотическим, противоречивым и загадочным, сразу принимает определенную, гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающей во всем своем великолепии из-за скрывавших ее облаков и сверкающей на солнце во всей простоте и многообразии, во всем величии и красоте. А когда обобщение подвергается проверке, применяя его ко множеству отдельных фактов, казавшихся до того безнадежно противоречивыми, каждый из них сразу занимает свое положение и только усиливает впечатление, производимое общей картиной. Одни факты оттеняют некоторые характерные черты, другие — раскрывают неожиданные подробности, полные глубокого значения. Обобщение крепнет и расширяется. А дальше, сквозь туманную дымку, окутывающую горизонт, глаз открывает очертание новых и еще более широких обобщений.

Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг были достоянием всех.

Эту работу я считаю моим главным вкладом в науку[5] <...>

А. М. Ляпунов

ПАФНУТИЙ ЛЬВОВИЧ ЧЕБЫШЕВ

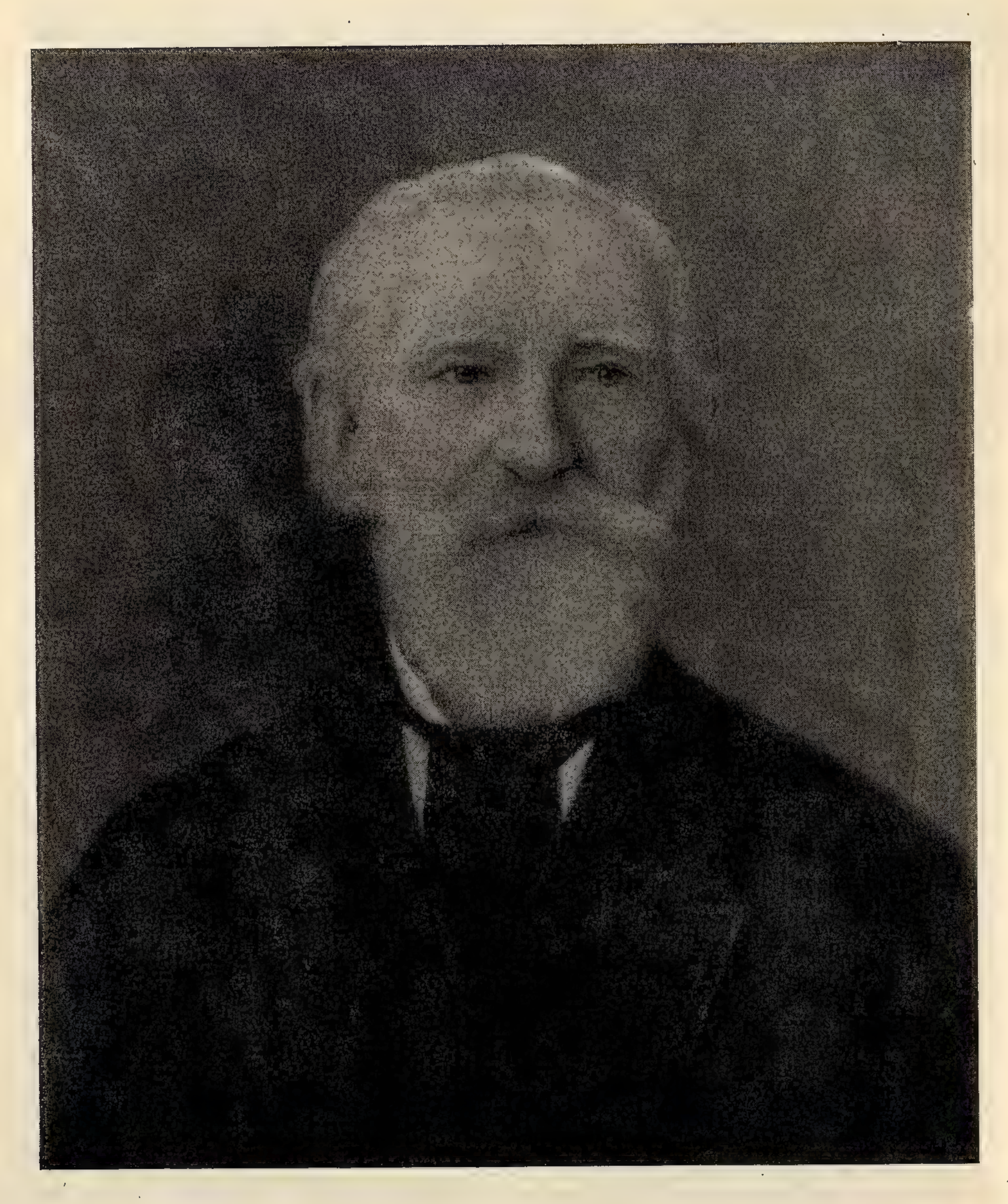
Гениальный ученый и изобретатель, П. Л. Чебышев был в то же время образцовым профессором.

Его профессорская деятельность началась <...> с 1847 г. и затем продолжалась непрерывно до 1882 г., когда П. Л. Чебышев оставил университет и исключительно предался своим ученым изысканиям, не прекращавшимся до последних дней его жизни.[1]

В различные периоды своей профессорской деятельности П. Л. Чебышев читал различные курсы. В то время, когда я был студентом, в конце 70-х годов он читал теорию чисел, теорию определенных интегралов и исчисление конечных разностей студентам III курса и теорию вероятностей студентам IV курса.

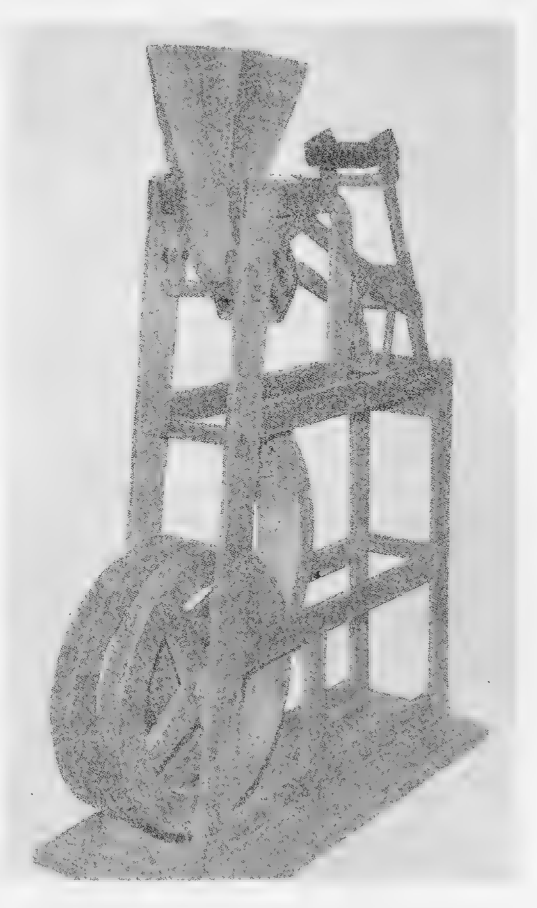
Курсы его не были обширными, и при изложении их он заботился не столько о количестве сообщаемого материала, сколько о выяснении принципиальных сторон трактуемых вопросов. Отличаясь живым и увлекательным изложением, лекции его сопровождались множеством интересных замечаний относительно значения и важности тех или других вопросов или научных методов. Замечания эти высказывались иногда мимоходом по поводу какого-нибудь конкретного случая, но всегда глубоко западали в умах его слушателей. Вследствие этого лекции его имели высокое развивающее значение, и слушатели его после каждой лекции выносили нечто существенно новое в смысле бо́льшей широты взглядов и новизны точек зрения.

П. Л. Чебышев почти не пропускал лекций. По крайней мере за два года, в течение которых я был его слушателем, я не помню, чтобы хотя один раз его лекция не состоялась. В аудитории он появлялся всегда точно в назначенное время и тотчас же, не теряя ни секунды, приступал к продолжению выводов, начатых в предшествовавшую лекцию. Вычисления он производил чрезвычайно быстро, вследствие чего, несмотря на то, что был прекрасным калькулятором, часто делал ошиб-



П. Л. Чебышев.

ки в выкладках, и за ходом вычислений нужно было следить очень внимательно, чтобы вовремя предупредить его о сделанной ошибке, о чем он всегда просил своих слушателей. Когда наконец получался желаемый вывод, П. Л. Чебышев садился, но не на кафедру, а на кресло, ставившееся для него всегда у первой парты, и вот тут-то и начинались те разнообразные замечания, которые придавали особенный интерес его лекциям и которых с нетерпением ждала вся аудитория. Весьма часто по поводу только что решенного вопроса П. Л. Чебышев высказывал свои мнения о тех или других работах, относящихся к тому же вопросу. Иногда он вспоминал при этом некоторые эпизоды из своих заграничных поездок и рассказывал о беседах по поводу того же вопроса с кем-либо из иностранных ученых. После более или менее продолжительной беседы этого рода, служившей для него отдыхом, П. Л. Чебышев, быстрый как в речи, так и во всех своих действиях, быстро вставал, брался за мел и приступал к дальнейшим выводам. К характеристике внешней стороны его лекции должно прибавить, что он никогда не оставался в аудитории по окончании времени, назначенного для лекции, и бросал мел в тот же момент, как раздавался звонок, на каком бы месте при этом ни пришлось оборвать начатые вычисления.



Сортировалка.
Модель работы П. Л. Чебышева

Продолжительная профессорская деятельность П. Л. Чебышева, в течение 35 лет принадлежавшая С.-Петербургскому университету, не могла не отразиться самым благотворным образом на всем составе математического факультета, кафедры которого замещались наиболее талантливыми из его учеников. Отсюда понятно то высокое положение, которого давно уже достиг этот факультет в С.-Петербургском университете.

Но как бы ни было велико влияние П. Л. Чебышева на университет, главная заслуга его, как профессора, заключается в создании той школы математиков, которая известна под его именем и характеризуется особым направлением исследований.[2]

Ученики П. Л. Чебышева продолжали и продолжают разработку изобретенных им методов и при решении поставленных им задач выдвигают новые задачи того же рода. Таким образом мало-помалу создаются новые отделы в науке, с которыми навсегда будет связано имя П. Л. Чебышева. Вместе с работами его последователей все более и более распространяются те взгляды, которым великий ученый оставался верен во всех своих исследованиях.

В то время, как почитатели весьма отвлеченных идей Римана все более и более углубляются в функционально-теоретические исследования и в псевдогеометрические изыскания в пространствах четырех и большего числа измерений <...> и в этих изысканиях заходят иногда так далеко, что теряется всякая возможность видеть их значение по отношению к каким-либо приложениям не только в настоящем, но и в будущем, — П. Л. Чебышев и его последователи остаются постоянно на реальной почве, руководясь взглядом, что только те изыскания имеют цену, которые вызываются приложениями (научными или практическими), и только те теории действительно полезны, которые вытекают из рассмотрения частных случаев.[3]

Детальная разработка вопросов, особенно важных с точки зрения приложений и в то же время представляющих особенные теоретические трудности, требующие изобретения новых методов и восхождения к принципам науки, затем обобщение полученных выводов и создание этим путем более или менее общей теории — таково направление большинства работ П. Л. Чебышева и ученых, усвоивших его взгляды.

Насколько подобное направление может быть плодотворно в чисто научном отношении, это наглядно показывает вся ученая деятельность П. Л. Чебышева, который пришел к постановке и решению совершенно новых и важных вопросов анализа, исходя из задач прикладного характера, иногда при том чисто практических.

Таков, впрочем, путь многих важных открытий в области математики <...>

Х. Я. Гоби

А. Н. БЕКЕТОВ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ

Для того, чтобы вполне оценить его как преподавателя, ревниво заботившегося об интересах своей кафедры, перенесемся мысленно к началу 60-х годов прошлого века, когда он в 1861 г. начал свою профессорскую деятельность в нашем университете. Тогда университетские лаборатории не только у нас в России, но даже и в Западной Европе, напр<имер>, в Германии, были обставлены чрезвычайно бедно или даже представляли жалкую фикцию. Микроскопы того времени поражают своею неуклюжестью и теперь просто не верится, как могли тогда люди с такими приборами делать серьезные наблюдения.

Да и взгляды, которые существовали в то время в обществе относительно ботаники, как науки, были более чем оригинальны. Ее принимали обыкновенно за крайне монотонную отрасль естествознания, сводящуюся к одному лишь схоластическому перечислению растений, да простому описанию их внешнего вида. И — что страннее всего — такого взгляда придерживались даже и многие ученые специалисты из других областей знания.

Естественно, поэтому, что при господстве таких взглядов Андрею Николаевичу пришлось энергично отстаивать интересы своей кафедры, все вспомогательные средства которой сводились к нескольким пачкам не особенно тщательно сохранявшихся гербариев, куску мела, которым лектору предоставлялось чертить на доске что угодно, да пользованию теми живыми растениями, которые случайно выбивались из-под булыжника, которым вымощен университетский двор, или в наилучшем случае вели свое жалкое существование в так называвшемся тогда университетском ботаническом саду, т. е. в той узкой полосе земли между главным университетским фасадом и окаймляющей его высокой решеткой по Университетской линии, куда солнечные лучи никогда не достигают непосредственно, где таким образом царит вечная тень, где нет поэтому и надлежащего тепла, столь необходимого для какой бы то ни было куль-

туры растений.[1] А так как большая часть нашего учебного сезона приходится на такой период года, когда все покоится под снежным покровом, то и названными растениями приходилось пользоваться лишь изредка.

Прошло 8 лет со дня вступления Андрея Николаевича в наш университет и что же мы видим? Благодаря его деятельным ходатайствам, его неусыпным заботам об интересах вверенной ему кафедры ботаники, которую он так любил и которой был так беззаветно предан, он сумел заразить своей любовью к ней не только своих многочисленных слушателей, но и высшие административные сферы; и вот, мы видим, что вплотную по-соседству с прежним университетским двором, с южной его стороны, вырастает на особом участке земли, доступном всестороннему освещению солнечных лучей, в общем само по себе хотя и небольшое, скромных размеров здание, но специально приспособленное для целей преподавания ботаники. К нему прислонилась небольшая оранжерея из трех отделений, одного — холодного (для растений нашего климата) и двух теплых (для растений более теплых стран), — оранжерея, которая стала поставлять уже во весь учебный сезон живой материал как для специальных работ, так и для практических занятий и лекций, благодаря чему преподавание сразу приобретало на 99% больше значения, интереса и пользы. Названный участок земли, величиной в десятину слишком, безвозмездно уступается университету соседним Кадетским корпусом исключительно только под надобности университетской ботанической кафедры и притом с тем непременным условием, чтобы на остальном пространстве этого участка был разбит необходимый для целей преподавания этого предмета ботанический сад. И вот, благодаря Андрею Николаевичу, университет становится обладателем хотя и небольшого, но настоящего, действительно Ботанического сада в истинном смысле этого слова.[2]

Энергия Андрея Николаевича по устройству этого сада особенно поразительна в том отношении, что проект устройства ботанического сада при университете вызывал нарекания в излишней бесполезной трате денег, так как в Петербурге ведь существует уже прекрасный Императорский ботанический сад[3] (на Аптекарском о-ве), откуда и можно было бы черпать необходимый материал.[4]

Но Андрей Николаевич хорошо понимал, что только свое собственное имущество, свой собственный университетский сад, хотя бы и небольшой, но находящийся при самом здании университета, всецело может отвечать требованиям того преподавания, которое ставит себе задачей стоять на научной высоте.

И в этом горячем убеждении Андрея Николаевича мы видим пророческую прозорливость. В тех из наших университетов, ботанические сады которых расположены далеко от главных университетских зданий (напр., в Одессе, Казани), занятие ботаникой сопряжено с большими неудобствами. При существующей системе преподавания в физико-математических факультетах, в особенности на естественном отделении, где

студент должен не только слушать лекции по весьма многим предметам, но еще и практически заниматься по ним в различных лабораториях и кабинетах, он решительно не обладает достаточным досугом, да нередко и необходимыми денежными средствами для продолжительных отлучек, сопряженных с дальними поездками в ботанический сад и обратно.

С чувством особой благодарности вспоминаем мы об Андрее Николаевиче и потому, что, благодаря только мощному его содействию, нам удалось вместе с ним основать при нашем университете в 1886 г. ученый журнал под заглавием «Ботанические Записки, издаваемые при Ботаническом саде Императорского С.-Петербургского университета» <...> который с тех пор продолжает существовать и по сие время.[5] Журнал этот был первым в России ботаническим журналом, в котором исследования русских ученых печатаются прежде всего на русском же языке и затем только, так сказать, во второй очереди снабжаются более или менее подробными переводами или резюме на одном из иностранных языков (преимущественно немецком, или французском) с тем, чтобы и заграницей могли ознакомиться с теми трудами, которые в нем печатаются. Результаты этого предприятия сказались, между прочим, и в том, что мало-помалу заграницею стали охотно вступать в обмен с этим изданием и таким образом наша университетская библиотека стала обогащаться многими периодическими изданиями не только по ботанике, но и по другим отраслям университетского преподавания.

В первом же выпуске этого журнала Андрей Николаевич поместил свое обширное исследование под заглавием «Екатеринославская флора» и тем дал этому журналу наилучшее напутствие.[6] Затем журнал наравне с другими работами стал, между прочим, наполняться и работами лиц, бывших учеников А. Н.,[7] и явился вообще отражением ученой деятельности ботанической кафедры нашего университета (по преимуществу кафедры морфологии).

Глубокое понимание потребностей преподавания в связи с умением обеспечить за дорогим делом необходимую материальную поддержку дало Андрею Николаевичу возможность обогатить наш ботанический кабинет несколькими сотнями больших, прекрасно исполненных акварелью стенных таблиц, иллюстрирующих главных представителей семейств растений, входящих в программу университетских лекций.

Для того, чтобы понять все значение этой коллекции для успеха преподавания, следует заметить, что она создавалась еще в то время, когда не только у нас в России, но и нигде заграницей не существовало в продаже никаких пособий в виде стенных классных таблиц для наглядного преподавания ботаники.

Да и после появления в продаже ботанических таблиц в разных изданиях, такой полной серии их все-таки не существует, какая в свое время была составлена Андреем Николаевичем в нашем университете.

Я должен засвидетельствовать, что ни в одном из заграничных европейских университетов, которые я имел случай посетить в разное время, я нигде не видел столь ценного учебного пособия стенными таблицами.



Таблица по рисунку А. Н. Бекетова

И то же самое слышал я как от многоуважаемых моих русских коллег, так и от тех из иностранных, которые, приезжая в Петербург, знакомились с нашими ботаническими пособиями.

Нельзя не отметить также и художественного исполнения этих учебных картин, которое тем более следует ценить, что в период всякого первоначального оборудования кабинета человек менее прозорливый легко мог бы поддаться искушению завести таблиц «числом поболее, ценою подешевле»,[8] которые затем, при постепенном росте и обогащении кабинета, только засоряли бы его шкафы. Таблицы же Андрея Николаевича с этой стороны еще долгое время останутся выше самых притязательных требований, еще долго будут служить прекрасным пособием при лекциях и напоминать как преподавателю, так и учащимся светлый образ организатора правильного преподавания ботаники в нашем университете.[9]

Кроме таблиц мы находим в шкафах Ботанического института еще и карпологические и дендрологические коллекции, присланные разными ботаническими учреждениями (императорским Ботаническим садом, Никитским садом и др.), или же собранными в нашем саду и оранжерее, благодаря заботам покойного.

Сам он пожертвовал в университетский основной гербарий ценные среднеазиатские коллекции Карелина и Кирилова, положив этим краеугольный камень для создания большего и постоянно растущего теперь университетского русского гербария.[10]

Кроме основного гербария он заботился еще об устройстве ученического гербария и спиртовых коллекций, служивших для практических занятий со студентами по определению растений, занятий — впервые им правильно организованных при нашем университетском преподавании.[11]

Действительно, предание гласит, что один из предшественников А. Н., принося, бывало, с собою на лекцию пачку гербарных растений, перевязанную бечевкой, даже не развязывал ее, и, описывая то или другое растение, ограничивался обыкновенно тем, что говорил: «растение это находится вот в этой пачке, но я вам его показывать не стану — вы все равно ничего не поймете». Понятно, что учащиеся, при таком странном приеме преподавания, едва ли могли вынести сколько-нибудь ясное представление об излагаемом им на лекциях предмете.

С введением же демонстраций и практических занятий каждому слушателю представлялась возможность не только издали видеть, но и осязать и даже расчленять трактуемый на лекциях материал, а это в свою очередь повело к значительно большему возбуждению интереса к растительному миру, выразившемуся в ряде работ по флористике, написанных учениками покойного.[12]

А сколько других учеников, незаметных тружеников-учителей, не опубликовавших специальных исследований, но успевших заинтересоваться растительным миром и в свою очередь заинтересовать им своих бесчисленных учеников, — сколько их разбросано по нашей необъятной родине? Кто сосчитает их?..

И вот на таких-то будущих деятелей Андрей Николаевич умел влиять в высшей степени благотворно[13] <...>

Красноречивое живое слово его умело не ограничиваться описанием фактической стороны разбираемого вопроса. Андрей Николаевич всегда проводил в своих лекциях при разборе какого-нибудь частного явления еще какую-нибудь мысль общего, иногда не только ботанического, но даже и общефилософского характера и умел подыскивать и группировать вокруг этой мысли ряд примеров в столь стройном порядке, что мысль эта выяснялась слушателям во всех, подчас трудных для выяснения (особенно на короткой лекции) подробностях, западала в слушателей и уносилась ими из аудитории, усвоенной на долгие годы, когда фактические доказательства ее давно уже, быть может, оказывались канувшими в реку забвения.

Но не только на лекциях, но и в ряде популярных книг и учебников, соединявших научную точность с красотою слога и ясностью изложения, встречаем мы те же самые мысли, которые, попав на добрую почву, взросли и приносили плод сторицею.[14]

Мы видим таким образом <...> что во всех отраслях своей многосложной и многотрудной научно-педагогической деятельности Андрей Николаевич сеял

...«Разумное, доброе, вечное»,

и

...«Спасибо сердечное»

скажет и уже сказал ему

«Русский народ».[15]

В. Е. Тищенко

ВОСПОМИНАНИЯ О Д. И. МЕНДЕЛЕЕВЕ

Первая лекция, которую мне пришлось слушать в университете, была лекция по химии. И вот, если не ошибаюсь, 9 сентября 1879 г., т. е. 57 лет назад, я в первый раз увидел и услышал Дмитрия Ивановича Менделеева. Все было для нас, первокурсников, непривычно: и лекционный способ преподавания, и обстановка лекций с демонстрацией многочисленных опытов, и наука, о которой мы имели самое смутное представление, и так не похожий на наших гимназических учителей профессор Менделеев, на которого мы смотрели с глубочайшим уважением.

Менделеев не был оратором в обычном смысле слова. Про него кто-то сказал, что он говорит, точно камни ворочает, и это сравнение было, пожалуй, удачное. Интонация его голоса постоянно менялась: то он говорил на высоких теноровых нотах, то низким баритоном, то скороговоркой, точно мелкие камешки с горы катятся, то остановится, тянет, подыскивает для своей мысли образное выражение, и всегда подыщет такое, что в двух-трех словах ясно выразит то, что хотел сказать. Мы скоро привыкли к этому оригинальному способу изложения, который гармонировал и с оригинальным обликом Менделеева и вместе с тем помогал усвоению того, что он говорил. Когда он замедлял речь, подыскивая подходящее слово, и наша мысль работала в том же направлении, лектор увлекал слушателей. И по содержанию лекции Менделеева были оригинальны: они оживлялись частыми отступлениями в области других наук — физики, астрономии, биологии, геологии, в область приложения химии в промышленности, в область истории химии и пр. Менделеев поражал нас обширностью своих знаний, а вместе с тем учил, что для того мы и учимся, чтобы потом нести свет знания нашей родине, разрабатывать ее несметные природные богатства, поднимать ее благосостояние и независимость. Он смело указывал на наши недостатки, на непригодность классической системы образования, которая дает людей книж-

ных, не приспособленных к жизни, не умеющих самостоятельно взяться ни за какое практически нужное дело.

За этим богатым содержанием не замечались шероховатости изложения.[1] Аудитория Менделеева была переполнена, потому что его слушали студенты не только физико-математического, но и других факультетов.

Я усердно посещал его лекции, записывал их, по вечерам выправлял, справляясь с «Основами химии».[2]

Прошел год, подошли экзамены. Первым по расписанию был поставлен экзамен по химии, самый трудный и, по отзыву наших старших товарищей, самый страшный: выдержать экзамен у Менделеева было нелегко. Как старательно ни готовился я к экзамену, но шел неуверенно и приготовился остаться на второй год, так как переэкзаменовок тогда не разрешалось. Экзаменовали двое: Д. И. Менделеев и А. М. Бутлеров.[3] Менделеев экзаменовал быстро, нервно: посмотрит, что написано на доске, даст несколько вопросов из разных концов курса, чтобы нащупать, насколько сознательно освоен курс, и решительно ставит отметку. Бутлеров вел экзамен спокойно, позволял экзаменующемуся подумать, давал наводящие вопросы и т. д., хотя отметки ставил не очень щедро. Уверенные в себе шли к Менделееву, хотя сплошь и рядом ошибались в самооценке, более робкие теснились к Бутлерову. Выходили не по списку, а когда кто хотел.

Мне пришлось экзаменоваться во вторую половину дня. В первую Менделеев многих провалил и нагнал страху. Провалившиеся, как обыкновенно бывает, не поняв или не желая признаться, что были провалены за незнание или непонимание самых элементарных вещей, старались объяснить свою неудачу чрезмерной строгостью экзаменатора и еще больше напугали товарищей. И вот у Бутлерова еще более длинная очередь, а к Менделееву решаются выйти одиночки, да и из них он двоим по двойке поставил. Никто больше не выходит. А мы с Н. Я. Чистовичем сидим на первой скамейке. Д. И.[4] обращается к аудитории и глядит на нас: «Что же больше никто экзаменоваться не желает?» Пришлось нам выходить: Чистович к одной доске, я к другой. Как сейчас помню: дал он мне вопрос о железе. Я написал все, что знал: и руды, и добывание, и окислы, соли, даже желтую и красную синильные соли и берлинскую лазурь, что у нас считалось большой мудростью. Д. И. взглянул на доску и задал еще два или три вопроса, последний — вычислить формулу белого чугуна, содержащего 5% углерода. Тут я споткнулся в арифметике, но Д. И. меня поправил и поставил 5. Конечно, я был, что называется, на седьмом небе, но не зазнался, так как чувствовал себя в химии далеко не так твердо, как мне хотелось, и потому на II курсе опять ходил слушать Менделеева. Теперь я гораздо лучше понимал и усваивал его лекции и внимательно следил за опытами.

В то время на I курсе практических занятий по химии не было. Проходя такой трудный курс, мы должны были довольствоваться только демонстрацией лекционных опытов. И я от души завидовал ассистенту



Д. И. Менделеев. Портрет работы Н. А. Ярошенко

Менделеева Д. П. Павлову: вот счастливец-то, все-то опыты своими руками проделает. Того, чтобы когда-нибудь занять его место, я даже и вообразить не мог: Д. И. представлялся мне таким великим, недосягаемым строителем науки.

На II курсе я слушал Бутлерова, занимался у Меншуткина[5] качественным анализом. В осенний семестр II курса я занимался количественным анализом под руководством Н. Н. Любавина.[6] Мое рабочее место было около двери из лаборатории в квартиру Д. И.[7] Поэтому я его видел каждый день утром, а иногда и вечером, так как засиживался в лаборатории до ее закрытия в 6 час. вечера. На IV курсе и первый год по окончании курса я работал по органической химии у А. М. Бутлерова, которого мы тоже очень любили и уважали. С этого года А. М.[8] перенес свою работу в академическую лабораторию. Мне дали его рабочее место, мимо которого Д. И. проходил в свою лабораторию.

В лаборатории Бутлерова нам, «специалистам-химикам», разрешалось работать, смотря по надобности, хоть до поздней ночи, и мы засиживались до 12 час. ночи и позднее. Проходя в свою лабораторию, Д. И. иногда останавливался в нашей комнате, беседовал с М. Д. Львовым[9] (ассистент Б.[10]) и Бутлеровым, если заставал его в лаборатории. Помню два разговора, когда Д. И. показался мне более снисходительным к людским слабостям, чем А. М. Бутлеров.

Первый раз А. М. Бутлеров с возмущением сообщил Д. И., что один профессор, вызванный в суд в качестве эксперта по делу о поджоге деревянного дома, написал, что поджог был произведен с помощью раствора фосфора в серной кислоте (а не в сероуглероде). А. М. очень возмущался этим элементарным незнанием, хотел заявить об этом в Химическом обществе; а Д. И. убеждал не делать этого, что просто человек ошибся. Другой раз дело касалось тоже покойного уже профессора, который представил диссертацию на доктора. Диссертация была слабая, ее вернули для дополнений. Но и в исправленном виде она Бутлерова не удовлетворила, он хотел отказать, но Д. И. уговорил допустить, принимая во внимание и другие работы автора.

Запомнился мне еще интересный случай уже другого рода. Это было весной 1884 г. Как-то утром Д. И. приходит к нам в Бутлеровскую лабораторию с новой книжкой «Berichte» в руках, взволнованный, радостный и говорит, что Кл. Винклер открыл новый элемент германий и помещает его в V гр., потому что он образует сульфосоль.[11] «Только нет, он ошибается, германию место не в V, а в IV группе, это экасилиций. Я сейчас буду писать Винклеру». Как известно, эти слова Д. И. блестяще подтвердились.

Кроме лекционного ассистента (или как тогда называли «лаборанта») Д. П. Павлова,[12] у Д. И. был еще личный ассистент В. Е. Павлов.[13] С осени 1884 г. В. Е.[14] получил место доцента по кафедре аналитической химии в Московском Высшем техническом училище, а на его место Д. И. пригласил и провел через факультет меня. Таким образом с конца сен-

тября 1884 г. началась моя служба в его лаборатории. Личным ассистентом я пробыл у Д. И. два года.

За это время я по поручению Д. И. провел две больших работы по исследованию нефти и третью по определению удельных весов гидратов серной кислоты. Сперва Д. И. велел мне приготовить бигидрат, точно отвечающий формуле $H_2SO_4H_2O$. Не сообразив сразу, я спросил Д. И.: а как это сделать? «На то вы и лаборант, чтобы знать, как это сделать», — был его ответ.

Порылся я в литературе, составил план работы. Д. И. одобрил. Когда бигидрат был готов, Д. И. велел мне придти к 9 час. утра, чтобы заняться определением удельного веса. Мы проработали до шести часов вечера, с небольшим перерывом для завтрака.

Вскоре после этого, как-то среди дня, Д. И. приходит в лабораторию и говорит мне: «Возьмите два больших стакана, отвесьте столько-то грамм (кажется 500) крепкой серной кислоты и столько-то воды». Отвесил. «Возьмите термометр, лейте воду в кислоту и мешайте». Я и глаза выпучил: как, лить воду в кислоту, надо обратно. «Лейте, говорю вам, только скорее». Я смекнул, в чем дело: бухнул воду сразу и быстро размешал. Д. И. взглянул на термометр: «170° — больше мне ничего не надо». И ушел.

Последняя работа, порученная мне Д. И., была получение кристаллогидрата спирта. Для этого я запаял в трубочку спирт надлежащего удельного веса, и потом мы с Д. И. морозили его в смеси твердой CO_2 с ацетоном. В трубочке образовалось несколько блестящих довольно крупных (около 1 кв. мм) кристалликов, которые Д. И. и принял за кристаллогидрат. Д. П. Коновалов спорил, что это просто кристаллы льда, но Д. И. остался при своем мнении.

В ноябре 1886 г. Д. П. Павлов уехал на место профессора в Институт сельского хозяйства в Новую Александрию, и Д. И. передал мне его обязанности лекционного ассистента и заведующего хозяйством лаборатории. Вместе с этими обязанностями я получил и квартиру Д. П. Павлова, которая находилась через стенку от лаборатории Д. И., рядом с его кабинетом.

Теперь мне пришлось еще ближе познакомиться с Д. И., так как три раза в неделю бывали лекции, да кроме того приходилось часто беседовать по делам лаборатории.

Надо признаться, что ассистировать на его лекциях было нелегко не потому, что это требовало много труда, а из-за нервной, беспокойной натуры Д. И. На лекциях он нервничал, все боялся, что опыт не удастся, особенно в первый год моего ассистентства, пока не убедился в моем умении экспериментировать. Когда он замечал, что опыт ведется не так, как он привык, он подходил и шепотом, который был слышен во всей аудитории, делал мне замечания. Я по неопытности успокаивал его, что опыт выйдет, а студентов эти разговоры приводили в веселое настроение, и они иногда смеялись. Один раз после лекции Д. И. мне говорит: «привыкните вы, ради бога, на лекции ничего не говорить: ведь это их

(т. е. студентов) развлекает». После этого я молчал на кафедре, как рыба; что бы он мне ни говорил, я делал свое дело, и никаких недоразумений у нас не было, тем более, что и неудачи у меня случались крайне редко. В этих случаях Д. И. объяснял студентам причину неудачи и заставлял меня повторить опыт. Этим все и ограничивалось, после лекции выговоров или упреков он не делал, хорошо понимая, что неудача чисто случайна.

В качестве руководства, как производить опыты на лекции, у нас была тетрадь с подробным описанием всех мелочей. Это описание было составлено первым ассистентом Д. И. — Г. А. Шмидтом,[15] которого Д. И. очень ценил, и пополнена Д. П. Павловым. В случае недоразумения, так ли я производил опыт, как нужно, стоило сказать, что так в тетрадке написано, — и Д. И. успокаивался.

Другой опорой для меня был мой помощник, старинный служитель Алексей Петрович Зверев, которого мы звали просто Алеша.[16] Он получил крепкую выучку у Г. А. Шмидта и в точности помнил, какую колбу, реторту, схватку и пр. надо взять для каждого опыта, чтобы поставить его так, как привык Д. И. Все непривычное Д. И. нервировало, портило настроение, нарушало ход мыслей. Я это понимал и не обижался ни на какие, иногда и резкие, замечания.

К лабораторным делам тоже надо было приспособиться. Сперва я пытался спрашивать у Д. И. разрешение на какие-нибудь более крупные траты, на ремонт в лаборатории, но большею частью получал отказ. Потом я стал действовать по собственному усмотрению, и Д. И. только был доволен, что я не занимаю его пустяками. А один раз он сам мне говорит: «Если вам что-нибудь понадобится делать, никогда не просите разрешения, потому что тот, у кого вы просите, сейчас подумает: А, если он просит разрешения, значит, не уверен, что действует правильно, и, конечно, откажет».

К лекциям Д. И. в эти годы уже не готовился, но ассистентам вменялось в обязанность отмечать, на чем он в последнюю лекцию остановился. Он читал обычно два часа подряд с перерывом не более 15, а под конец года 10 мин., чтобы непременно полностью закончить курс. Так как он долго засиживался за работой по ночам и мог проспать, то в те дни, когда лекция начиналась с 9 час., наказывал Алеше будить его в 9 час. 5 мин., если сам не придет, и тогда, еле умывшись, одеваясь на ходу, быстро поднимался по лестнице, также на ходу спрашивал меня: «на чем остановился?» и, выйдя на кафедру, обычным тоном начинал лекцию.

Однако не надо думать, что ему это чтение легко давалось. Он говорил, что читать лекции — самое трудное дело. Оно требовало сильного умственного напряжения и в связи с духотой переполненной аудитории сильно утомляло. Усталый, потный, он выходил из аудитории. Чтобы не простудиться на холодной лестнице по дороге в свою квартиру, он надевал осеннее пальто, которое ему приносил Алеша, и с полчаса, а иногда

и более, сидел в препаровочной, покуривая папиросы, которые тут же крутил, и благодушно разговаривал.

Темы этих разговоров были самые разнообразные: новости химической науки, воспоминания старины, наши университетские и лабораторные дела, ученые диспуты, магистерские экзамены, работы нашей лаборатории и т. д., вплоть до домашних дел <...>

Из прошлого Д. И. любил вспоминать знаменитый конгресс в Карлсруе,[17] на котором он присутствовал и где были твердо установлены основные химические понятия об атоме и молекуле. Охотно вспоминал свое первое пребывание за границей в 1859—1860 гг., когда он работал в Гейдельберге,[18] бывал в Париже и путешествовал по Европе <...>

В эти же годы начался у нас разговор о постройке новой лаборатории. Д. И. подал об этом записку в совет университета, потом она пошла в министерство, но денег на постройку лаборатории не было ассигновано. Желая утешить нас, Д. И. говорил, что не в новых стенах дело: «Вот Мариньяк, когда работал в подвале, какие отличные работы делал, а выстроили ему дворец, и работать перестал»[19] <...>

В 1888 г. я начал готовиться к магистерскому экзамену, и так же, как мои товарищи, находился в затруднении, что именно и в каких размерах проходить к экзамену, так как никакой программы нам не давали. В подходящий момент после лекции я спросил Д. И., что нужно к экзамену, в каком объеме требуется знание новейшей литературы, которая так быстро растет. Он мне ответил: «на то вы и магистрант, чтобы понимать, что нужно и что не нужно». А потом, немного подумав, прибавил: «Для магистерского экзамена нужно то же, что для студентского-кандидатского, только вот с какой разницей. Если, напр., студента спросят о гликолях, то ему достаточно ответить, что представляют из себя гликоли, каковы их свойства и реакции, а магистрант должен еще прибавить: „как, зачем, почему, когда"». Подробнее он не объяснял, предоставив мне самому разобраться в смысле этих четырех слов.

Вообще Д. И. не любил многословия, любил быстрые, краткие и четкие ответы <...>

Обычно он в спорах был очень упорен, беспощаден к противнику. «Если меня заденут, я спуску не дам». На диспутах он был грозою для диспутантов, особенно если диспутант уклонялся от прямого ответа.

Д. И. умел и похвалить диспутанта, а иногда и сильно раскритиковать. Его выступления на диспутах привлекали особенное внимание присутствующих. Из многих диспутов, на которых мне пришлось быть, один крепко засел у меня в памяти.

Диссертация была слабая. Докторант (давно уже умерший профессор), сделавший позднее не одну хорошую работу, вынужден был представить ее по мотивам служебного порядка. А. М. Бутлеров и Н. А. Меншуткин хотели ее отклонить, но Д. И. Менделеев уговорил их этого не делать. Накануне диспута докторант приехал в Петербург и зашел к нам в лабораторию поговорить с А. М. Бутлеровым о предстоящем

диспуте. А. М. сказал ему: «Пропустить-то пропустим, но пощиплем». И пощипали!

Первым оппонировал А. М. Бутлеров. Он указал на некоторые положительные стороны, но и на ряд крупных недостатков работы, однако сделал это с присущей ему деликатностью, стараясь не очень задеть самолюбие диспутанта. Н. А. Меншуткин отнесся суровее, вспомнив, что с той же кафедры диспутант защитил хорошую магистерскую диссертацию и что от него ждали новых серьезных работ.

Наконец выступил Д. И. Менделеев. Он начал с того, что «диссертации пишутся двояко: одни по практическим соображениям, потому что надо получить ученую степень... Я, конечно, не говорю, что ваша диссертация для этого представлена... Другие являются результатом задуманной работы. Один берет тему, какую попало, лишь бы диссертация вышла. Другой задается определенной идеей, начинает с маленькой работы, которая постепенно развивается и в конце концов сама выливается в ученую диссертацию. Или буду говорить образно. Один идет по темному лабиринту ощупью; может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а, может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте. И по мере того как он идет, его фонарь разгорается все ярче и ярче, наконец превращается в электрическое солнце, которое ему все кругом освещает, все разъясняет. Так я вас и спрашиваю: где ваш фонарь? Я его не вижу!»

От этого образного сравнения жутко было за диспутанта.

В среде студенчества Д. И. пользовался огромным уважением и популярностью. Но эта популярность приносила Д. И. и тяжелые минуты. К нему студенты обращались за помощью во время политических или академических выступлений, прося передавать высшему начальству их пожелания, «петиции».

Последняя из этих петиций и была причиною его ухода из университета[20] <...>

Летом 1891 г. Д. И. выехал из университета на частную квартиру (угол Кадетской лин. и Среднего пр., дом Лингена).[21] Теперь я встречал его только в Химическом обществе, да изредка заходил навестить ненадолго, чтобы не отнимать у него драгоценного времени. И здесь, и в Главной палате мер и весов,[22] куда он позднее переехал, его кабинет был рядом с прихожей, и дверь приоткрыта. Услышав, что кто-то пришел, он громко спрашивал: кто там? Неопытный посетитель отвечал: «Это я, Д. И.». «Ну, я знаю, что „я", да кто вы?» Надо было сразу назвать фамилию. Д. И. встречал очень радушно, угощал своими папиросами (не любил запаха чужого табака), расспрашивал об университетских новостях, Химическом обществе, сам рассказывал много интересного. Время летело незаметно. Посмотришь на часы — уже 12. Скорее домой. А у Д. И. еще корректура, которую надо утром отослать.

Нас, своих товарищей по университетской лаборатории, Д. И. встречал, как своих близких, старался поддержать в трудные периоды жизни, которые у всякого бывают. Был такой период и у меня. По разным

причинам у меня очень затянулось дело с получением степени магистра, а это мешало моему движению вперед по ученой дороге. Мало-помалу я стал приходить к сознанию, что надо мне менять ученое поприще на другое, более доступное и материально обеспеченное. Об этих соображениях как-то при случае я сообщил И. М. Чельцову, с которым мы были друзья. Вскоре после этого я зашел к Д. И. В разговоре он меня очень осторожно спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вот мне И. М. говорил, что вы хотите, так сказать, свое амплуа переменить? Правда это?». «Да, я ему об этом говорил». «Что ж, вы это благоразумно придумали... не потому, что вам не добиться профессуры, а потому, что это возьмет у вас очень много сил и не окупится результатом. Ведь это прежде, когда я выступал, жалованье профессора в 3000 руб. так обеспечивало, что я мог даже лакея держать — вот Алешу взял. А теперь разве это так обеспечит? Если бы я был министром да мне предложили бы сказать, сколько надо дать профессору, я бы сказал: не менее 10 000 руб. Посторонние заработки, литературные или консультацию, теперь тоже достать гораздо труднее. На литературные — народу много народилось, а в консультации профессора надобности гораздо меньше. Прежде профессор с общей подготовкой мог быть везде ценным советчиком, а теперь на любом хорошем заводе есть такие специалисты, что и профессора за пояс заткнут.

А общественное значение профессоров? Прежде к их мнениям прислушивались, а теперь кто на них обращает внимание? Вам, конечно, торопиться некуда, подходящее место найдется — да хоть у нас в палате. И если от науки оторваться не хотите, то ведь наукой заниматься можно везде. Наука — это такая любовница, которая вас везде обнимет, — только сами-то вы ее от себя не оттолкните».

Эти мысли он развивал и далее, а под конец у него прорвалось: «Давно я вам говорил: пишите скорее диссертацию». Я понял, что весь предыдущий разговор был для того, чтобы меня ободрить, помочь мне решиться на новый шаг; но как раз наоборот, он помог мне во что бы то ни стало пробиваться по прежнему пути.

Этот случай лишний раз показывает, что под суровой на вид внешностью у Д. И. скрывалась редкая доброта к людям. Сколько людей приходило к нему с разнообразными просьбами, и он всегда старался удовлетворить; пошумит, поворчит, а отказать не может. Кто только к нему ни обращался письменно за советом, указаниями, а иногда и материальной помощью! Он всегда старался дать ответ; если не мог это сделать сам, поручал ассистенту. И мне приходилось исполнять такие поручения. Конечно, нельзя отрицать, что нрав у него был крутой, но он был вспыльчив, да отходчив. Слушать его крик, воркотню было иногда нелегко, но мы знали, что он кричит и ворчит не со зла, а такова уж его натура. Вероятно, в шутку он говорил, что держать в себе раздражение вредно для здоровья; надо, чтобы оно выходило наружу. «Ругайся себе направо-налево и будешь здоров. Вот Владиславлев (б. ректор) не умел ругаться, все держал в себе и скоро помер».

Еще Д. И. не один раз говорил: «Я ведь не из этих, нынешних, которые мягко стелют». Мы, сотрудники Д. И., очень любили, уважали его и на его крик не обижались. Он был требователен к своим сотрудникам, но еще более требователен к самому себе.

Как-то сильно накричал Д. И. на А. П. Зверева. Я его и спрашиваю: что, Алеша, досталось? А он говорит: «Да ведь он только кричит, а сам добрый». Случалось, что Д. И. разбранит кого-нибудь несправедливо, а потом сам старается помириться. Один раз Д. П. Павлов добродушно осмеял неудачное распоряжение, которое Д. И. дал в лаборатории. Д. И. обиделся и после лекции жестоко, но неосновательно распек Павлова. Тот, обиженный в свою очередь, сердитый, прошел в свою квартиру. Через несколько минут приходит в лабораторию Д. И. и спрашивает меня: «Дмитрий Петрович здесь?». «Пошел к себе, я его позову». «Нет, нет, не надо. Зачем его беспокоить» <...>

Несмотря на крутой нрав, в нем не было барства. Он одинаково относился к товарищу профессору, ассистенту, служителю.

Проведя детство на заводе и в сельской обстановке, Д. И. привык ценить физический труд, с уважением относился к крестьянам и рабочим. Одинаково он относился и к людям различных национальностей, лишь бы был дельный человек.

Как все большие, сильные люди, Д. И. очень любил детей. «Люблю их за их чистоту», писал он в одной из своих записных книжек. Один раз вечером, когда я сидел у него, маленькая дочка его, Муся,[23] пришла прощаться с ним перед сном. Он расцеловал ее, потом пошел уложить в постель и, когда вернулся на свое место, сказал: «Много испытал я в жизни, но не знаю ничего лучше детей» <...>

Дмитрий Иванович Менделеев был великий, гениальный человек и, как большинство великих людей, великий труженик. А трудился он действительно, не жалея себя.

Помню такой случай. В 1886 г. он очень торопился закончить свой большой труд «Исследование водных растворов по удельному весу». Чтобы ему не мешали многочисленные посетители, он из своего домашнего кабинета переселился в кабинет при лаборатории и работал там с утра до вечера в течение всего года. Его кабинет освещался сильной газовой лампой. В этом же году я состоял помощником делопроизводителя Химического общества и за корректурой журнала сидел иногда до 4—5 час. ночи. Кабинет Д. И. отделялся от моей квартиры тонкой переборкой. Как-то раз, уже в 4 часа ночи, слышу в кабинете крик Д. И. Я взглянул в окно, вижу: снег в саду сильно освещен; испугался, не пожар ли. Иду в кабинет. А Д. И. сидит на своем обычном месте, никакого пожара нет — это был свет от сильной лампы. Спрашиваю, что нужно Д. И. «Да вот велел Алеше чаю принести, а он не несет». «Д. И., да ведь уже пятый час утра». «О, господи. А я после обеда (в 6 час. веч.) пришел, да и задремал». Это уже сказалось сильнейшее переутомление.

Труд Д. И. ставил выше всего. Он не любил, когда его называли гением. «Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений».

Б. П. Вейнберг

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДМИТРИИ ИВАНОВИЧЕ МЕНДЕЛЕЕВЕ КАК ЛЕКТОРЕ

Менделеев был профессором С.-Петербургского университета с 1866 по 1890 год — и в последний год, 1889—1890, мне привелось слушать его лекции по неорганической химии, которые он читал студентам первого курса математического и естественного отделений. Как математик, я не работал под его руководством в химической лаборатории, — и потому могу характеризовать его не как профессора—руководителя, а лишь как лектора.

Как лектор, Менделеев оставил во мне и многих моих товарищах неизгладимое впечатление. Неизгладимость эта обусловливалась, с одной стороны, обаянием научного авторитета творца периодической системы, с другой стороны, — исключительностью тех условий, при которых Менделеев читал нам лекции в конце весеннего семестра, но главным образом зависела она от поразительного лекторского таланта покойного. Некоторые из нас увлекались способом изложения А. А. Маркова,[1] каждым словом как бы заколачивавшего гвоздь за гвоздем по одной прямой линии, с которой он не давал сходить истине. Другие наслаждались изящною, стройною и спокойною мелодичною речью К. А. Поссе,[2] которого слушали даже иные юристы, не понимавшие зачастую содержания его лекции, но проникавшиеся их «музыкальностью» и «убедительностью». Третьих привлекал О. Д. Хвольсон,[3] замечательно ясно и просто излагавший то, что казалось таким трудным и запутанным, умело подчеркивавший существенное и манивший в дебри дальнейшего изучения предмета. Но громадное большинство нас отдавало пальму предпочтения Дмитрию Ивановичу, который обладал прирожденным даром захватывать аудиторию и мощно властвовать над нею.[4]

Трудно отдать себе отчет в том, чем достигал он этой власти над нами. Однако можно сказать с достоверностью — не внешними приемами, которые всем — и интонациею, и жестикуляциею, и построением речи — были далеки от того, что считается отличительными чертами настоящего оратора.

По интонации речь Менделеева была незаурядною и разнообразною, но интонация эта не столько стояла в тесной внутренней связи с содержанием, сколько зависела от настроения Дмитрия Ивановича и от отклонений от параллельности хода речи и хода мыслей.

Иногда мысли Дмитрия Ивановича так быстро сменялись одна другою, так бежали одна за другою, что слово не могло поспеть за ними, — и тогда речь переходила в скороговорку однообразного, быстрого ритма на средних ногах. А иногда словесное выражение мыслей не приходило сразу, и Дмитрий Иванович как бы вытягивал из себя отдельные слова, перерывая их многократными «мм...мм...как сказать» и произнося их медленно на высоких, тягучих, почти плачущих нотах, — и потом внезапно обрушивался отрывистыми низкими аккордами, бившими ухо, как удары молотка. Будь я музыкантом, я, думается, мог бы положить лекцию Менделеева на музыку, — и любой из тех, на чью долю выпало счастье его слушать, безошибочно узнал бы звуки этого мощного голоса, переходившего от ясно слышного в последнем углу аудитории шепотка к громоподобным возгласам. Внушительна бывала жестикуляция этого старца с небольшою бородкою и с копною длинных волос, которыми он иногда выразительно встряхивал. Он то как бы отстранял рукою какие-то препятствия, то широким жестом — обыкновенно левой руки — как бы захватывал все вокруг, то как бы манил к себе что-то.

Точно также разнообразна была и самая конструкция речи. Фразы Менделеева не отличались ни округленностью, ни грамматическою правильностью: иной раз они были лаконически-кратко выразительны, иной раз, когда набегавшие мысли нажимали друг на друга, как льдины на заторах во время ледохода, фразы нагромождались бесформенно: получались периоды чуть не из десятка нанизанных друг за другом и друг в друге придаточных предложений, зачастую прерывавшихся новою мыслью, новою фразою и то приходивших, — после того, как сбегала словами эта нахлынувшая волна мыслей, — к благополучному окончанию, то остававшихся не законченными.

Эти особенности речи Менделеева особенно ясно бросались в глаза мне, когда я, записывавший все его лекции стенографически, дешифрировал свои записи, из которых я и буду приводить дословно примеры в дальнейшем. Не будучи достаточно хорошим стенографом, я ясно вижу теперь, что при записи мною были допущены некоторые описки, а при дешифровке — некоторые ошибки, но я не решаюсь исправлять их теперь, через 20 лет, буду приводить слова Менделеева так, как они были тогда мною дешифрированы.

Попробуйте передать короче выпуклые и своеобразные мысли, вложенные Дмитрием Ивановичем в такие, например, фразы:

«Гораздо реже в природе и еще в меньшем количестве — от того и более дорог, труда больше, — иод».

«Общежитие, история поставили серебро рядом с золотом, — и периодическая система ставит их так же, как и медь, в один и тот же ряд».

«Не только от энергии солнца, летом усиливающейся, но и от измененной влаги, количества водяных паров лето так отличается от зимы».[5] <...>

Попадались у Дмитрия Ивановича часто фразы, разрозненные на части — и не всегда благополучно сроставшиеся; то фраза перебивалась просьбою закрыть форточку, то указанием на ход опыта, то нетерпеливым обращением к лаборанту, которому приходилось зачастую чувствовать на себе нервность и раздражительность Дмитрия Ивановича, то разыскиванием препарата (следует заметить, что у него было тогда уже не особенно хорошее зрение, а VIII аудитория, где он читал, была довольно темною), то новою мыслью и новою фразою.

Вот несколько примеров таких диссекций:

«Сернистая кислота, в виде ли — Алексей,[6] форточку закрыть не пора ли? благодарствуйте, благодарю вас, очень благодарен, — в виде ли водного раствора или в виде солей, соляного раствора, медленно соединяется с кислородом и переходит в серную кислоту».

«Не только выше указанными способами может действовать уголь на сернонатровую соль, т. е. отнимать — велите дать полотенце, рук вытереть нечем — не только один пай, но и все паи кислорода, в сернонатровой соли находящейся, уголь, при повышенной температуре может отнимать».

Однако никакою словесною характеристикою речи Менделеева не заменить подлинных его слов, — и потому я в дальнейшем буду, не скупясь, приводить цитаты из стенограмм, которые яснее всяких рассуждений покажут, чем так действовал он на нас.

Уже из приведенных отрывков его лекций видно, что — не внешнюю стороною. Если бы так, — с внешней стороны, — как читал Менделеев, сообщал нам кто-нибудь сухую сводку фактических данных химии, то в аудитории были бы только добросовестные исполнители своих обязанностей, всегда немногочисленные, и плохой начетчик, — а в аудитории Менделеева была толпа стремящихся к науке студентов и был профессор университета, в самом полном смысле этого слова. Профессор этот старался при случае выяснить нам назначение университета, выяснить нам, что мы должны взять от университета, что должны ему дать и как должны будем мы пользоваться взятым, выйдя из университетских аудиторий и лабораторий в жизнь.

Вот, напр<имер>, какой последний завет дал он нам — последний, потому что это была последняя лекция его, как профессора С.-Петербургского университета, студентам.

«Но не для того мы здесь и не для того учреждаются университеты, чтобы получались только дипломы и чтобы получалось знакомство с предметом, с его... как сказать... в его прошлом. Это — одна сторона, это — неизбежно, это — сторона, можно сказать, первичная, но есть другая высшая сторона, которая и дает то... что дает тот оттенок университетскому знанию, который должен быть назван духом университета.

Вы знаете сказки, в которых говорится о том, что приходит кто-то и говорит: „фу, русским духом пахнет!” — Вам это не понятно, вам в детстве кажется чем-то даже смешным <...>

Так есть и в университетах свой дух. Не состоит он вовсе в том... в чем, может быть, многим из вас он представляется; нередко кажется... что он состоит, — или нередко может казаться, по крайней мере, — что он состоит в каком-то... влиянии на общество каким-то особенным образом... У нас, где образование еще, можно сказать, не привилось твердо и крепко, такого рода некрепкое и нетвердое представление очень развито, а потому, заканчивая курс, я хочу сказать о том, как, в чем состоит истинный университетский дух, в чем его суть, откуда берется эта душа университетская, совершенно особенный оттенок кладущая на тех, кто с внутренней стороны... душою к университету прилежит.

Этот дух состоит исключительно и всецело, в существе, только в одном: в стремлении достигнуть истину во что бы то ни стало, — не практическую пользу, не личное улучшение, не каких бы то ни было этих политических или экономических улучшений, — все это сбоку, все это придатки, все это есть не что иное, как атрибуты, члены основного, одного, исключительного стремления, это — достижение истины во что бы то ни стало и как бы то ни было, — но только истины в том виде, в каком она... ее можно достигнуть. Не в том, чтобы, отпирая храм ключом, прямо пойти сдернуть завесу сокрытой истины, — ничего нету, сказки, пустое! Ничего такого нету, никакой такой завесы нет: истина не спрятана от людей, она среди нас, во всем мире рассеяна. Ее везде искать можно: и в химии, и в математике, и в физике, и в истории, и в языкознании, — во всем том, что направлено к отысканию истины, — оттого-то это все и соединяется в университете.

Не практическая польза, а вот стремление достигнуть эту истину с разных сторон, — а она одна, — и мы видим и знаем, чем дальше живем, тем больше убеждаемся, что, пойдем ли мы со стороны истории, пойдем ли со стороны астрономии, или химии, — все до одного доходим. Я бы его вам открыл, сказал бы, как и все говорю, что могу и знаю, если бы пришло уже в сознание окончательно начало всех начал, — не думаю я, что оно будет еще, как сказать, доступным само по себе, но близко подходить к этому пределу люди могут, можно сказать, и будут достигать и подходить к нему — и каждый шаг вперед будет, действительно, двигать людей в понимании истины. И вот это-то стремление к пониманию истины во всей ее чистоте и совершенстве и составляет единственный, истинный дух университетов...»

Это стремление к истине — не только в смысле усвоения уже известного, но и в смысле открытия неизвестного — Менделеев при каждом удобном случае внушал нам—внушал нам или самым содержанием своих лекций, или специальным указанием на этот смысл университетского преподавания.

Уже на одной из первых лекций Менделеев бросал нам такие слова, и бросал их среди фразы о температуре диссоциации воды.

«Наука бесконечна, в ней являются с каждым днем новые и новые задачи, и университетское образование должно стараться возбудить желание внести свою лепту в сокровищницу науки».

А вот, например, отрывок из его незабвенной для нас лекции о марганце — лекции на сходке, которая собралась в его аудитории.

«Экамарганец, двимарганец, которые по видимости могут существовать, до сих пор неизвестны и вот тем из вас, кто будет работать в лабораториях и посвятит свое время и силы этому делу отвлеченного изучения природы, предстоит открыть, между прочим, эти металлы и таким образом найти нечто, сдвинуть завесу в самом деле с природы, что доставляет такого рода возвышенное наслаждение, такого рода возвышенное питание людям, что наша цель, наша основная цель в университете и состоит именно в том, чтобы как можно из вас родилось большое число адептов чистого знания. Оно одно срывает завесу темноты с людских глаз, оно одно способно доставлять столь чистые людям наслаждения, что при них все прочее остальное рисуется столь мелким и столь маленьким, что о нем и забывается, — и таково должно быть в самом деле призвание и назначение высшего образования. Оно было бы очень низким, если бы оно не возвышалось чистейшим стремлением к достижению абсолютной истины, нового понимания, нового обладания природой; без этой абсолютной истины, без этого раскрытия завесы, которая скрывает истину от людских глаз, в самом деле, истинный прогресс был бы невозможен. Все старое, все старое толочь на всякие лады, — это значит повторять ту классическую ошибку, что при помощи умственного представления можно в самом деле достигать дальнейшего и дальнейших шагов. Ничего! повторение старых задов, с одной стороны, а с другой, как классики и приходили к тому, что ничего нового не узнав и убедившись в том, что повторяют то же самое, — сами приходили к тому, что высшее знание состоит в сознании того, что мы ничего не знаем. Это и есть именно та ошибка, с которой изучение природы с открытием в самом деле того, что людям было неизвестно, борется, и можно с уверенностью сказать, что отчасти уже победило, а впоследствии наверное победит, не крича, ни волнений, историй и сходок не делая, а просто запросто работая усердно с полной уверенностью, что тут — свет, а там — тьма.[7] В этом направлении, в этом в самом деле есть возможность узнать истину, а там нельзя,— и вот это-то должно внушиться вам здесь, в этих стенах, это и есть то, что вы не напрасно слышали, придя сюда в таком количестве. Вы будете на других поприщах работать, но то, что я вам внушаю, вам везде пригодится; но, плохо бы было, если бы вам нужно было внушать, как и что делать. Нет, вы по-своему, вы так будете делать, как внушат вам разум и совесть при ближайшем изучении предмета; нужно указать не это: что делать, а то, в которой стороне свет, где разыскать истину, где она находится, — вот что мы должны указать, и я сейчас пользуюсь моментом, когда вон сколько вас собралось, для того, чтобы в десятый, может, раз упомянуть об этом в этих лекциях».

Но еще более, чем такое непосредственное внушение, действовал на

нас самый способ изложения Менделеевым неорганической химии. Я не буду говорить здесь о стройности плана этого курса — с этим знаком всякий, изучавший его «Основы»,[8] а укажу на то, что Менделеев делал из этого курса как бы энциклопедию естествознания, связанную основною нитью неорганической химии. Экскурсии в область механики, физики, астрономии, астрофизики, космогонии, метеорологии, геологии, физиологии животных и растений, агрономии, — а также в сторону различных отраслей техники, до воздухоплавания и артиллерии включительно, — были часты в его лекциях. И эти экскурсии были всегда вполне уместны, никогда не были слишком длинны и детальны и освещали соответствующий вопрос неорганической химии едва ли не ярче и не живее, чем какие-либо чисто химические примеры. Никогда не терял он при этом из виду главной цели и основной цепи своего изложения и, если случалось ему отойти слишком далеко в сторону, он умел вовремя остановиться.

При этих экскурсиях Менделеев большею частью оставался на почве чистой науки, так как он, как видно уже из приведенных цитат, отрицал утилитарную цель университетского преподавания, но тем не менее он часто обращался к практическим вопросам как ввиду тесной связи техники с наукою, так и ввиду того, что он старался приготовить из нас будущих деятелей на пользу России.

Сравнительно редко обращая наше внимание «на то обстоятельство, что участие в прогрессе научном — в особенности, со стороны опытов — все более и более, а, в особенности, в таких странах, как Англия и Франция — принимают участие часто техники, заводчики, потому что чрезвычайно тесна зависимость между чисто абстрактной наукой и прямыми ее приложениями к жизненным отношениям», Менделеев особенно настаивал на роли «фонаря науки» в технике и промышленности. Говоря, напр., о каменном угле, он указывал нам, что «на поверхности находящийся каменный уголь очень редок, его надо отыскать в глубине. Как же не повременить, пока не узнаешь, что здесь стоит затрачивать большие деньги, чтобы прорыть фундаментальные колодцы, устроить подъемные машины и т. д., если не иметь фонаря науки для того, чтобы осветить эти подземные глубины. Без этих знаний подобного рода предметы никоим образом не могут выступить и потому-то везде мы видим, что развитие промышленности, обоснованной на минеральном топливе, всегда, как сказать, находится в соответствии и в теснейшей связи с развитием научных знаний».

И нам он часто горячо проповедывал необходимость светить этим «фонарем науки». Вот, напр., отрывок из той же лекции на сходке.

«Вот вас большое количество собралось здесь слушать химию (лукавый взгляд Менделеева при этих словах показал нам, что в них заключалась заметная доля иронии, — и по аудитории пронесся смешок, разделенный и Менделеевым, который продолжал далее свою мысль, лишь несколько приспособляясь к не совсем обычному составу слушателей). И, если рассеются благодаря вам, через вас сведения о том, как богата Россия во многих отношениях, какие в ней естественные богатства, жду-

щие образованных людей для того, чтобы они принялись за дело. До сих пор, — прибавлю — при этом есть одна особенность, до сих пор, как руды марганца, так и все почти богатства русские, которые разведаны, начиная от золота, меди, железа, каменного угля, нефти и прочего, — все они, можно сказать, найдены только по тому, что выходят на поверхность земли, по тому, что, можно сказать, бросаются в глаза — и крестьянин, черкес, перс, казак их находит и говорит о них. Не так, в самом деле, должно быть, — да и не так оно там, где практическое развитие доходит до некоторой меры: кроме того, что выступить имело случай на земную поверхность, есть еще гораздо большие массы в глубинах, в недрах земли, и надобно иметь фонарь науки для того, чтобы осветить эти глубины, увидеть в этой темноте. И, если вы этот фонарь знания внесете в Россию, то вы сделаете в самом деле то, чего от вас ожидает Россия, ибо от чего же зависит ее благосостояние? от чего зависит богатство или бедность ее народа и ее международная свобода? Ведь только независимость экономическая есть независимость действительная; всякая прочая есть фиктивная. Укрепление мысли в ту сторону, в которую нравится, и есть классический прием, который, как известно, погубил немало народа, людей, которые гонялись за воображаемым или мечтательным, упуская то самое, что нужно в самом деле разрабатывать для жизни народа. Вводя промышленные цели, разрабатывая их, мы дадим, — что чрезвычайно важно, — не только действительное дело, живое, практическое дело образованности, но и дело масс, дадим дело народу, увеличим его благосостояние, т. е. сделаем то самое, чего в самом деле не достает в настоящее время России. Она, будучи страной преимущественно земледельческой, можно сказать, получает свои главные ресурсы естественные от, чтобы сказать резко и ясно, от грабежа земной поверхности, от снятия с земной поверхности того, что в ней содержится. Свозя, отправляя свой хлеб заграницу, истощая таким образом землю и в большинстве даже мест России не возвращая того, что берется и увозится, Россия теряет. Извлекая же из недр земли, из глубины земли минеральные ресурсы... А они все имеются в России в избытке, уже известны, а что неизвестно, так это только следующее поколение узнает, тогда, когда становится текущее классическое направление мышления, а люди в самом деле придут к действительному, реальному представлению о нуждах народа и о действительной пользе отечества. Тогда в самом деле примемся мы за разработку естественных богатств России и почерпнем в них действительное дело, нужное как для народа, как для простого народа, так и для образованности, так и — что всего важнее — для силы и благоденствия всей страны, потому что и земледелие развивается в высшей своей форме только там, где параллельно с ним развивается и промышленность другого рода, т. е. там, где берут материал из недр земли и перерабатывают его в нужные народу или людям вещества» <...>

Каждым удобным случаем пользовался Менделеев, чтобы внушить нам надлежащее направление нашей будущей деятельности, освещая с разных сторон ту пользу, какую может принести «фонарь науки», — ука-

зывая нам, напр., что «при правильно поставленном и сколько-нибудь научно разработанном производстве ничто не должно пропадать и все утилизируется; все что является отбросом, становится целью разработки, становится источником столь же существенного производства, что эти отбросы становятся первичными продуктами для добычи».

И прямо горечью отзывались слова Менделеева, когда ему приходилось говорить о тех случаях, где успех не являлся результатом научно поставленного дела.

«Эта сера найдена не розысками людей сведущих и зрящих внутри земли на основании теоретических представлений, как ныне все богатейшее в природе и открыто, а открыта благодаря замечательной игре природы... Не образование, не знание открыло эти залежи, а просто-напросто случай».

Зато с каким удовольствием рассказывал нам Менделеев о том, как такие открытия делались не благодаря случаю, а научным путем <...>

Основным его приемом было: всегда и во всем выставлять вперед общее перед частным, и он не скрывал этого приема от нас, а, наоборот, зачастую подчеркивал его нам и определенно на него указывал.

«Эти частности удобопоймутся потом, когда вам станет ясным и когда вы овладеете тем общим началом, которое эти частности определяет и предугадывает».

«Если принципы науки станут вам ясными, то обладать ее методами будет вам гораздо удобнее, хотя не всегда есть надобность и потребность в этом, тогда как общее понимание предмета составляет неизбежное условие образованности и знания в силу непосредственную. Хотя это не даст вам золота, но для того, кто захочет привести это к золоту, тот сумеет привести это к золоту».

«Во всем дальнейшем изложении мы будем располагать все элементы по тем сходствам химическим, которые они имеют. Тогда получается громадная выгода: не только краткость изложения, но и, — что всего важнее, — возможность проникнуть в сущность предмета: вместо того, чтобы индивидуумы изучать, мы изучаем целый род. Мы изучаем целый класс, род. Следовательно, обобщение стоит здесь на первом месте, а ведь свойство науки состоит главным образом в обобщении: разрозненное мы всегда можем и должны обобщить, и научные сведения суть не что иное, как обобщение».

«Польза, от этого происходящая, из предшествующего ясна; ее можно формулировать в виде чисел, в виде копеек, в виде рублей, но это незачем: если идея предшествующая вам ясна, до копеек вы сами доберетесь».

Необходимо отметить, что Менделеев, умелою рукою подводя нас к обобщениям, сжато и ясно излагая нам частности, не ограничивался при этом современным состоянием научных сведений, а всегда почти сообщал нам и исторический ход их развития — ход, понимание которого он считал необходимым для правильной оценки того, что принимается за истину теперь.

«Вы скажете, это — история, но от истории не вырваться, история есть неизбежная колея, по которой движется какой бы то ни было научный или общественный прогресс».

«Люди со всех сторон стараются проникнуть не только в прошлое, в начало вещей, но и в будущие судьбы, и, если начало, история, многим представляется абстрактно интересным — и интересно, так, но не так уж: это — прошлое, но оно очень важно, чтобы понимать правильно настоящее».

При этих исторических экскурсиях Менделеев рассыпал пред нами ряд ценных наблюдений над самым ходом научной работы человечества. Наблюдения и выводы эти мы тогда не могли оценить во всей их глубине, но они, западая в наше сознание, создавали у нас представление о развитии науки, как о чем-то целокупном, в чем отдельные личности являлись лишь наиболее яркими выразителями общего прогресса. Вот несколько относящихся сюда афоризмов Менделеева.

«Во всяком долго господствующем мнении должно смотреть на внутреннее основание; то, что долго держится, то имеет основание, во всяком случае рациональное, и служит лучшим базисом к появлению дальнейшего развития философской мысли».

«Таким образом исторически, если глубже усвоить предмет, не пропадает в сущности никакое даже неправильное историческое движение, хотя и видоизменяется. Нельзя считать, нельзя думать, что некоторая эпоха исторического движения представляет собой для философской мысли полную остановку, — нет, всякие процессы, ряд процессов совершается и тогда».

«Так всегда в истории науки: прошлое всегда, так сказать, иллюстрируется новым, и ничто само собой не выступает, но есть грань, есть момент в истории, когда совокупность прошлого уясняется чрез новую мысль или новый ряд исследований, — и это составляет известную эпоху в истории научного развития каждого предмета».

«Так всегда бывает, что за основателя истинного данного рода учения надо считать того, кто обнял предмет во всей его целости и его практическую и теоретическую стороны увидал и, разорвав завесу, показал всем: „вон где настоящее объяснение всего того, над чем недоумевали все другие". И тогда только, когда так раскрывается предмет, тогда он становится действительно всеобщим достоянием» <...>

«Многим представляется даже и ненадобным иметь закон, потому что, говорят, и закон-то извлекается из фактов; следовательно, это — только сокращенное изложение фактов; следовательно, что же он прибавляет? Но вот теперь мы и остановимся над тем, что он прибавляет, и увидим следующее. Для такого человеческого дела, как изучение предмета, требуется ведь, если говорить о пользе и значении..., можно иметь в виду только пользу двоякого рода: во-первых, сокращающую время... ну, грубым образом выражаясь, — всякий знает из поговорки, что время — деньги. Следовательно, сокращение времени есть прямая польза, которая для тех, кто денежное понимает, может быть перенесена

к денежной. Это — одна сторона, которую я сейчас и выставлю по отношению к этому закону, а, во-вторых, узнание того, что мы не знаем, т. е., другими словами, обладание предметом. Когда мы имеем факты, мы имеем только глаза, конечно разумом управляемые, но управляют-то нашими глазами внешние предметы; другими словами, мы становимся рабами фактов. Знание же требует... и его основная задача есть обладание фактами, т. е. иметь такой факт, которого не видели глаза, не имели руки, и который познается, воспринимается органами чувств только благодаря закону».

«И везде, чем больше мы понимаем предмет и чем лучше мы понимаем предмет, тем ближе он к простым арифметическим выкладкам: дважды два — четыре, или к простому счету 1, 2, 3... — сводятся самые отдаленные, самые по видимости необыкновенно сложные понятия и отношения. Так и в астрономии, так и в физике, так и во всех остальных областях, достаточно изученных; если область запутана, если нам в явлениях кажется чрезвычайная запутка, а не простота, то это не противоречит сказанному, но это только значит, что предмет недоисследован, что надо еще в нем разобраться, что в этой сложности надо доискаться всегда действующей простоты, которая при полном знакомстве с предметом и представляется».

«А очевидно, что закон должен быть таким, который не представляет не только исключений, но и не представляет каких-нибудь частных случаев. Иначе, это не есть закон природы, а мнемоническое правило вроде грамматических, за которыми всегда следуют исключения».

Подвергая критическому рассмотрению каждый закон, который он излагал нам, Менделеев всегда старался делать это возможно беспристрастно, и, относясь с полным уважением к противоположным воззрениям, — и не раз предостерегал и нас от предвзятых мыслей.

«Умейте всегда перенестись на точку зрения противоположного мнения — это и есть то, что есть истинная мудрость. Науку забудьте, а это умейте оставить у себя на всю жизнь».

«Передовые наблюдатели и характеризуются тем, что они видят все, что рядом случается; они наблюдают без предрассудков и видят все случайные побочные явления».

«Только благодаря известного рода предрассудкам или убеждениям, мы не подмечаем часто того, что помимо этого совершается. Такого свойства вы должны вынести из университета убеждения в том, что значение мысли предвзятой таково, что она может заставлять людей видеть только то, что им желательно видеть, и то, что против их интересов, пропускать мимо глаз и мимо ушей и не обращать на него внимания. Научное значение имеют, в особенности, те лица, которые наименее этим свойством заражены; свобода мнений, свобода отношений к природе есть главное достоинство, дает главную, единственную возможность найти нечто новое, важное и нечто такое, что движет вперед. Без этой свободы отношений к предметам природы, без, как сказать, способности оторваться от предрассудков немыслим истинный ученый, хотя возможно

и быть очень тщательным работником в науке, вполне погружаясь в известного рода предрассудки».

Такую же добросовестность, какую рекомендовал нам Менделеев, проявлял он и сам, откровенно говоря нам, что — ясно, что — неясно, предостерегая нас от излишнего доверия к «последним словам науки», которые некоторые из наших профессоров, лишенные чутья исторического хода науки, выдавали нам за непогрешимую истину <...>

Менделеев почти никогда не упоминал себя, говоря даже о тех отделах науки, которые были им созданы. Особенно бросалось это в глаза на лекциях о периодической системе, слушать изложение которой ее творцом сходились не только обычные слушатели Менделеева.

Говоря об этой системе, он ни разу не назвал своего имени, заменяя его словами «периодическая система», «периодический закон», что придавало какой-то своеобразный оттенок изложению. И при этом Менделеев крайне сдержанно обрисовывал и состояние химии до провозглашения им периодической системы, и тот порядок, который она внесла <...>

Не называя себя при изложении того, что его гениальною во многих отношениях мыслью внесено в науку, Менделеев охотно делился с нами воспоминаниями из своего личного опыта или сведениями, полученными им лично из сношений с современными ему представителями научного мира, — и их имена поднимали на еще большую высоту в наших глазах нашего великого учителя. Вот два-три примера таких отступлений:

«Это было в шестидесятом году. Химики всех стран — Англии, Германии и человек восемь — и я уже был тогда там — русских — собрались, чтобы обсудить этот вопрос (об установлении атомных весов)».

Всякого рода такие собрания и съезды такого рода представляют действительное научное торжество весьма большого значения и всегда кладут отпечаток на все дальнейшее течение времени, потому что здесь в очень близком общении людей разных оказывается нечто такое, что разрозненное, разъединенное может исчезать совершенно от химиков.

Но в деле свободной науки кто же станет уступать свои идеи? Даже для конкордата — и то в идеях — нет основания для какого бы рода ни было соглашения, потому что люди действуют только ради одного чистого, простого и свободного интереса до снижения истины. И если считали же дело истинным, то как же и истину и для какого бы то ни было соглашения уступать, когда и составляется это понятие для достижения абсолютной простоты и истины? А потому, формальным образом, тот, кто видит только снаружи, — тот, кто смотрит на явление со стороны, чисто внешней, — что должен был сказать? „Этот конгресс ни к чему не привел: люди собрались со всего света, чтобы решиться на химическую азбуку, и ни к чему не пришли". Так грубая форма обычного здравого смысла и судит о вещах, которые он совсем не понимает... Не будь этого конгресса, дело значительно затянулось бы и представлялось бы

последователям Жерара: „да что же, там ничего не понимают; ясно, что они не видят того, что нужно видеть", а у противников Жерара было бы убеждение: „да там есть отступления, следовательно, они поступились для техники"; разговаривали на конгрессе как будто о разного рода других вещах, а убеждались, что оснований гораздо больше, чем они представляли.

Вот встреча многих и важна, и нечто подобное со всякими подобного рода конгрессами и случается. Но, как этот неосязаемый результат, осязаемость которого становится ясной только с течением времени, выступила здесь до осязаемых результатов... И хотя все разъехались с тем, что всякий будет писать так, как ему нравится, но уже через два года ни один журнал не принимал статьи, где бы не было Жераровских обозначений. Вот результаты!» <...>

Прибегая к таким сопоставлениям и сравнениям, подчеркивая постоянно историческую сторону, указывая на связь теории с практикою, обращая наше внимание на общее в противовес частному, вводил нас постепенно Менделеев в глубь леса химической премудрости, такого густого и темного с первого взгляда и обнаруживавшего такие удобные и расчищенные тропинки и дороги под магическим жезлом нашего любимого профессора.

В течение первого полугодия мы спокойно наслаждались лекциями Менделеева, но начатому спокойно курсу не суждено было спокойно окончиться. Во втором полугодии начались студенческие волнения, — и первый след их я нахожу в своих записках в следующих заключительных словах первой лекции 21 февраля 1890 (Менделеев всегда читал по две лекции: от 12 до 1 и от 2 до 3, с часовым перерывом): «Остальное я в следующей лекции скажу; я ее читать буду» — и в последующей моей отметке: «Второй лекции не было». Через три недели, в течение которых был уже ряд сходок, а неспокойное настроение студенчества разрасталось и разрасталось, Менделеев уже определенно закончил первую свою лекцию 14 марта: «Я надеюсь следующую лекцию так же спокойно прочитать, как и эту, потому что я убежден, что вы дадите возможность кончить курс, — и вам это надобно, и мне тоже надобно». <...>

Эта готовность Менделеева способствовать нашему прозрению и успокоению не ограничивалась его уговорами нас, а выразилась также согласием передать министру петицию студентов.[9] На следующий день в X аудитории в 12 часов была назначена сходка, на которой предполагалось вручить ему эту петицию. Задолго до 12 часов большая, полутемная X аудитория, вмещавшая человек 400, стала наполняться не только обычными слушателями Дмитрия Ивановича, — а к 12¼ часам в ней набралось человек 700—800, усевшихся возможно близко друг к другу на скамьях, в проходах, на окнах. Когда вошел Менделеев, раздались такие стихийные, неудержимые аплодисменты, каких, кажется мне, ни до того, ни после того мне не приводилось слышать. Менделеев несколько раз пытался начать говорить, махал рукою, как бы умиротворяя эту бурю, — и наконец уселся на кресло и стал ждать. Аплодисменты про-

должали, казалось, все громче и громче отбиваться полутора тысячами рук, но вот справа сверху раздалось авторитетное «ш... ш...» и все смолкло. При гробовой тишине, особенно резкой после предшествовавшего шума, Менделеев встал с кресла, подошел к столу, оперся на него обеими руками, подогнув к себе пальцы, и произнес: «Марганец встречается в природе...» Это было так неожиданно для нас, собравшихся на сходку, а не на лекцию химии, что все прыснули со смеху,— рассмеялся и сам Менделеев, но тем не менее закончил фразу: «...в самых разнообразных видах».

И началась лекция о марганце и железе — лекция, которой, вероятно, до глубокой старости не забудут те, кто на ней присутствовал. После нескольких фраз о том, в каких видах встречается марганец в природе, Менделеев указал русские месторождения его, — и затем произнес приведенное выше горячее обращение к «собравшимся слушать химию» способствовать развитию промышленности России. Описав далее применения марганца, он остановился на возможных по периодической системе, но еще не открытых аналогах марганца,— и опять обратился к нам с вдохновенным — тоже приведенным выше — обращением стать адептами чистого знания. Затем Менделеев дал выпуклую общую характеристику VIII группы, перешел к железу, начал с аэролитного железа и указал, что «первоначально народы и думали, исходя из этих абстрактов, которые у людей так часто укрепляются до... до... до... до забвения всего окружающего, и, очевидно, представлялись им аэролиты, как нечто в самом деле ниспосылаемое для лучших целей откуда-то сверху». Выяснив современную точку зрения, он сказал:

«Мы имеем таким образом два пути узнать то, что прямо руками Фома неверный испытать не может, а именно: свет, идущий от небесных тел, и аэролиты, иногда случайно падающие, к которым может прикоснуться и Фома и убедиться в том, в чем убеждает и исследование света,— то небесное пространство по составу, по свойствам вещества ничем не отличается от земного пространства. Ах, когда знаешь, что такие высокие области, такие тайные откровения, такие совсем не достигаемые через мечтания или желания или всякого рода какие бы то ни было так сказать... измышления классического свойства,— достигаются такие понятия совершенно нового свойства, тогда убеждаешься воочию, что в самом деле путем действительного знания, сопряженным с трудом и с необходимостью узнать, учиться, работать в лабораториях и узнавать многое, что этим путем в самом деле можно раскрыть и уже раскрывается много таких сторон мировых отношений, которые помимо этого никто, самое пылкое воображение не в состоянии было бы изобразить. И, хотя и говорят, что в классиках найдешь все то, что потом найдено, но это относится только к бредням разного рода, а когда дело касается действительных открытий, — в самом деле, снятия завесы с природы,— тогда там этого не найдешь. Там не найдешь того, чтобы было не только доказано, но и предугадано, что в пространстве носятся тела, такие же, как земля,— и нету свидетельств и указаний на то, что

они таковы же, как земля, и что кроме этих видимых планет есть еще маленькие, невидимые, от наблюдения ускользающие, но нам проявляющиеся или в падающих звездах, или в особых аэролитах, носящихся, как и земля, около солнца и падающих на землю. Ничего подобного, ничего, ни китайского, ни латинского, ни греческого образованностью не представлено, — а это стало истиной, а в этом есть вам возможность самим убедиться не только в тех доказательствах, которые мы вам даем с кафедр, но и самим вам предстоит возможность убедиться воочию в том, что это справедливо.

Когда такого рода сведение может дать университет, приводит к такому источнику, пить из которого доставляет, в самом деле утоление жажды истины, тогда невольно является... как сказать... горечь от того, что наши труды, наши усилия водворить в вас эти сведения пропадают иногда даром. Все это на старый классический порядок,— я думаю и всегда везде утверждаю, что это от того, что вас учили долго на классическом вздоре. Я не вам только это говорю, я везде это говорю и всегда это говорю и с этой кафедры это говорил и говорю» <...>

Еще одна экскурсия в сторону — о добывании железа у нас и в Швеции — и под гром аплодисментов кончилась эта замечательная лекция. В часовой промежуток между лекциями Менделееву была передана петиция, и вторую лекцию Менделеев читал уже при обычной обстановке — и без такого подъема, как первую, и вместе с тем без таких отступлений, как на первой.

Но петиции, поданной от лица студентов, которые рассматривались уставом и министром (Деляновым), как «отдельные посетители университета», министр не принял,[10] и на следующий день мы узнали об этом и о решении Менделеева подать в отставку.[11] На следующий день состоялась только одна его лекция, а потом снова — сходка «на классический манер» и т. д. Дело кончилось введением отряда околоточных и полицейских в шинелях и в фуражках в наш университетский коридор, и мы видели, как Менделеев — Менделеев — плакал, видя такое поругание того, что для него и для нас являлось святыней, и как Д. П. Коновалов и В. Е. Тищенко успокаивали его,— подавали ему воду и увели его, наконец, в лабораторию.

После кратковременного перерыва возобновились лекции, на которые значительно поредевшие от многочисленных арестов ряды слушателей входили сквозь строй из двух рядов полицейских,— и подавленный и грустный дочитал нам Менделеев курс, подавленные и грустные дослушивали мы эти лекции. Когда после первой такой лекции мы по обыкновению зааплодировали ему, он остановил нас словами:

«Пожалуйста, не делайте этого, будьте спокойны».

Три лекции только прочел он нам таким образом, и, закончив ими курс, конец последней лекции посвятил приведенному выше разъяснению нам «духа университетского» и, в последний раз постаравшись внушить нам «стремление достигнуть истину саму по себе», произнес с дрожью в голосе следующие последние слова:

«Желаю вам достигать ее самым спокойным образом и покорнейше прошу не сопровождать мой уход аплодисментами по множеству различных причин!..»

Подчиняясь воле властителя наших дум, мы, как один человек, встали и с тяжелым сердцем и чуть не со слезами на глазах в полном молчании вышли из аудитории...

Любопытно, что и последняя лекция в первом полугодии тоже не сопровождалась аплодисментами, потому что Менделеев закончил ее несколькими яркими словами «о той потере, которую понесла Россия со смертью Сергея Петровича Боткина»,[12] и в память его попросил «всех встать».

Но если тогда Менделеев мощью своей речи заставил нас почувствовать потерю России, то теперь мы и без его слов глубоко чувствовали невознаградимую потерю, понесенную нами, невознаградимую потерю, понесенную университетом, — потерю того, кто не был просто хорошим ученым и толковым посредником между студентами и наукою, а был великим ученым и истинным профессором университета в самом широком и благородном смысле этого слова.

Д. П. Коновалов

А. М. БУТЛЕРОВ В СВОЕЙ ЛАБОРАТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Бутлеровская лаборатория, весьма скромная по размерам, вмещала около десятка его учеников, но среди них, на виду у всех, работал он сам. Среднюю комнату в два окна занимал он сам со своим ассистентом.[1] С двух сторон к этой комнате примыкали две комнаты для учеников, а с третьей, небольшая в одно окно комната, где помещалась библиотека и весы, которыми пользовался и сам А. М.[2] Каждый, проходивший в весовую и библиотеку, должен был пройти мимо места, где он работал. Нередко он обращался к проходившему с вопросом или отвечал на вопрос проходившего, иногда вступая с ним в беседу, нередко рядом с ним сидел какой-нибудь приезжий профессор-химик, и между ними шла оживленная беседа. Все эти разговоры А. М. вел, не прерывая своей экспериментальной работы, артистически выполняя отдельные ее операции. Эту его способность делать экспериментальную работу, ведя в то же время разговор, отмечали в своих воспоминаниях его ученики после его смерти и одинаково ею поражались. Нас, начинающих, эта доступность А. М. во время его работы приводила в восхищение и служила для нас школой наглядного обучения.[3]

А работал он, действительно, артистически. Особенно поражало его уменье работать с малыми количествами, пользуясь особо конструированными приборами, которые он сооружал сам, мастерски работая за паяльным столом и тщательно отделывая и подгоняя все части прибора.

Уменью обработки стекла за паяльным столом он придавал большое значение и иногда, в свободную минуту садился за паяльный стол и занимался выдуванием разных вещиц, чтобы не терять навыка в работе. Около него в это время собирался обыкновенно кружок работающих в лаборатории, с которыми он вел в то же время беседу. Иногда он приглашал в лабораторию стеклодува-профессионала и предлагал ему выделывать на лабораторном паяльном столе разные более слож-

ные приборы, как кали-аппараты, дефлегматоры и т. п. При этом около стеклодува собиралась группа зрителей из состава лаборатории. Пример учителя действовал заразительно на учеников. Постоянно можно было видеть за паяльным столом то одного, то другого из работающих в лаборатории, занятого упражнением в работе со стеклом, и в этом некоторые из персонала лаборатории уже достигли значительного совершенства. Старались также подражать учителю в целесообразном составлении прибора, в тщательности подгонки частей и т. п.

С поставленной мне задачей приготовления гликолевой кислоты я справился довольно быстро. В указанной выше лабораторной обстановке я легко освоился с простейшими, новыми для меня приемами работы по органической химии, а нужные для меня литературные справки я с помощью М. Д. Львова легко нашел в библиотеке лаборатории. Представляя результаты моей работы, я явился за получением темы. После недолгого размышления А. М. Бутлеров предложил мне заняться изучением действия азотной кислоты на изодибутилен с целью выяснить, не образуются ли при этом настоящие нитросоединения. При этом он обратил мое внимание на возможность ожога кислотой вследствие взрыва во время реакции, советовал избегать работы с большими количествами, рекомендовал иметь во всяком случае под рукой водопроводный кран и приучиться находить его с закрытыми глазами с тем, чтобы иметь возможность немедленно после взрыва погрузить голову в сильную струю воды, а затем обратиться к обычным в лаборатории средствам. Ожоги случались в лаборатории нередко, и всегда была наготове для смазывания обожженных мест смесь прованского масла с известью.

Размышляя теперь о полученной мною теме, я нахожу, что она вполне соответствовала той цели, с которой я пришел в лабораторию. Чтобы приступить к изучению предложенной реакции, надо было пройти длинный путь приготовления изодибутилена — углеводорода незадолго перед тем открытого, изученного и описанного А. М. в одной из его классических работ. Надо было выучиться новым для меня приемам работы с газами, запаиваемыми в стеклянных трубках сжиженными охлаждением. Вся эта подготовительная работа явилась для меня отличной школой экспериментальной работы. Оставалось достаточно времени и для изучения превосходного мемуара Бутлерова о изодибутилене.[4] Его получение мне долго не давалось. Именно последняя операция, — выделение слоя изодибутилена нагреванием до 100° в запаянной трубке раствора изобутилена в серной кислоте, — мне регулярно не удавалась: дно трубки отскакивало, и ее содержимое со взрывом выбрасывалось. Приходилось начинать все сначала. В лаборатории царило бодрое настроение, мои сотоварищи не скупились на советы, как помочь беде, и я бодро переносил свои неудачи.

Последняя моя неудача, когда я, казалось, был близок к цели, сопровождалась комическим эпизодом, который я хочу рассказать для характеристики отношений, бывших в лаборатории. С утра я тщательно

приготовил трубку, запаял в ней раствор, погрузил в водяную баню и не сходил с места, следя за прибором. Все шло благополучно. Была взята трубка довольно большого диаметра, и я с удовольствием наблюдал появление маленького слоя изодибутилена, который затем быстро возрастал. Опыт приближался к концу. При помощи мерки я убеждался, что рост слоя приостанавливается. Приближалось время обеда, и я решил воспользоваться этим временем, чтобы убедиться в наступлении конца реакции. Я сообщил своим соседям, что я ухожу на короткое время и оставляю свой прибор на ходу с тем, чтобы по возвращении закончить операцию. Легко себе представить мое волнение, когда я, вбегая в лабораторию, издали увидел кончик моей трубки, спокойно торчавшей из ванны. Наконец! Наконец, удалось довести до конца операцию приготовления исходного материала моей работы. Все остальное было просто, его промывка, сушка и перегонка не представляли затруднений. Я принялся осторожно вытягивать трубку из ванны, чтобы смерить всплывший слой, которым я столько раз любовался перед уходом. Но что случилось? Слоя не было, в трубке была однородная жидкость. «Куда девался слой?»— пробормотал я растерянно про себя. Тот же вопрос повторил я громче, обращаясь к группе окружавших меня сотоварищей, молча следивших за всеми моими движениями. В ответ на мой вопрос раздался гомерический хохот.

Оказалось, что тотчас после моего ухода моя трубка лопнула, и ее содержимое выброшено. Зная мои огорчения от предшествующих неудач, желая ослабить впечатление от гибели этого почти законченного опыта, решили остаться всем до моего возвращения, поставив в ванну вместо лопнувшей трубки новую, на нее похожую. Такая трубка была найдена, и в ней была запаяна вода. Эту трубку я и нашел по возвращении в лабораторию. Шутка достигла своей цели. Узнав о своей неудаче, я, окруженный товарищами, скоро перестал предаваться отчаянию, стал спокойно выслушивать их советы, не принимать слишком близко к сердцу неудачи в работе и начал откликаться на их веселость. На следующий день я с новой энергией принялся за работу, научился работать с запаянными трубками, и описанная здесь неудача приготовления изодибутилена была последней. Я мог с полным успехом воспроизвести получение изодибутилена, описанное А. М. Бутлеровым в его знаменитом мемуаре, что само по себе доставляло мне удовлетворение, а затем мог и перейти к своей теме.[5]

Немалое оживление в жизнь лаборатории вносили два бывших ее питомца, Е. Е. Вагнер[6] и Д. П. Павлов, занимавшие места в лабораториях университета и не терявшие связи со своим старым гнездом. Е. Е. Вагнер был ассистентом в аналитической химии Н. А. Меншуткина, Д. П. Павлов, брат ныне здравствующего физиолога И. П. Павлова, был лекционным ассистентом Д. И. Менделеева и работал в его лаборатории рядом с бутлеровской лабораторией. Оба часто приходили в нашу лабораторию, знали всех работающих и интересовались работами. С ними, как с уже опытными органиками, охот-

но вступали в беседы, и оба пользовались общими симпатиями, в особенности Д. П. Павлов, благодаря своему живому общительному характеру и так же благодаря тому, что его казенная квартира рядом с лабораторией служила для всех как бы сборным пунктом. Не оставался в стороне и М. Д. Львов, много хлопотавший о хозяйстве лаборатории, снабжавший всех необходимым для работы и охотно дававший советы всем, к нему обращавшимся. Все трое ныне уже покойные скончались профессорами: Вагнер, выдающийся органик,— профессором Варшавского Политехникума, Львов — Петербургского технологического института и Павлов — Института сельского хозяйства в Новой Александрии.

Беседы в лаборатории вращались в сфере частных вопросов строения тех или иных веществ, выдвинутых поступательным движением науки. Основы теории строения, ее общее содержание, формулированные в свое время при деятельном участии А. М. Бутлерова, считались бесспорными, и к ним уже более не возвращались. Хотя кое-где, в особенности во Франции, под влиянием М. Бертело, сохранялось отрицательное отношение к этой теории, все же для массы было ясно, что теория строения в этой именно формулировке призвана руководить широко развертывающимся прогрессом науки в области органической химии. Стоя на страже теории строения, А. М. Бутлеров уже, по-видимому, не находил для себя большого интереса в защите ее основных положений.[7] Мысли его уже направлялись дальше в сторону вопросов, касавшихся основных понятий химии. Каковы были эти вопросы, я вскоре узнал из одного разговора в лаборатории.

Однажды, проходя в библиотеку, я услышал оживленный разговор А. М. с его ассистентом М. Д. Львовым, к которому прислушивалась небольшая группа работавших в лаборатории. Я примкнул к этой группе и стал вставлять и свои замечания. А. М. высказывал свои, в то время совершенно необычайные, мысли относительно возможности колебаний атомных весов. Несмотря на высокий авторитет А. М., его тогдашние слушатели не воспринимали его новых мыслей. Со всех сторон сыпались возражения. Разговор ничем не кончился. На другой день А. М. вызвал меня в свою комнату и предложил мне высказать свое мнение о слышанном разговоре. Я, в то время, можно сказать, пропитанный еще свежим тогда законом сохранения энергии и еще в гимназии зачитывавшийся превосходным популярным сочинением Тиндаля «Теплота как род движения», примкнул со всем пылом к его оппонентам. В этот раз меня особенно поразили терпение и внимание А. М., с которыми он выслушивал возражения. Выслушав меня, он сказал: «Все это я знаю, но и мою позицию мог бы защищать тоже мнением авторитета. Все дело в опыте. Найдем ли мы достаточно тонкие средства, чтобы обнаружить то, что я предполагаю». В заключение он привел мнение того авторитета, на которое он ссылался, именно, мнение Араго: «Неблагоразумен тот, кто вне области чистой математики отрицает возможность чего-либо».

Разговор на поставленную А. М. Бутлеровым тему в лаборатории не возобновлялся. Но свои мысли, свои поиски нового в этой области он не оставил. Он поставил впоследствии, при содействии одного из наших сотоварищей по университетской лаборатории Б. Ф. Рицца,[8] опыты по этому предмету, но уже в своей академической лаборатории. Об этих опытах он упоминает в небольшой «Заметке об атомных весах» в *Журнале Русского Физико-Химического Общества* 1882 г. В этой заметке А. М. Бутлеров излагает свои соображения, побуждающие его допускать возможность отклонений от закона постоянства состава химических соединений с сохранением их химических свойств, т. е. возможность некоторых колебаний атомных весов элементов. Считая гипотезу Праута отвечающей действительному закону природы, он объяснил небольшие отклонения от целых чисел в находимых опытом величинах атомных весов, именно такими колебаниями величин атомных весов. Своих опытов он не закончил. Через четыре года после этой заметки А. М. Бутлеров скончался, не дождавшись той новой эры, которая обогатила науку новыми методами исследования, позволившими дать опытное разрешение занимавших его вопросов <...>

Мысли А. М. Бутлерова, выраженные в его небольшой заметке 1882 г., находят теперь блестящее подтверждение в учении об изотопах, но тогда они опередили свое время и не привлекли к себе внимания <...>

В моих воспоминаниях о нем последним ярким аккордом прозвучало посвященное его памяти торжественное собрание под председательством Д. И. Менделеева 11 января 1887 г. В ряде очерков, предназначенных для этого собрания и напечатанных затем в *Журнале Русского Физико-Химического общества*, обрисовывалась вся его жизнь во всех проявлениях его богато одаренной натуры. Особенно сильное впечатление производили эти показания живых свидетелей его деятельности, профессоров, его учеников и сотрудников, характеризовавших школу Бутлерова, начиная со времени ее возникновения в Казанском университете и кончая последним периодом в Петербургском университете.[9] Беспримерный успех сопровождал его деятельность. В недолгий период около четверти века при нем русская химия заняла одно из первых мест в Европе. Из его школы при нем вышел ряд выдающихся химиков-профессоров наших высших школ <...>

И. М. Сеченов

ПРОФЕССОРСТВО В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1876—1888)

Приезд из Одессы в Петербург[1] памятен мне тем, что на другой день по приезде был тот единственный майский мороз в 6° по всей России, до Кавказа и Крыма включительно, которым задержалась древесная растительность чуть ли не до половины лета. Приехал я с юга, конечно, в летнем платье, остановился у зятя Михайловского и, имея на другой день представиться министру, принужден был ехать туда в енотовой шубе зятя. Университетское начальство приняло меня любезно и дало отпуск на каникулярное время.[2] Лето я прожил в имении жены,[3] и с этих пор наша семейная жизнь стала, наконец, оседлой, без временных разлук и переездов с места на место. Поселились мы на Васильевском острове, этой милой университетской части города, благо все наши родные и друзья (между ними и Софья Васильевна Ковалевская с мужем[4]) жили там же.[5]

К Петербургскому университету того времени и к его физико-математическому факультету в особенности я преисполнен по сие время великого уважения. Не говоря о том, что сидеть рядом с такими людьми, как Чебышев, Менделеев[6] и Бутлеров, было для меня большой честью, — университетская коллегия того времени представляла поразительный пример дружного единодушия по всем насущным вопросам университетской жизни. Посещая аккуратно заседания факультета и совета, я за все одиннадцать лет не был свидетелем ни там, ни здесь ни единого враждебного столкновения, ни единого грубого слова. А между тем университет переживал тогда очень трудные времена, и ему приходилось заниматься иногда очень щекотливыми вопросами. Известно, что в 70-х годах прошлого века правительственная реакция против анархистского террора достигла апогея и выразилась, между прочим, целым рядом административно-полицейских воздействий на быт студентов. Дошло до того, что студентов, замешанных в университетских беспорядках, лишали по окончании курса прав поступать на государственную служ-

бу, т. е. лишали прав за дисциплинарные проступки. Несчастного устава г. Делянова,[7] отделившего студентов от профессоров пропастью, тогда еще не существовало, и петербургская профессорская коллегия не сочла себя в праве молчать. По предложению некоторых профессоров была образована комиссия для рассмотрения дела и составления защитительной докладной записки министру, что и было сделано. В совете нашлось только два человека, не подписавших этой записки <...>

Кончилось, конечно, ничем — министр ответил выговором коллегии и замечанием, что забота о судьбе студентов предоставлена начальству, а не профессорам <...>

В конце 70-х годов жить в Петербурге, да еще в университетских кварталах города, было не особенно приятно: улицы кишели «гороховыми пальто»[8] для наблюдения за обывателями вне домов, а внутри домов жильцы были отданы под присмотр дворников и через них под присмотр прислуги. В самые смутные годы этого тяжелого времени мы жили с женой в 4-й линии, почти на углу Большого проспекта, и одно время прямо против нас в 5-й линии был, должно быть, очень подозрительный для полиции дом. Наша тогдашняя прислуга, очень добрая и хорошая женщина, относилась не без участия к трудностям службы «агентов», ежедневно дежуривших днем и ночью на углу нашей улицы и Большого просп., признавая в то же время, что они получают хорошее вознаграждение, 50 руб. в месяц. На ночь, по ее словам, один из агентов получал от нашего дворника стул и, поселившись на чердаке нашего дома, наблюдал за верхними этажами противоположного. По счастью, прислуга наша не имела предательской наклонности подслушивать за дверьми, и лично мы пережили смутное время благополучно. Однако мне все-таки довелось притти случайно в прикосновение с историей, возникшей по доносу прислуги. В те годы один из моих учеников, В.,[9] наиболее способный из всех работающих в моей лаборатории, жил с двумя родными сестрами по-семейному, т. е. они нанимали общую квартиру, держали кухарку и стряпали дома. Брат кончал курс в университете, старшая сестра училась на медицинских курсах, а младшая была бестужевка,[10] составляла лекции по физике и литографировала их, вследствие чего на квартире было множество исписанной бумаги и корректурных листов. Обстоятельство это показалось кухарке подозрительным, и по ее доносу в одну прекрасную ночь всех троих взяли после тщательнейшего обыска мебели, постельных тюфяков и даже стен (это я узнал от арестованных). Узнал я о постигшей их судьбе от одного из приятелей В. на другой же день от ареста их и узнал от него же, что арест был произведен не тайной, а явной полицией.

Зная В. в течение нескольких лет как человека, занимающегося со страстью и с успехом научными вопросами — нервами, а не политикой (в то время он уже напечатал в немецком Архиве Пфлюгера превосходную работу) и уверенный поэтому в его политической невинности,[11] я написал о нем пространную докладную записку и явился с ней в обыч-

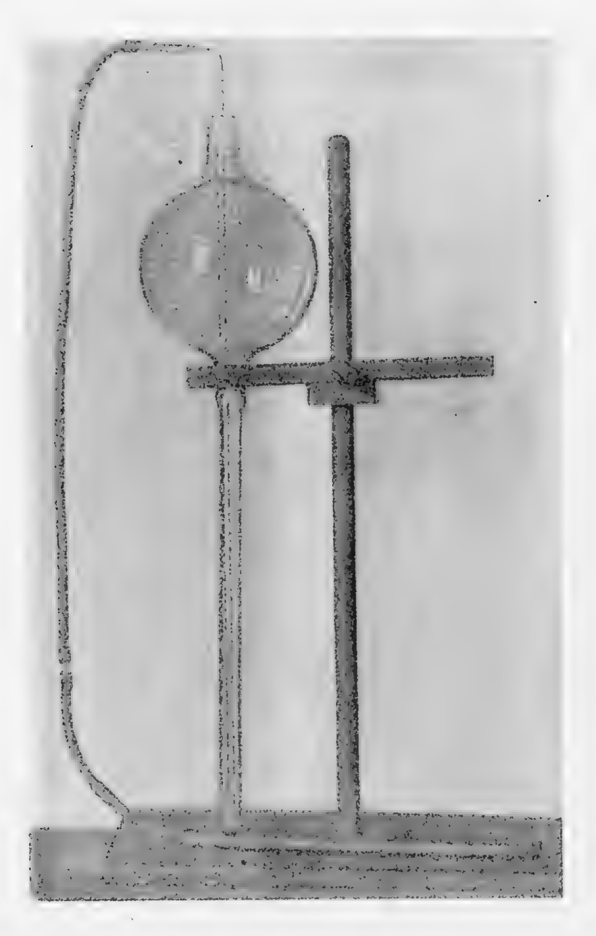
ные приемные часы к обер-полицеймейстеру Грессеру. Он сначала стал было отнекиваться, когда я заявил, что В. арестован его полицией, но, наконец, смиловался, навел справку и, убедившись в справедливости моего заявления, просил притти к нему за ответом дня через два, что я, конечно, и сделал. При моем появлении в кабинете он распорядился, чтобы привели арестованных и отпустил их на волю с наставлением быть осторожными в такие времена (не считая, конечно, такой необходимости для своих агентов), а меня по их уходе отпустил с заявлением, что доверяться теперешней молодежи невозможно <...>

Из других событий этого периода петербургской жизни приведу еще два: историю с академией наук и историю с званием заслуженного профессора <...> Дм. Андр. Толстой[12] отнесся ко мне очень дружелюбно и перевел меня в Петербург. Здесь в первые годы его благорасположение, очевидно, продолжалось потому, что раз я удостоился вместе с проф. Орестом Миллером[13] чести быть приглашенным к нему на обед, где мы оба имели, впрочем, вид не дорогих гостей, а оглашенных, так как хозяйка дома,* кивнув нам издалека головой, во весь обед не удостоила нас ни взглядом, ни словом. Вероятно, благорасположение Дм. Андр. ко мне продолжалось и долее, когда он сделался министром внутренних дел и президентом академии наук, потому что нежданно-негаданно для меня Ягич[14] (тогда профессор в университете и академик) обратился ко мне с вопросом, пойду ли я в академию, если меня выберут <...> я дал согласие. Вслед за этим Овсянников[15] попросил у меня список моих работ; дело представления пошло, и мне стало известно, что в отделении я избран. Вскоре за тем <...> случилось следующее обстоятельство. Дело было весной, в утро праздника Вознесения; иду я по Васильеостровской набережной в лабораторию и недалеко от университета, вероятно задумавшись, прохожу мимо идущего навстречу господина, не узнавая его в лицо; но, пройдя мимо, узнаю, что это был Дм. Андр. Узнай я его в минуту встречи, я, конечно, не преминул бы поклониться ему; но теперь возвращаться назад с извинением было поздно, и я не вернулся. Через несколько дней мне сообщили, что президент академии положил на мое избрание вето, и я не был допущен до баллотировки в общем собрании.[17]

Возможно, что в некоторой связи с этим академическим инцидентом стояло и другое мое фиаско, хотя деятелем здесь был другой граф — Иван Давыдович.[18] Не помню, каким образом, сам ли я догадался, или кто меня надоумил, но только в 1887 г. я вспомнил, что профессорствую уже 27 лет, а за вычетом года отставки между медицинской академией и Одесским университетом — более 26. Когда я заявил об этом в университетской канцелярии, поднялось дело о моем представлении в звание заслуженного профессора.[19] Много ли, мало ли прошло затем времени, но раз сижу я в совете, и прочитывается, между прочим, бумага от министра, в которой заявляется отказ на представление, потому,

---

* Дочь знаменитого киевского сатрапа Бибикова.[16]



Прибор, сконструированный И. М. Сеченовым.

дескать, что из 26 лет следует вычесть 10 лет, проведенных мною, профессором, в медицинской академии. Нужно заметить, что на меня первого обрушилась буква закона, по которому звание заслуженного получают лишь лица, профессорствовавшие 25 лет в университете, потому что еще за год до того профессору статистики были зачтены в университетскую службу годы профессорства в Горыгорецком институте. Это было тем более непоследовательно, что медицинская академия, как медицинский факультет, совершенно равнозначна университетским факультетам. На этом основании, по прочтении министерской записки, ректор (Андр. Ник. Бекетов) обратился к совету с вопросом, не найдет ли он нужным обратиться к г. министру с просьбой отменить выслушанное решение. Но прежде чем совет мог высказаться, я с своей стороны обратился к нему с просьбой не делать этого, так как уступка со стороны г. министра имела бы значение оказанной мне милости, а милость я могу принимать только от государя, но никак не от министра. Много лет спустя, уже в Москве, к немалому моему огорчению и, конечно, без ведома с моей стороны, меня все-таки произвели в заслуженные, и я таким образом лишился желанного мною оригинального звания «незаслуженного профессора», несмотря на 40 лет профессорства <...>

Перехожу теперь к жизни в петербургской лаборатории.

Обстановка была более чем скромная. Лаборатория состояла всего из двух комнат — одной для профессора, другой для ассистента; инструментальных пособий было очень мало, бюджет маленький, и ко всему этому первые два-три года, пока не выработались из новых учеников

два дельных ассистента, пришлось пробыть без надлежащего помощника. Тем не менее я работал здесь очень удачно и качественно сделал в сущности больше, чем в какой-либо из прежних лабораторий. Одной из работ завершились все мои прежние исследования — поглощением CO_2 соляными растворами, а другою — опыты с тормозящими влияниями в сфере нервной системы <...>

Чтобы не сидеть при первом обзаведении на новом месте без дела, я приехал в Петербург с готовым планом продолжать одесские опыты с растворами солей. С этой целью тотчас же по приезде в Петербург (в начале мая) мною был заказан известному превосходному механику <...> (фамилию его забыл) абсорбциометр с тем, чтобы он был готов к сентябрю и удовлетворял ряду выговоренных наперед условий. Определить при заказе даже приблизительную цену инструмента он отказался, ссылаясь на невозможность указать заранее, сколько аппарат возьмет у него времени, так как подобных инструментов он никогда не делал; но механик был известен как крайне добросовестный человек, и я уехал на лето в деревню без всяких предчувствий. В сентябре инструмент был готов и удовлетворял всем выговоренным условиям наславу; но когда мне была объявлена его стоимость —500 руб., вместо ожидаемых 150—200, я обомлел, потому что плата равнялась двум месяцам жалованья, а я жил почти исключительно на жалованье. Тем не менее механик был прав, потому что воспитался на работе астрономических инструментов, требовавших чуть не математической точности, привык работать с величайшей тщательностью и справедливо ценил такую работу очень высоко. Плата, не совсем по карману была, разумеется, вскоре забыта, и затем мне пришлось лишь радоваться инструменту, дававшему возможность подмечать с уверенностью более тонкие вещи, чем инструмент, с которым я работал в Одессе <...>

Итак, жизнь в лаборатории Петербургского университета принесла мне много счастливых минут [20] и немало горя. Известным утешением могли служить уже имевшиеся в руках доказательства, что работы дали мне некоторое имя на Западе, но могли ли они вырвать из души занозу, когда мне в конце чуть не десятилетней работы с CO_2 было сказано: «все, что вы сделали, очень хорошо, но частный случай; докажите ваш закон вообще на других газах».

Из-за положительной невозможности выполнить предлагаемое пребывание в петербургской лаборатории стало казаться мне бесцельным, даже неприятным, и я решил заменить профессорство более скромным приват-доцентством в Москве, где, по имевшимся сведениям, физиология не была в авантаже. С этой целью в 1888 г. я вышел в отставку [21] <...>

И. Зайцевский

СЛОВО О ЛЕСГАФТЕ

Мои воспоминания относятся к деятельности Лесгафта в период 1891—1895 гг., во время моего студенчества в С.-Петербургском университете, когда я прямо с гимназической скамьи попал на естественный факультет, на котором тогда числилось много славных имен в профессорской корпорации (Докучаев,[1] Бекетов, Меншуткин и др.). В числе этих заслуженных, чиновных, ординарных и экстраординарных профессоров лекции по анатомии читал скромный по чину приват-доцент — Петр Францевич Лесгафт. Лекции этого скромного приват-доцента являлись самыми популярными, самыми захватывающими из всех.

Мне вспоминается темная, низкая, грязная, небольшая аудитория анатомического кабинета, но эта невзрачная аудитория была всегда переполнена самыми восторженными, экзальтированными слушателями на лекциях Петра Францевича. Громоздясь, теснясь и прижимая друг друга, шумная, молодая и жизнерадостная толпа естественников заполняла снизу доверху эту небольшую комнату, которая носила громкое название «анатомический кабинет». Кабинет этот помещался <...> во втором этаже, почти по середине длинного университетского здания.

В эту невзрачную комнату на лекции Лесгафта часто помимо естественников собиралось много и из других факультетов. Очень часто юристы, филологи и математики приходили его слушать. Так занимательны, так захватывающе интересны были лекции Петра Францевича![2]

Бил урочный час и, ни минуты не пропуская, в аудиторию входил любимый профессор.[3] Шумливая и разноголосая толпа первокурсников мгновенно замолкала, когда в дверях появлялась его небольшая живая подвижная фигура в черном сюртуке с умным огромным лбом и молодыми быстрыми, проницательными глубоко сидящими глазами. В это же самое время входил его неизменный спутник и по-

мощник, сторож Василий, который то нес целый ворох костей, банок и препаратов, то с особой заботливостью вносил целый человеческий скелет.

Как даровитый ученый и замечательный оратор, Лесгафт двумя-тремя фразами сразу захватывал всю аудиторию. В два-три штриха он обрисовывал целую сложную картину и заставлял слушателей с на-



П. Ф. Лесгафт среди студентов Петербургского университета

пряженным вниманием, с удивлением и часто восхищением следить за его лекциею. А он так и носился, бывало, по аудитории и по ее лестницам снизу вверх, поднося слушателям препарат и объясняя значение какого-нибудь бугорка на кости. «Ясно? Все поняли?» «Прошу обратить особенное внимание» — так и звучало в воздухе, так и подбадривало пытливые, молодые умы слушателей.

Так сухая, скучная анатомия оживала в его лекциях; засушенная, распиленная кость принимала живую душу, живой образ и вставала перед глазами слушателей в том виде, в каком она была в живом человеке, в живом теле.

«Вы привыкли за 8 лет гимназии, — говорил Петр Францевич,—что вам скажут сначала правило и потом тотчас же и исключение из этого правила, но вот перед вами только правило и из него *нет* исключения!» *Nihil! non!*— кричал с дрожью в голосе Лесгафт, и все его слушатели видели и понимали, что действительно тут только правило, только закон, который не имеет и *не должен* иметь исключений. Как очарованные сидели слушатели, сидели юные первокурсники, которых впервые коснулось живое, бодрое, правдивое и умное слово после ужасной зубрежки греческих и латинских исключений. Два часа лекции быстро проходили и часто так не хотелось уходить, так хотелось еще и еще услышать новое слово. Шумными аплодисментами заканчивалась каждая лекция Петра Францевича.

Но и тут он не давал нам потачки. «От недостатка — тут» (при этом жест на голову) — «действие тут!» (показывал на руки) и быстро скрывался. Как молодо, хорошо и весело было возвращаться каждый раз с таких лекций, где оживала сухая мертвечина, где каждый раз получалось новое знание, новый интерес. Кроме лекционных часов, у Лесгафта были еще практические занятия по определению костей, а также мускулатуре человека. Здесь уже все толпились около дорогого учителя попросту, без стеснения. А он подавал то одну, то другую кость, требуя определить не только на глаз, но чаще на ощупь, только осязанием, к какой части и к какой стороне относится данная косточка. И каким удовольствием, каким восхищением вспыхивали его умные, проницательные глаза, если ответ студента был правильным.[4]

Для практических занятий со студентами по мускулатуре приват-доценту Лесгафту был отведен администрациею университета небольшой сарайчик, помещающийся на задворках, между поленницами дров и помойной ямой. Как бы в пику его популярности среди студентов ему нашлось для занятий только небольшое здание, похожее на дворницкую будку, занятое печью и имеющее одно-единственное окно да стол, за которым занимались студенты. И такое помещение было ему дано в то время, как почти весь нижний этаж огромного университетского здания был занят то квартирами профессоров, то квартирами педелей и сторожей. Так справедливо оценивалась деятельность нелюбимого и беспокойного приват-доцента.

В этом душном, зловонном и грязном сарайчике студентам-естественникам приходилось, особенно на втором курсе, избравшим себе специальностью анатомию, просиживать целыми часами, заниматься на единственном столе по очереди и часто угарать от топки ретивых дворников. Но несмотря на такое вопиющее неудобство, этот сарайчик, анатомический театр, никогда не пустовал.

С наступлением весны Петр Францевич начинал новый курс занятий по эмбриологии и развитию куриного яйца. Обыкновенно в марте месяце он устраивал в своем кабинете инкубатор, наполненный куриными яйцами. Здесь день за днем студенты-естественники обыкновенно рано утром, еще до начала других лекций, сами под руководством Лес-

гафта производили микроскопические наблюдения над развитием зародыша, образованием внутренних органов и т. д. Какие талантливые по содержанию и форме лекции читал он здесь по этим вопросам. С каким неустанным вниманием он следил за самостоятельными работами студентов и как деликатно и вместе с добродушною ирониею указывал на промахи.

«Вы его совсем сварите, бедняжку! — говорил Петр Францевич с усмешкою, когда видел, как какой-нибудь ярый первокурсник опускал зародыш яйца в слишком горячую воду.

Кроме лекций по анатомии, Лесгафт считал необходимым для образования как вообще человека, так, в частности, естествоиспытателей, изучение окружающей жизни, знакомство со многими чисто техническими производствами. Для этого он устраивал поездки по окрестным заводам. Эти восхитительные поездки бывали большею частью по воскресеньям. Испросив, обыкновенно еще заранее, разрешение (и эту обязанность он успевал брать на себя), Лесгафт накануне сообщал нам, куда возможно отправиться на другой день и где собраться для отъезда. Рано утром шумная и веселая толпа естественников собиралась где-нибудь в центральном пункте конок. Заняв одну или две из конок, студенты отправлялись вместе с Петром Францевичем куда-нибудь на окраину города в заводскую часть его. Таким образом в течение одной зимы мы посетили многие выдающиеся по техническим условиям заводы, как Обуховский сталелитейный, стеклянный, фарфоровый, костяной и многие другие. Кроме посещения заводов, иногда устраивались поездки по больницам. Особенно в моей памяти запечатлелась поездка в дом душевнобольных. Здесь Лесгафт находил тотчас же тему для живой и увлекательной беседы. Очерчивая двумя-тремя фразами состояние больного, он тотчас же давал объяснения, от нарушения каких функций произошло данное изменение. Такое явление должно последовать «непременно и несомненно», раз произошло известное изменение в организме. «Вот причина, — говорил Петр Францевич, — а вот и следствие, и иначе быть не может, никаких исключений, к которым вас приучила латынь в гимназии!»

Развивая душу, Лесгафт обращал внимание и на физическое развитие своих слушателей. Казалось, это не входило бы в университетский план преподавания анатомии, особенно для естественников, но наш незабвенный учитель обращал внимание и на эту сторону. Не имея своего большого помещения для устройства гимнастики и игр в мяч, Петр Францевич какими-то путями ухитрился достать разрешение пользоваться для этой цели манежем в Адмиралтействе. Здесь в громадном манеже по праздникам собирались студенты-естественники для игр в мяч и для гимнастических упражнений. Сколько шуму, смеху и шуток раздавалось в этом огромном зале, который обращался в арену самых горячих битв. Изредка эти игры посещал Петр Францевич, становился где-нибудь в сторонке и с доброю усмешкою наблюдал своими умными, живыми, проницательными и как будто немного суровыми глазами.

В один из праздничных дней в конце года, когда Петр Францевич спешил закончить обязательный годичный курс анатомии, произошел маленький инцидент: по обыкновению собралась довольно большая толпа слушателей, но не в аудитории, а рядом с нею, в комнате профессора. Разместились, кто где попало: кто сидя на окне, кто на стульях и столах, а большинство стояло.

Лесгафт был особенно в ударе, рассказывая и поясняя что-то по внутренним органам человека. Пламенная, горячая речь его так и кипела, так и просилась в ум и сердце слушателей. Все были как очарованные! Вдруг отворяется дверь и тогдашний ректор Никитин <...> в полной парадной форме, в мундире, с орденами, нашивками и шпагой заявился к нам в аудиторию. Сухо поздоровавшись с Петром Францевичем и почти не поклонившись нам, разношерстным, не в обычной форме студентам, он заявил, что сегодня праздник, а потому никаких лекций читаться не должно. После этого, так же сухо выслушав объяснение профессора, что это не официальная лекция, а частная беседа и только для желающих, он величественно отбыл. Трудно представить, какое удивление и какая почти детская растерянность показалась на лице Лесгафта при объявлении, что сегодня праздник, а потому работать нельзя, нельзя учить людей больше знать, больше совершенствоваться. Как странно должны были отозваться эти слова в душе Лесгафта, каким комичным вероятно показалось напоминание, что сегодня праздник, ему, никогда не знавшему, что такое праздник, что такое празднование.

Его кипучей, энергичной, деятельной и неутомимой душе дико показалось это празднование, это вторжение в чужую жизнь, покушение на чужую свободу, но что делать, пришлось покориться, и он с грустною улыбкою объявил нам, что сегодня продолжения лекции не будет. Сообщая об этом случае, я останавливаюсь на нем только для того, чтобы показать, как относилось тогдашнее начальство к Петру Францевичу. Этот талантливейший лектор и оратор, популярный профессор и замечательный ученый, этот всесторонне образованный человек был только приват-доцентом. Начальство всегда косо смотрело на его научную, профессорскую деятельность и всячески старалось уязвить его; оно всегда имело гласное и не гласное наблюдение над этим беспокойным и неподатливым человеком, природе которого были чужды лесть и низкопоклонство. А между тем сколько бездарностей, тупиц и профанов в науке стояло выше его в служебной иерархии и воображало себя светилами науки. Только живая, чуткая и правдивая молодежь, помимо всяческих начальнических рекомендаций, отличала истинный талант: на лекциях Петра Францевича аудитория всегда была так переполнена, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Вот эта-то переполненная аудитория была лучшим доказательством того, кто такой был незаслуженный приват-доцент Лесгафт <...>

Хотя для естественников по программе полагалось пройти весь курс анатомии человека в один год, но, конечно, при том тщательном, детальном и любовном отношении к этому предмету и при том про-

хождении его, как вел дело Лесгафт, успеть за один год окончить весь курс анатомии, ведя попутно и практические занятия, было немыслимо. Поэтому для желающих Лесгафт вел на втором курсе дополнительные лекции по важнейшим органам человеческого тела. Часто не имея возможности занимать аудиторию, если в ней была другая какая-нибудь лекция, он назначал чтения у себя на дому.[5] Здесь перед восхищенными слушателями обрисовывались чудные картины устройства человеческого глаза, уха и мозга. Ничего подобного нельзя было найти ни в одном учебнике, так тонко, так полно и интересно был им разобран каждый орган в живом теле человека. Он мастерски, несколькими меткими штрихами обрисовывал целую стройную систему известного органа.

На дому у него слушателей по большей части было уже немного, все больше те, кто избрал своею специальностью анатомию, так как дружная семья естественников уже со второго курса разбредалась по разным отделам и специальностям. Но часто, занимаясь другим предметом, приходили побывать на лекции дорогого учителя, послушать его живое, правдивое слово, отдохнуть душою и поделиться впечатлениями о слышанном.

Когда начали проходить мозг и его функции, Лесгафт стал устраивать у себя на дому чтения по психологии. Говорить о достоинстве и увлекательности этих чтений я считаю излишним. Тот, кто хотя бы раз, хотя бы случайно попадал на эти лекции, никогда уже не мог забыть того живого и в высокой степени интересного их изложения, которым они отличались.

Кроме своих лекций, Петр Францевич уже требовал и от слушателей участия в работе. Наиболее талантливые и даровитые из них время от времени писали рефераты по психологии, и затем в квартире Лесгафта устраивались в назначенный день маленькие диспуты и состязания на заданную тему. Тут профессор давал полную волю и простор инициативе каждого из собравшихся. Обыкновенно вечером сходилось человек 20 студентов, выбирался председатель собрания, подавался чай, и небольшая квартира его оглашалась самыми животрепещущими и пылкими речами. А сам Петр Францевич где-нибудь в сторонке, в уголке, сидел себе смирнехонько за стаканом чая и ни слова. Только его умные, глубоко проницательные глаза по временам вспыхивали искрами и загорались удовольствием.

В конце заседания Лесгафт в двух-трех словах делал свое заключение, часто указывая, где неправильно или неточно было описано автором, а где не верна была мысль, высказанная его оппонентами. После этого все, часто в 12 часов ночи, усталые, но бесконечно довольные, разбегались с Фонтанки, кто на Васильевский Остров, кто на Петербургскую и Выборгскую стороны.

Заканчивая мои воспоминания о покойном учителе в период студенчества 1891—1895 гг., не могу не отметить ту кипучую, энергичную деятельность, которую проявлял в это время Лесгафт. Просто удивительно, когда он находил время есть и спать. Но, проявляя такую кипу-

чую деятельность и всею душою ненавидя лень и инертность, он требовал того же от своих учеников. «Лень копит только безобразную ткань», — часто говаривал он, называя этим словом жировое отложение у человека.

Конечно, я коснулся только той стороны его деятельности, с которою мне лично приходилось сталкиваться.

Жизнь и деятельность Лесгафта были движение вперед, и тому же он учил своих многочисленных слушателей, сея в них семена правды, добра и честности.[6]

Так честно и стойко прожил Петр Францевич, не щадя своих сил и, может быть, тем найдя себе преждевременную могилу вдали от близких друзей[7] <...>

Д. Благоев

ПЕРВЫЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ

Уезжая в Петербург, я не решил еще, в какое из высших учебных заведений я поступлю — в университет или в технологический институт.[1] Очень меня привлекал последний, потому что в нем, кроме общих познаний, давали и солидное специально-техническое образование. Но туда не принимали всякого, и я скоро понял, что должен остаться в университете. Тогда начал колебаться — что мне изучать — юридические ли науки, привлекавшие меня возможностью ознакомиться больше с социологическими вопросами, или естественные науки, дающие более обширные знания. Было еще много других соображений за одни и за другие. Наконец, я выбрал естественные науки. Тут я должен упомянуть, что для того, чтобы поступить в университет полноправным студентом, нужно было иметь аттестат об окончании классической гимназии. Я кончил реалку. Поэтому необходимо было сдать экзамены по греческому и латинскому языку, которые я через год сдал.

Но это не помешало мне записаться немедленно в университет, хотя и вольнослушателем.

Никогда не забуду картину, которую застал, войдя в аудиторию на первую лекцию: обширный зал аудитории был переполнен сотнями студентов; на одной из студенческих скамеек стоял студент и резкими пламенными словами бичевал полицейский произвол, русский реакционный режим, призывал студенчество на борьбу с ним. Его речь сопровождалась бурными аплодисментами и бурными восклицаниями одобрения со стороны студентов. Это была студенческая сходка. Седой профессор показался из комнаты, соседней с аудиторией, и направился к кафедре. Однако студенты попросили его отложить свою лекцию, потому что у них сходка. Профессор, улыбаясь, ушел. Сходка кончилась без инцидентов. Однако на другой день, когда преполагалось устроить более

импозантное студенческое собрание, университет оказался окруженным конной и пешей жандармерией. Тогда начались уличные студенческие демонстрации, столкновения с жандармерией и аресты. Это вызвало собрания и демонстрации студентов военно-медицинской академии и технологического института.

Вообще я попал в Петербург в самое бурное время для студенчества. Среди его бурь, еще при первом посещении университета, я познакомился со многими русскими студентами, которые ввели меня в студенческую и политическую жизнь.

Но среди шума постоянных сходок и демонстраций я не успел еще сблизиться ни с кем из новых своих знакомых, когда очутился одиноким в шумном Петербурге <...>

Я нанял себе мизерную темную комнатку, единственное окно которой смотрело в другую комнату, и очень бедствовал. Было время, когда так голодал, что думал протянуть руку за милостыню. Но самолюбие победило. Как раз в этот день случай мне помог: один из знакомых русских студентов случайно пригласил меня к себе. И, как бывает в каждом сколько-нибудь зажиточном доме, дали мне чай и закуску. Спасся на этот день, наелся, наконец. А, разговаривая со мной, мать и сын узнали о моем положении и не оставили меня. Следующие дни я гостил у них.

В это бедственное для меня время я встретился с студентом Василием Харитоновым, с которым мы быстро сошлись.[2]

Он познакомил меня с членами той студенческой организации, членом которой он был. Она была одной из многих студенческих организаций, созданных в России для того, чтобы дать возможность студентам бороться с бедностью. Одни из них были «землячества», в которых студенты группировались по губерниям, по месторождению (сибиряки, казанцы и т. д.). Каждое землячество заботилось о средствах для существования своих членов, или находя им частную работу и организуя столовые на коммунальных началах, или собирая вспомоществования от частных лиц с литературных и увеселительных вечеров. Студенческие земляческие организации, однако, не были простыми взаимовспомогательными организациями, в смысле материальной только поддержки своих членов. Сближая и знакомя студентов из разных мест одной губернии, они развивали в них дух общественности, который при абсолютистском режиме не мог проявляться открыто, здесь же получал характер идейного, в полном смысле слова, товарищества. Но студенческие земляческие организации были и нечто другое. Они являлись вроде первоначальных школ для ознакомления и изучения идей, которые считались тогда социалистическими и революционными. Другим видом студенческих организаций были коммунальные группы. Это были организации более замкнутые, чем землячества, с ограниченным числом хорошо знакомых членов и с специальными задачами. Их члены жили в общих квартирах, заботились один о другом, делились всем, питались вместе, разрабатывали теоретические вопросы и практические про-

граммы политической и общественной деятельности. Если студенческие землячеcкие организации были первоначальными школами социалистических и революционных знаний и местом выработки характера, коммунальные группы являлись вроде высших школ выработки определенных идей и путей их практической реализации.

Та организация, с членами которой познакомил меня мой приятель Харитонов, была второго вида. Вместе с тем я познакомился и со многими членами всевозможных землячеств. Эти же студенческие организации помогли мне спастись от физической гибели, доставляя мне работу — переписка, частные уроки и т. д. Они помогли мне и в духовном отношении найти тот смысл жизни, которого я напрасно искал еще юношей в Болгарии, потому что благодаря этим студенческим организациям я мог поставить правильно тот вопрос, которым еще учеником в габровской[3] гимназии я мучил старших учеников и себя, а именно: почему необходимо знать, читать? Теперь он превратился в более правильный и более глубокий вопрос, гласящий: какой смысл жизни, или из-за чего стоит жить?

Этому вопросу, казалось, даст мне ответ история русского революционного движения. Все свое свободное время зимой 1880—81 и 82 гг. я посвятил его изучению.

Однако источники для изучения русского революционного движения были недостаточны. Единственными оказались подпольные газеты, как «Народная воля»,[4] «Земля и воля»,[5] «Черный передел»[6] и выходящий в Швейцарии журнал «Вперед».[7] Более богатым источником были споры и беседы в землячествах и остальных студенческих группах.

<...> Изучение Лассаля и Маркса способствовало выработке определенного законченного социалистического мировоззрения. Главный вывод был тот, что единственная задача социалиста — это пропаганда социализма и, главным образом, среди рабочего класса, среди промышленного пролетариата, способствуя развитию его классового сознания, организуя его, ведя его на борьбу к конечной цели — экспроприации экспроприаторов.

По отношению к России мне было ясно, что она вступила на путь капитализма и что революция в России, особенно социальная революция, возможна только как рабочая, пролетарская революция. Оставалось заняться пропагандой своих социалистических взглядов.

Я сообщил их прежде всего, конечно, товарищам, вместе с которыми я жил. Так что наша коммуна на Васильевском острове была не только местом, где я выработал свое первое социал-демократическое мировоззрение, а также и первым местом, где я начал свою пропаганду. После продолжительных бесед и прений мы решили, наконец, что необходимо начать пропаганду социализма раньше всего среди студенчества, созвать предварительно после летних университетских каникул, осенью 1883 г., когда снова сойдемся, собрание в нашей квартире из хорошо знакомых студентов и старых работников «чернопередельцев». Мы решили этим собранием положить основу социал-демократической груп-

пе. Но я решил летние университетские каникулы 1883 г. провести в Болгарии, побуждаемый желанием увидеть *свободную Болгарию*, тем более, что Петербург пустел летом, студенты разъезжались в провинцию и трудно было найти работу <...>

Когда мы собрались в октябре, члены нашей коммуны после новых бесед и прений поддерживали свое прежнее решение созвать общее собрание, на котором должна была организоваться новая революционная группа. Однако оно состоялось едва в начале зимы 1883 г. На собрании присутствовал десяток человек. После изложения своих взглядов о необходимости социалистической деятельности среди рабочего класса и указания на несостоятельность народнических и народовольческих теорий я предложил присутствующим основать социал-демократическую группу, ставящую своей задачей пропаганду социализма и организацию рабочих Петербурга. Последовали некоторые возражения, но в конце концов все согласились с моим предложением, и собрание решило: группа будет сходиться на очередные заседания раз в неделю, где будут обсуждаться все вопросы, возникающие в связи с деятельностью. Каждый из членов должен стремиться и искать связь с рабочими на фабриках и в мастерских, а пока начать последовательные студенческие собрания для популяризирования социал-демократической группы и ее взглядов с целью привлечения новых членов[8] <...>

На втором заседании нашей социал-демократической группы поднялся вопрос о необходимости письменного разглашения социал-демократических идей среди студенчества и рабочих, как и о выработке социал-демократической программы, которую необходимо популяризировать среди этих кругов. Однако группа решила не спешить с последним, пока не наладится связь с рабочими, но возложила на меня выработку проекта программы <...>

Конец 1883 и начало 1884 г. группа употребила для организации собраний среди студенчества. Вначале собрания были малочисленными, после становились все многочисленнее; некоторые достигли даже 30 человек. На этих собраниях я излагал социалистические взгляды группы, отвечая на все, как говорили тогда, жизненные вопросы революционного характера, волновавшие студенчество.

Само собой понятно, что кроме этой публичной, так сказать, деятельности, члены группы развивали и единичную пропаганду, распространяя летучие листки с коротеньким изложением принципиальных основ социал-демократических взглядов и воззвания, призывающие студенчество присоединиться к практической социал-демократической деятельности среди рабочего класса. Эта деятельность социал-демократической группы имела неожиданно большие успехи <...>

Несмотря на то, что успехи группы среди студенчества были очень важны для дальнейшего развития ее работы, все же она не забывала, что главный объект ее пропаганды — рабочий класс. Сюда были устремлены все ее усилия и здесь в течение 1884 г. она успела развить еще при мне довольно широко свою пропаганду и агитацию[9] <...>

С. А. Жебелев

ALMA MATER

Пребывание мое в университете совпадает с тем временем, когда только что был введен в действие устав 1884 г. <...>

Но ни о «духе» устава 1884 г.,[1] ни об «истории» его возникновения и постепенных стадиях его развития я говорить не собираюсь. Моя задача более скромная и определенная: поделиться былыми воспоминаниями и общими впечатлениями о том, чему и как учили профессора и как учились студенты на историко-филологическом факультете Петербургского университета в 1886—1890 гг. (годы моего студенчества) <...>

Из всех университетских факультетов факультеты историко-филологические были затронуты уставом 1884 г. наиболее чувствительно. Строго говоря, эти факультеты, как таковые, были тогда упразднены, и сохранено было только одно их прежнее наименование. В самой организации историко-филологического факультета, как она представлялась составителям устава 1884 г., несомненно, можно усмотреть сознательную и обдуманную планомерность, — правда, довольно злохитростного свойства. Казалось, из историко-филологических факультетов хотели создать своего рода оранжереи, где должна была культивироваться не вся историко-филологическая наука, а должна была расцветать и процветать лишь одна из дисциплин ее. Дисциплиной этой должна была стать классическая филология, понимаемая, опять-таки, не строго научно, а под определенным углом зрения. Построены были эти «оранжереи» очевидно по мысли и плану одного из вдохновителей и строителей всего устава 1884 г. долголетнего председателя ученого комитета министерства народного просвещения А. И. Георгиевского [2] <...>

Убежденный в том, что классическая филология — альфа и омега всех гуманитарных дисциплин, что в ней залог блага и спасения России (а по мнению А. И. Георгиевского, Россия, после 1 марта 1881 г.,[3] была безусловно на краю гибели), он задумал, во-первых, взрастить возможно

большее количество филологов-классиков, как самый надежный оплот отечества, а во-вторых, всех тех филологов, которые не хотели быть специалистами-классиками и которые почувствовали бы влечение к иным дисциплинам, полагающимся на историко-филологическом факультете, так начинить и придушить классической филологией, что для удовлетворения научных интересов всех будущих историков, филологов (не классиков), лингвистов и пр. не оставалось бы почти места. И если бы А. И. Георгиевский хотел создать из историко-филологических факультетов образцовую школу по той «Altertumswissenschaft»,* которая к тому времени достигла такого пышного расцвета в Германии, с его затеей еще можно было бы кое-как примириться. Но таких намерений у А. И. Георгиевского, по-видимому, не было. Он мечтал не о создании строго научной школы по изучению античного мира; нет, он имел в виду лишь обучение студентов-филологов древним языкам, желал создать из историко-филологических факультетов продолжение классических гимназий, очевидно, полагая, что в них учащиеся обучены древним языкам недостаточно полно и твердо, что к восьми гимназическим классам, для пользы «дела», следует прибавить четыре курса, а, в сущности, класса — в университете.

План прохождения курса на историко-филологическом факультете по уставу 1884 г. <...> в применении к факультетскому преподаванию даже «оранжерейного» типа был совершенно уродливый. Это был, в сущности, не план, а расписание лекций, разбитых по семестрам. Само собою разумеется, лекции, посвященные древним языкам (из приличия их назвали лекциями по древним авторам), занимали большую половину так называемых обязательных часов. Для всякого студента-филолога на всех семестрах, за исключением одного 7-го, из 18 часов в неделю[4] на древние языки было уделено 10 часов: 6 лекций на чтение авторов и 4 лекции на практические занятия по древним языкам. Из остающихся 8 часов — 4 лекции полагались на «реалии» из области классической филологии; истории Греции и Рима, греческая и римская литература, греческие и римские древности, история греческого искусства, Платон и Аристотель (история древней философии, как таковая, отсутствовала). Эти 14 лекций, отданные классической филологии, обязательны были для всех студентов факультета, и предметы, которым лекции были посвящены, именовались основными. Остающиеся 4 лекции из 18 охватывали дополнительные предметы, распределенные по двум группам — студент мог выбирать любую из них — группа А, где читались предметы словесные (история литератур русской и западно-европейской, филология русская и славянская, санскрит и сравнительное языкознание), и группа Б, историческая (истории: русская, древнего Востока, средневековая, новая, славян, церкви). Никаких обязательных практических занятий ни по предметам словесной группы, ни по предметам исторической не полагалось. Философские предметы из плана преподавания были изъяты,

---

* Изучение древнего мира (нем.). — *Сост.*

и студент мог окончить факультет, не прослушав курса ни психологии, ни логики (по последней, правда, полагался экзамен в государственных комиссиях, но по гимназическому курсу); история новой философии отсутствовала, да и история древней философии сведена была, как упомянуто, исключительно к Платону и Аристотелю, точнее сказать, к чтению того или другого произведения каждого из них. Наконец, из истории искусства уделено было внимание только греческому искусству, но всего при 4-х лекциях в неделю и в течение одного семестра.

Такова была структура учебного плана того факультета, за которым устав все же оставил наименование историко-филологического. Насколько оно подходило к нему, говорить не стоит. Все науки историко-филологического цикла принесены были в жертву древним языкам. Они, эти злосчастные древние языки, должны были стать краеугольным камнем всего факультетского преподавания. Даже поверка успешности занятий студентов, в течение всего университетского курса, должна была производиться лишь по древним языкам <...>. Наконец, центр тяжести государственных экзаменов опять-таки сосредоточивался на древних языках и вообще на классической филологии <...>

Со всем этим я, как и мои сотоварищи, ознакомились лишь после того, как мы, уже зачисленные в студенты и облекшиеся в студенческие сюртуки[5] (тужурок в наше время носить еще не дозволялось), получили печатные экземпляры устава, учебного плана и правил прохождения курса и обозрение преподавания на осенний семестр 1886 г.

Затем предстояла запись на лекции. Так как обязательные предметы, т. е. 18 лекций, были уже определены, то ломать голову над тем, на что записываться, не приходилось. Следовало только выбрать из числа объявленных авторов 6 лекций. Я записался на Гомера у К. Я. Люгебиля,[6] Демосфена у П. В. Никитина,[7] Овидия у Ф. Ф. Зелинского.[8] Нужно было выбрать также и практические занятия по древним языкам. Я выбрал Плутарха у В. В. Латышева[9] и Овидия у Ф. Ф. Зелинского; эти же профессора руководили и упражнениями в переводе с русского языка на древние. Остальные 8 часов из числа 18 обязательных распределялись поровну между лекциями по древней истории у Ф. Ф. Соколова[10] и русской истории у Е. Е. Замысловского.[11] Студенту предоставлялось право записываться и на лекции, из числа объявленных, сверх 18 часов. Много объявлено было лекций, которые интересовали меня. Но пришлось ограничиться немногим (за каждую лекцию приходилось вносить рублевый гонорар); логикою у М. И. Владиславлева[12] — 2 лекции и историей русской литературы у О. Ф. Миллера — 4 лекции. Всего пришлось заплатить 18+6+5 (в пользу университета) — 29 руб.— сумма, по тогдашнему времени большая для студента.[13] Позже — должен покаяться — я, по указанию самих же профессоров, записывался только на обязательные лекции, лекции же необязательные, т. е. выходившие за пределы 18-часовой нормы, продолжал слушать в достаточном количестве, но в записи не помечал, иными словами гонорара за них не платил[14] <...>

Поступая на факультет, я не знал еще, на чем специализируюсь окончательно — на философии ли, или на истории русской литературы, которая меня очень увлекала в гимназии. О том, что я стану «классиком», я при поступлении в университет, во всяком случае, не помышлял, хотя в гимназии (2-й С.-Петербургской, на Казанской ул.) древними языками занимался без всякого отвращения и не без успеха.

Мои специальные интересы к области изучения древнего, преимущественно греческого мира, обрисовались с достаточною определенностью лишь к концу первого года моего пребывания на факультете <...>.

Из моего выпуска филологом-классиком стал лишь один я; впрочем, и у меня с самого же начала обнаружился заметный уклон в сторону не формально-грамматического, а реально-исторического изучения древнего мира. Из моих сотоварищей по курсу один — безвременно скончавшийся Б. А. Тураев[15] — стал египтологом и историком Востока; другой— А. Л. Липовский — увлекся славяноведением и, вероятно, занял бы со временем профессорскую кафедру, если бы рано уже не отдался слишком ретиво педагогической деятельности; <...> Каким образом мог выработаться из Б. А. Тураева египтолог, или из А. Л. Липовского славист, <...> это на первый взгляд должно показаться загадочным.

Загадку эту разгадать будет нетрудно, если принять во внимание изречение: «законы святы, да исполнители лихие супостаты». Составители устава 1884 г. издали в отношении историко-филологических факультетов, действительно, свои законы, хотя и не «святые», а скорее абсурдные, но исполнителями этих законов явились, воистину, «лихие супостаты», и они-то, эти исполнители, и погубили, точнее сказать, обезвредили, поскольку были в силах, сами абсурдные законы. «Супостаты», т. е. попросту говоря, профессора историко-филологических факультетов, приняли изданные и навязанные им законы к сведению, но далеко не к исполнению. Правда, все лекции, значившиеся в учебном плане, объявлялись неукоснительно и читались аккуратно, практические занятия по древним языкам также велись со всею строгостью, причем для того, чтобы заполнить все группы практических занятий, некоторым профессорам-классикам на нашем факультете пришлось увеличить число своих часов далеко свыше обычной нормы <...>. Но самое главное заключалось в том, что почти все наши профессора-классики отнеслись к своему делу именно как профессора, а не как «педагоги», в каковые думал обратить их устав 1884 г. В преподавании всех без исключения классических предметов царил строго научный, а не менторско-дидактический дух. Профессора-классики понимали классическую филологию, как научную дисциплину, а не как особого рода педагогический прием, имеющий в виду не столько научить, сколько «обуздать» и «смирить». Лучшим доказательством всего этого служит, во 1-х, то, что никаких принудительных, а тем менее карательных мер по отношению к тем студентам, которые мало преуспевали в древних языках, профессора-классики никогда не предпринимали; во-2-х, то, что, несмотря на перегру-

женность плана классическими предметами, профессора-классики, сверх тех предметов, которые они должны были читать по учебному плану, посвящали немало лекций и таким дисциплинам из области классической филологии, которые в учебном плане не значились, но которые были необходимы для всякого, кто желал серьезно и научно заниматься классической филологией. Говоря коротко, наши профессора-классики не обратились к «Schulmeister'ов»,* какими грозил их сделать нелепый учебный план, и оставались профессорами, и скажу, забегая вперед, превосходными профессорами <...>

А как поступили профессора, являвшиеся представителями тех дисциплин историко-филологического факультета, которые в «классической оранжерее» оказались в положении, мало сказать, «униженных и оскорбленных», а чуть-что не вычеркнутых вовсе? Все историки, историки литературы, словесники, слависты, историки искусства и пр.? Они просто-напросто игнорировали «реформу», отнеслись к ней так, как будто бы ее и не было. Решив про себя: бумага все терпит, они продолжали вести свое дело в таком духе и в том направлении, как будто ничего не произошло, а все осталось по-прежнему; что историко-филологический факультет, как таковой, продолжает существовать по-старому. Иными словами: те, кто должен был бы счесть себя «униженным и оскорбленным» и, выражаясь модным языком, объявить если не забастовку, то саботаж, продолжали вести преподавание по занимаемым им кафедрам так же, как они вели его до «реформы» и как они стали бы его вести при всяких условиях и констелляциях, т. е. строго-научно, удовлетворяя научным стремлениям тех студентов, которые желали специализироваться в области истории, литературы, филологии (не классической), искусства и т. д. и т. д.

Не следует закрывать глаза: зловредная затея А. И. Георгиевского и tutti quanti** грозила нанести неисправимый ущерб делу историко-филологического образования в России и вырвать с корнем то, что в нем, с таким трудом и со столькими жертвами, наладилось к 80-м годам прошлого века. Но осуществлению этой затеи положена была могучая преграда тогдашними деятелями историко-филологических факультетов; они не склонили покорно свои головы пред власть имущими, не прельстились — за немногими исключениями — теми «благами», которые им могла сулить нелепая «реформа». Нет: они, пройдя мимо нее, остались стойкими борцами за истинно-научное знание; они, как профессора, были тем, чем и должен быть профессор прежде и главнее всего — истинными жрецами науки, преданными сынами ее.[16] Честь и слава тогдашним профессорам историко-филологических факультетов! О если бы встречался всегда достойный пример их и достойное им подражение! <...>

Приступаю теперь к самой приятной для меня, но и самой ответственной части моих воспоминаний: попробовать дать краткую и беглую характеристику тех профессоров, лекции которых я слушал и у которых

* Школьных учителей (нем.). — *Сост.*

** Всяких прочих (итал.). — *Сост.*

занимался во время моего пребывания в университете. Всякие воспоминания, чего бы они ни касались, всегда будут субъективны. Скажу более: они должны носить субъективную окраску; иначе это будут не воспоминания, а летопись, дневник. Когда же приходится вспоминать о людях, дорогих и близких сердцу вспоминающего, субъективный налет неизбежно становится еще ощутительнее.

Начну свои воспоминания с профессоров-классиков. Старейшим из них был в год моего поступления в университет К. Я. Люгебиль <...> Мне довелось слушать К. Я. Люгебиля только в течение одного семестра, моего первого семестра: в начале 1887 г. К. Я., по болезни, прекратил чтение лекций, а потом вскоре и скончался.[17] Объявленный К. Я. Люгебилем курс был посвящен Гомеру, или, как он предпочитал выражаться, придерживаясь строго рейхлиновского произношения, Омиру, и состоял в упражнениях по критике текста гомеровского эпоса. Курс этот нас, только что поступивших студентов, на первых порах не только озадачил, но и ошарашил. Вот как протекла первая лекция по «Омиру». В небольшую аудиторию (по старому счету VI) вошел невысокий старый человек с волочащейся ногою, с большим портфелем, туго набитым книгами, бумагами (позже этот исторический портфель попал к Б. А. Тураеву и служил ему до самой смерти). Придвинув кресло вплотную к партам, К. Я. Люгебиль вынул из портфеля какие-то таблицы с непонятными для нас письменами (позже мы узнали, что эти таблицы — снимки с части рукописи Илиады, из издания Ла-Роша) и роздал таблицы нам. А затем, не сделав никакого ни введения, ни пояснения, предложил одному из нас (слушателей было человек 5—6) читать прямо по таблице. Студент, пользуясь тем, что профессор был туг на ухо и должен был прибегать к слуховой трубке, посмотрел на письмена и довольно громко заявил нам: «Да тут чорт знает, что такое, какая-то ахинея!» — Что, что такое? — спрашивает К. Я. Люгебиль не расслышав замечания студента и приблизив трубку к уху. — Я ничего не понимаю, заявляет студент. — Как ничего не понимаете? Разве вы не видели никогда греческих рукописей? — спрашивает К. Я. Люгебиль. — Нет, не видел. А другой, кто видел? — Оказалось, конечно, никто не видал. Тут только К. Я. Люгебиль. . . спохватился, рассказал нам очень кратко не о рукописном предании вообще, а о главнейших рукописях Илиады, объявил, что занятия будут состоять в критике текста и... не смущаясь тем, что и о критике текста мы услышали впервые, все же заставил нас по очереди читать текст прямо по снимку с рукописи. Разумеется, мы не читали, а кое-как брели по указке профессора. А он не смущался, говорил: ничего, привыкнете. После такого дебюта, на следующих лекциях аудитория сильно поредела: нас осталось, помнится, всего два человека, и мы кое-чему все-таки успели научиться в течение тех немногих лекций, которые пришлось прослушать. Я могу считать себя счастливым, что мне, хотя бы «мельком», удалось быть слушателем выдающегося филолога-классика. Моими главными наставниками в области изучения греческой филологии были покойные В. К. Ернштедт и П. В. Никитин.

В. К. Ернштедт,[18] которому я считаю себя обязанным чрезвычайно многим, был в то время молодым профессором. Внешняя манера его чтения лекций вряд ли к себе располагала, и на большую аудиторию он рассчитывать не мог <...> Но если В. К. Ернштедт далеко не был «блестящим» профессором, то руководителем для специалистов он был незаменимым. Авторов он предпочитал переводить не сам, а заставлял переводить их желающих из слушателей, так что лекции по интерпретации в сущности обращались в практические занятия, и это приносило мне, часто выступавшему в качестве переводчика, большую пользу. Выбор авторов у В. К. Ернштедта был очень широкий. Я слушал у него речи Фукидида, трактат псевдо-Лонгина «О высоком», первую книгу Павсания, «Пиитику» Аристотеля, «Ореста» Еврипида и пр.; сверх того, участвовал, под руководством В. К. Ернштедта, в практических занятиях по Лисию, Гипериду, греческой стилистике. В особенности мастерски В. К. Ернштедт руководил занятиями по греческой палеографии, первоклассным знатоком которой он у нас был. Из меня, правда, специалиста-палеографа он не сделал, но пример моего младшего сверстника Г. Ф. Церетели, превзошедшего, пожалуй, в области греческой палеографии своего учителя, способен дать представление о том, какой это был учитель. Во всяком случае, В. К. Ернштедт был профессором только для специалистов-классиков, которые его всегда очень ценили и у которого они многому научились не только в деле приобретения филологических знаний, — а знания эти были и глубокие, и разносторонние, в чем легко убедиться, хотя бы по изданным нами, его учениками, «Victoris Jernstedt Opuscula»,* <...> но и в смысле выработки правильного, строго научного филологического метода [19] <...>

Полную противоположность ему, как профессор-лектор, представлял покойный П. В. Никитин <...> П. В. Никитин с изумительною тщательностью обрабатывал свои лекции, касались ли они толкования древних авторов (я слушал у него «О венце» Демосфена, «Агамемнона» Эсхила, «Фесмофории» Аристофана, идиллии Феокрита, «Демосфена» Плутарха и пр.), истории греческой поэзии, греческой диалектологии, избранных отделов исторической грамматики греческого языка и пр. Особенно хорошо П. В. Никитин переводил, настолько хорошо, что его слушали с восторгом все студенты филологического факультета (об образчике переводов П. В. Никитина может дать понятие изданный мною, уже после его смерти, его перевод «Фесмофорий» Аристофана). Незаменимым руководителем был П. В. Никитин и на практических занятиях по критике и интерпретации (я слушал «Эанта» Софокла, а также греческую стилистику — переводили с латинского на греческий Корнелия Непота). Свои лекции П. В. Никитин всегда читал в несуществующей ныне I аудитории (кстати сказать: эта аудитория испытала много превращений: там были впоследствии курительная комната, студенческий буфет и так наз<ываемая> портретная галлерея — в ней на стенах раз-

---

* Трудам Виктора Ернштедта.— *Сост.*

вешаны были фотографические карточки студентов для нужд инспекции), читал их всегда стоя и неизменно обращался к слушателям «Милостивые государи», хотя бы «государей» этих на специальных курсах было всего-навсего двое. Некоторые курсы П. В. Никитина я, впрочем, слушал в единственном числе; правда, тогда он меня «милостивым государем» не называл, но читал все же стоя на кафедре, а главное — читал и эти лекции так же, как если бы имел пред собою и более обширную аудиторию. По строгому отношению к своим профессорским обязанностям П. В. Никитин всегда был и будет для меня недосягаемым идеалом. Как с человеком, с П. В. Никитиным было сойтись нелегко: натура его была самоуглубленная, в себе самой замкнутая, казавшаяся, по первому впечатлению, слишком строгой и даже черствой. Но все это только казалось. . . Студенты побаивались его, в особенности боялись его «острого» языка и хорошо знали, что ни «заговорить», ни «провести» профессора им никогда не удастся. А за удивительную скромность и как бы застенчивость П. В. Никитина студенты нередко называли его «красною девицей».

В мое время приват-доцентом по греческой филологии был только покойный В. В. Латышев. Помимо слушания лекций его по греческим древностям, я участвовал, под его руководством, в практических занятиях, на двух первых курсах, по разбору «Аристида» Плутарха и 6-й книги Фукидида и в переводах с русского языка на греческий, причем переводить нас он заставлял вряд ли подходящие для перевода «Очерки по древней истории» Иловайского. В. В. Латышев, снискавший себе почетную известность и за пределами России, как блестящий эпиграфист, в особенности что касается греческих надписей, происходящих из греческих колоний на юге России — менее, чем его коллеги, удовлетворял нас, как профессор: он казался нам попросту учителем. Один из наших сотоварищей говорил нам, что, заглянув как-то случайно в записную книжку В. В. Латышева, он увидел в ней, при фамилиях студентов, немалое количество единиц и двоек — очевидно, это были отметки, которые В. В. Латышев ставил нам за переводы из «Иловайского». Я лично считаю себя обязанным В. В. Латышеву тем, что он, частным образом, «ввел» меня в изучение греческой эпиграфики, когда я, будучи еще студентом-первокурсником, обратился к нему, по совету Ф. Ф. Соколова, за соответствующими указаниями.

Главным представителем латинской филологии был покойный И. В. Помяловский,[20] ставший, после М. И. Владиславлева, деканом факультета. У него мы слушали изящно составленные и толково изложенные лекции по истории римской литературы и по римским государственным древностям <. . .> Большую пользу можно было извлечь из практических занятий под руководством И. В. Помяловского, которые состояли в чтении и разборе латинских надписей по сборнику Вильманса. Тут И. В. Помяловский никакими «записками» связан не был, любил беседовать на различные темы, связанные, а иногда и мало связанные с предметом занятий, обогащая нас обширными библиографическими

указаниями; будучи сам страстным библиофилом, он не упускал никогда случая, увидев у студента книгу, спрашивать его: «А это у вас что за книжица?», причем, если «книжица» бывала хорошею или редкою, то он давал и соответствующую ей аттестацию, вплоть до указания ее рыночной стоимости и предупреждения: берегите, как зеницу ока — книга в цене. А иногда не без удовольствия прибавлял: «У меня она имеется в двух экземплярах». Когда я как-то спросил его, зачем же у него два экземпляра одной и той же книги, то получил такой ответ: хорошую книгу, «изволите ли видеть» (любимое и постоянное mot* И. В. Помяловского), можно держать и в трех экземплярах <...>

Ф. Ф. Зелинский, незадолго до поступления моего в университет вступивший в число приват-доцентов, к окончанию моего курса получил кафедру. У него я слушал лекции по Овидию, Ливию, письмам Цицерона. Чтению и толкованию авторов Ф. Ф. Зелинский предпосылал обширные и обстоятельные введения, напр[имер], о греческой мифографии, о римской историографии и т. д. В мое время Ф. Ф. Зелинский не был еще таким большим оратором, каким он стал впоследствии; курсы его, при всей их обстоятельности, казались нам несколько скучными, в особенности потому, что он читал их, не отрываясь от «записок», причем не пропускал даже отмечать и такие внешние подразделения в них, как напр<имер> глава III, § 2, пункт а и т. п. Центр тяжести деятельности Ф. Ф. Зелинского лежал в практических занятиях. Они состояли: 1) в критике и интерпретации избранных произведений латинских авторов (с особенным удовольствием вспоминаю разбор «De legibus»** Цицерона и отрывков из третьей декады Ливия, где многому научился) и 2) в переводах с русского на латинский. Эти переводы доставляли нам немало хлопот и забот, в особенности потому, что приходилось всем студентам пользоваться имевшимся только в одном экземпляре в библиотеке русско-латинским словарем Ивашковского, а заменить его было нечем. Приходилось устраивать своего рода очередь занятий. Текстом для перевода Ф. Ф. Зелинский избрал в первый год отрывок из истории «Карамзина», касающийся Ивана Грозного, во второй — «Историю Пугачевского бунта» Пушкина. Переводы нужно было представлять, конечно, только желающим, но желающих было всегда достаточно, так как на основании переводов производился отчасти зачет семестров. Один из переводчиков избирался быть рецензентом всех переводов. Предварительно, однако, профессор брал переводы себе, просматривал их, но ошибки не подчеркивал, отрезал фамилии переводчиков и обозначал листки буквами греческого алфавита и уже в таком виде давал их рецензенту. Последний сверял все переводы, выбирая из каждого из них то, что казалось ему переведенным лучше, и начинал, в присутствии всех переводчиков, разбор, указывая, что такое-то выражение у г. α переведено так-то, у г. β так-то и т. д.; затем, главным образом при помощи

---

* Словечко (фр.). — *Сост.*

** «О законах» (лат.). — *Сост.*

самого Ф. Ф. Зелинского, устанавливалась окончательная редакция перевода. Не скажу, чтобы воспоминания об этих нудных занятиях (особенно эти гг. α, β, γ...) остались радужные. Не уверен даже, усовершенствовали ли они наши познания в области латинской стилистики. Живо припоминаю, сколько было, напр<имер> разговору о том, как нужно переводить «Воробьевы горы». Один предлагал «Montes Passurum», другой «Montes Vorobients», третий «Montes Vorobiemsium» и т. д. и т. п. На чем остановились, не помню. Впоследствии, руководя сам упражнениями студентов по греческой стилистике, я стал держаться такой системы, которую нахожу наиболее и правильною и целесообразною: я брал отрывки какого-нибудь нетрудного греческого автора (басни Эсопа, «Hellenika»* Ксенофонта, речи Лисия и т. п.), переводил отрывок на русский язык и затем давал русский текст переводить студентам, просматривал переводы, отмечал в них грамматические ошибки и в конце концов давал сверять переводы с греческим оригиналом, причем отмечал его стилистические особенности. При такой системе студенты, на мой взгляд, лучше входят в стиль и дух греческой речи, руководитель же чувствует себя более безопасным, нежели то можно сказать, когда приходится переводить Карамзина, Пушкина и пр. <...>

Перехожу к историкам <...>

Сам я считаю себя всецело учеником «Соколовской школы» и полагаю, что и мне свойственны как ее недостатки, так, быть может, и некоторые достоинства. О <...> профессорах-историках буду вспоминать очень кратко[21] <...> С удовольствием вспоминаю прослушанный мною курс Н. И. Кареева [22] по новой истории. С покойным В. И. Ламанским вышел курьез; курс, объявленный им в обозрении преподавания, значился «история славян». Когда В. И. Ламанский явился на первую лекцию, он выругал новый устав и заявил, что будет читать для специалистов «историю гуситского движения», а когда мы спросили: как же нам готовиться к экзамену, ответил: я почем знаю, спросите у тех дураков, которые сочиняли новый устав. Тем история славян для меня и закончилась. Об экзамене расскажу ниже <...> Курс по истории древнего Востока, впервые введенный в учебный план по уставу 1884 г., за неимением специалиста должен был читать Ф. Ф. Соколов и читал его, как мне он сам потом говорил, «с краскою на ланитах». Ф. Ф. Соколов чувствовал себя хозяином только в областях, где он мог сам дойти до источников. Источники по истории древнего Востока были ему недоступны в оригинале, он оказался в рабстве у переводчиков, переводчики его путали, так как каждый переводил по-своему, и несчастный Ф. Ф. Соколов должен был выбирать то, в чем переводчики оказывались согласны один с другим. И это «согласие» подчас находило свое выражение в таких отрывочных фразах курса: поход такого-то фараона в Эфиопию... победа... триумф и т. п. Лишь с воцарением у нас Б. А. Тураева, в конце

* История Греции (лат.). — *Сост.*

прошлого века, история древнего Востока не только расцвела, но и стала приносить обильные плоды <...>

Остается упомянуть еще о <...> М. И. Владиславлеве <...> У покойного М. И. Владиславлева я прослушал: логику, психологию, философию духа и «Федона» Платона. Философские материи М. И. Владиславлев излагал очень ясно, но и очень скучно и монотонно. «Федона» переводил почти буквально, так что понять и с греческим текстом в руках было трудно. Слушал я его уже на 4 курсе. Вскоре М. И. Владиславлев заболел и заканчивал курс молодой тогда, но и тогда уже блестящий профессор А. П. Введенский. Он стал нам читать прямо о Платоне, причем свою первую лекцию о нем начал так: «По одним, Платон родился в 429 г., по другим — в 427 г. Все равно, когда он родился; важно то, что он родился...» Это был живой родник по сравнению с омертвевавшим М. И. Владиславлевым <...>

При всех несуразностях и уродствах устава 1884 г., в нем была, однако, своя хорошая сторона. Это — отсутствие экзаменов в течение университетского курса (позже были восстановлены сначала полукурсовые, а потом и годовые экзамены). Экзамены в мое время были заменены «зачетами семестров», которые, если бы они были поставлены рационально, принесли бы, конечно, больше пользы, чем приносят экзамены, особенно по прослушанным курсам.[23] В мое время «зачеты семестров» были организованы так: к концу каждого семестра студент подавал письменное заявление декану факультета о том, какие произведения и какого автора, греческого и латинского, он взял себе для зачета. При этом нельзя было выбирать тех произведений, которые объяснялись в данный семестр профессорами. Во всем остальном студенты пользовались полным выбором, с соблюдением одного лишь условия: каждое выбранное произведение должно было заключать в себе не менее 360 страниц тейбнеровского текста.[24] В конце каждого семестра студенты были распределяемы по группам, и каждая группа назначалась к определенному профессору или приват-доценту. В сущности самая поверка была чисто формальною; классикам такие зачеты доставляли пользу в том отношении, что побуждали их самостоятельно читать авторов; для не классиков зачет, как проверка формальная, был удобен в том отношении, что не отвлекал их от занятий своей специальностью, или отвлекал их на короткое время. Замечу, еще, что зачет семестра не сопровождался выставлением каких-либо отметок; профессора спрашивали благосклонно и «прогоняли», т. е. заставляли приходить вторично, лишь заведомо недобросовестных студентов, или неучей <...>

Со второго года пребывания моего в университете введены были зачеты и по дополнительным предметам <...> Кстати припомнить, что и при производстве зачета В. И. Ламанский остался верен самому себе. Сначала он долго не понимал, или не желал понять, что это за зачеты заведены. Затем сказал, что ему безразлично, что студенты приготовят. Наконец, когда наступил назначенный день для производства зачета, В. И. Ламанский не явился, а когда мы потом упросили его все-таки

произвести нам зачет, он снова заявил, что никаких зачетов не знает, что желает иметь дело только со специалистами. Когда же мы заявили, что от незачета семестра последний у нас пропадет, В. И. Ламанский попросил составить список студентов, желающих получить зачет, взял этот список и, не спросив даже, что каждый из нас приготовил, подписал его. Тем дело и кончилось <...>

Слушание лекций, участие в практических занятиях, подготовка к зачетам — все это требовало от прилежного студента довольно значительного напряжения сил и большой затраты времени <...> Практические занятия у некоторых профессоров (напр<имер>, у Ф. Ф. Зелинского, В. В. Латышева) происходили иногда по вечерам, от 6 до 8 часов. <...> В промежутке между утренними и вечерними лекциями приходилось зарабатывать хлеб насущный путем давания уроков. Мне в этом отношении повезло: в течение всего моего пребывания в университете я имел урок в семье адмирала А. К. Шефнера, жившего в адмиралтействе. Таким образом, в те дни, когда приходилось бывать в университете и утром, и вечером, я все же был избавлен от необходимости ходить с Загородного, где тогда жил, в университет дважды. Правда, приходилось в такие перегруженные дни оставаться без обеда (иногда, впрочем, если было время, я оставался у Шефнеров обедать) и довольствоваться легкой закуской в виде обыкновенного трехкопеечного пеклеванника; студенческой столовой в мое время не было. Но мы тогда придерживались известного «не о хлебе едином» и пр. Вообще столь модными теперь вопросами «питания» интересовались как-то мало, хотя приходилось иногда бывать и впроголодь <...>

Лекции, практические занятия, работа над сочинением — так складывалась моя университетская жизнь <...>

Единственными развлечениями в однообразном времяпрепровождении, если не считать чтения и посещения театра, особенно итальянской оперы, служили происходившие в университете же вступительные лекции новых приват-доцентов, а иногда и профессоров, и ученые диспуты <...>

Но особенно привлекательны были ученые диспуты, эти истинные праздники науки. В моей памяти до сих пор свежо воспоминание о докторских диспутах покойных В. В. Латышева (История и государственное устройство г. Ольвии; официальными оппонентами были Ф. Ф. Соколов, П. В. Никитин и В. К. Ернштадт), Ю. А. Кулаковского[25] (К вопросу о начале Рима; оппоненты Ф. Ф. Соколов и Ф. Ф. Зелинский) <...>

Заключительная страница моих университетских воспоминаний — экзамены в государственной испытательной комиссии, или короче, государственные экзамены.

Я уже упоминал, что, по уставу 1884 г., никаких экзаменов в течение университетского курса не полагалось. Они все целиком сосредоточены были в государственных комиссиях; к ним допускались студенты, прослушавшие 8 семестров, получившие зачеты по ним, сдавшие экзамены по богословию и одному из новых языков и представившие, вместе с

выпускным свидетельством, зачетное сочинение и свою автобиографию, написанную на латинском языке (для составления последней мы широко пользовались латинскими curricula vitae,* прилагавшимися к немецким докторским диссертациям) <...>

Самые экзамены обставлены были торжественно. Они происходили в присутствии всей комиссии, состоявшей из 4-х членов и председателя; если экзаменатор по тому или иному предмету не принадлежал к составу комиссии, он приглашался ad hoc** из лиц преподавательского персонала факультета <...>

31 октября 1890 г. сдан был мною последний экзамен. Через месяц я был «оставлен при университете» без стипендии <...> С 1 февраля 1891 г. я <...> получил место «вольнонаемного писца при Музее древностей университета», с жалованьем 20 руб. в месяц <...>

С 1 февраля 1891 г. началась моя связь с университетом, не прерывавшаяся ни на один год <...> Для всех <...> «этапов» моей деятельности в университете немало накопилось у меня воспоминаний. Они отчасти радостные, отчасти обвеяны грустью. Но мои воспоминания о том времени, когда я был студентом университета, воспоминания исключительно светлые. Они проникнуты глубоким чувством благодарности к моим профессорам и наставникам, они проникнуты искреннею любовью к университету, который за 35 лет с лишком моего с ним общения должен был стать для меня и, конечно, стал истинною alma mater.***

---

* Жизнеописаниями (лат.). — *Сост.*
** Для этого (лат.). — *Сост.*
*** Матерью-кормилицей (лат.). — *Сост.*

И. Э. Грабарь

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛЕКЦИИ

Петербург поразил меня своей нарядностью, шириной улиц, высотой домов, уличным движением <...> В этот первый чудесный осенний день Петербург показался мне сказочно прекрасным, со сверкающей вдали адмиралтейской иглой, синей Невой, гранитной набережной и Петропавловским шпицем. Таким он остался для меня с тех пор навсегда: самым красивым городом Европы.

К любованию его царственной внешностью и чисто зрительным восторгом присоединялось, однако, смешанное чувство глубоко затаенного страха и томительного нетерпения: страха перед неведомым будущим, перед открывающейся новой жизнью, нетерпения поскорее узнать это будущее, окунуться в новую жизнь.

Наняв номер против самого вокзала и напившись чаю, я направился в университет <...>

Выправив в канцелярии все нужные документы и наведя необходимые справки о начале занятий, я пошел искать поблизости комнату <...>

Я меньше всего был студентом-лодырем, ибо аккуратно и неукоснительно посещал лекции, записывая их в тетради и читая в университетской библиотеке те книги, которые рекомендовались профессорами в дополнение к лекциям. Но самый состав профессоров, за единичными исключениями, был довольно серым, и лекции как-то не захватывали и не зажигали.

Первая из них, слышанная мною в университете, была лекция профессора *П. И. Георгиевского*[1] по политической экономии. Я поймал себя на чувстве какой-то особой удовлетворенности, когда, взойдя на кафедру и откашлявшись в кулак, профессор, человек небольшого роста, с темной бородой, в очках, отчеканил непривычное для гимназического уха: «Милостивые государи!» <...>

После этого обращения он начал: «Человек с его пытливым умом, с той божественной искрой, которая горит в нем. . .» и т. д.

Лекция мне показалась поначалу интересной, хотя и расплывчатой. Но это было только на первых лекциях: начиная с четвертой-пятой Георгиевского уже не хотелось слушать, — до того все эти мысли стали казаться скучными и банальными. Таково же было отношение к ним и всего курса. От второкурсников мы узнали, что Георгиевский из года в год читает без изменений тот же курс, выученный им наизусть <...>

— Ну что, опять «человек с его божественной искрой»? — спрашивали они <...>

К философии я всегда был довольно равнодушен. В университет я пришел уже с достаточным запасом сведений по истории философии. Получив начатки ее на уроках Грингмута,[2] я расширил и углубил их чтением книг, которые брал у Новгородцева, лучшего философа в среде московского студенчества. На первом курсе я от доски до доски прочел всю «Эстетику» Гегеля и одолел «Капитал» Карла Маркса.

Но меня и тогда захватывала скорее история политических учений, эволюция человеческой мысли, нежели проникновение в теоретические глубины сложных философских систем. На беду в лице профессора энциклопедии и философии права *С. А. Бершадского*[3] мы имели слабого философа и скучного лектора, говорившего плавно, без запинки, но монотонно, механично, а главное — бессодержательно. Да его и не интересовали вопросы философии: он всецело был поглощен архивными изысканиями для своих ценных книг по истории литовских евреев[4] <...> Если бы все университетские преподаватели были такими <...> незачем было бы ходить на лекции, которые отлично можно было прочесть по изданным курсам. Я недоумевал, в чем же смысл университетского преподавания? По счастию, было у нас несколько преподавателей иного порядка. К ним относились: *Коркунов, Дювернуа, Сергеевич, Мартенс.*

Николай Михайлович Коркунов[5] получил кафедру государственного права после *А. Д. Градовского,*[6] умершего перед самым моим приездом в Петербург. Не блестящий лектор, он был очень одаренным теоретиком права и крупным государствоведом. Но нам, студентам, он был не очень по душе из-за выдвинутой им политической доктрины «субъективного реализма», являвшейся <...> теоретическим обоснованием самодержавия.

Совсем другое отношение установилось у нас к *Николаю Львовичу Дювернуа,*[7] профессору гражданского права, прекрасному лектору, умевшему заинтересовать и волновать аудиторию, которая слушала его с неослабным вниманием. Бритый, с лицом актера, он читал с увлечением, постоянно переходя с современного гражданского права в область римского права, которое в его устах приобретало новый смысл и иной интерес <...>

Но самым блестящим лектором за все четыре университетских года был *Василий Иванович Сергеевич.*[8] Его лекции вытесняют в моей памяти все остальные, какие приходилось прослушать за эти годы. Из всех профессоров его внешность запомнилась исключительно отчетливо и ясно:

сухой, седой, с прической ежиком, с острыми усиками и подстриженной бородкой, заостренным носом, лукавой улыбкой и прищуренными глазами, он имел нечто обаятельное во всем облике, в манере говорить и жестикулировать. Ни одной его лекции я не пропустил. Вообще я с увлечением слушал всех историков и все лекции, хоть сколько-нибудь затрагивавшие историю. Так, история римского права меня волновала более, чем догма. И в дальнейших курсах интересовало только то, что раскрывало те или другие стороны исторических процессов, например курс международного права. Знаменитый *Федор Федорович Мартенс*[9] читал достаточно холодно и скучно, но так как излагавшиеся им исторические факты были захватывающе интересны и новы, да и сам он был фигурой европейского масштаба, то его лекции я также не пропускал. Мартенс любил иногда пококетничать своим положением в министерстве иностранных дел и участием в качестве арбитра во многих международных конфликтах. Всегда с иголочки одетый, в длинном черном сюртуке, бритый, с щетинистыми, с проседью, усами, он не садился за кафедру, а становился подле нее и, заложив правую руку за борт сюртука, говорил: «В этом споре Швеции с Данией ваш покорный слуга имел честь быть приглашенным в арбитры. . .»

Сергеевич читал с юмором, лукаво щуря близорукие глаза, перед тем как озадачить слушателей новой шуткой, остротой или забавным сопоставлением. В таких случаях он, подняв на лоб очки, низко наклонялся над своими выписками из древне-русских юридических актов и со смаком произносил какое-нибудь словечко, давно утратившее свой первоначальный смысл и с течением времени приобретшее иное значение, часто не совсем пристойное. Как опытный лектор, он прибегал к этому приему каждый раз, когда замечал зевки на задних партах, а до звонка еще оставалось двадцать драгоценных минут.

Желая расширить свои знания и кругозор в области истории, я начал ходить на лекции историко-филологического факультета, что в мое время было легко осуществимо. У юристов, особенно популярных, аудитории были полны до отказа, хотя это были самые большие помещения во всем университете. Филологи и историки читали в маленьких комнатах, и их слушали 3, 5, много 10 студентов. Никто из профессоров не интересовался, все ли его слушатели — филологи, и я мог свободно ходить в любую аудиторию. Меня филологи считали своим, и я действительно прослушал курс историко-филологического факультета значительно полнее и добросовестнее, чем юридического. Основательное знание латинского и особенно греческого языков сильно мне помогло, и я должен признаться, что извлек из посещения лекций чужого факультета больше, чем получил на своем. Особенно много я получил от *Василия Григорьевича Васильевского,*[10] читавшего официально курс всеобщей истории, но в сущности ограничивавшегося историей византийской культуры, и от *Никодима Павловича Кондакова,*[11] читавшего вместо курса классической филологии увлекательные лекции по истории византийского искусства <. . .>

Н. Я. Марр

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Занимался я в университете по трем разрядам: кавказскому, где тогда были лишь армянский и грузинский языки, арабско-персидско-турецкому и семитическому, где были языки — еврейский, арабский и сирийский, заключенный тогда в группе так называемых халдейских наречий.[1] На второй же год занятий арабским, в 1886 г., меня поразило родство грузинского языка с семитическими. Мое заявление об этом наблюдении встречено было более чем скептически. Известный ориенталист Розен[2] (арабист) предсказывал мне полное фиаско, сказав, что если бы это было верно, то не ждали бы приезда кого-либо с Кавказа и давно это стало бы известно. Не лучшее отношение я встретил к поставленной мною проблеме и в среде товарищей. Мне пришлось углубиться в изучение семитических языков и в лингвистическую литературу по этой области. В национальной среде кавказского студенчества меня поддержали прежде всего грузины, относившиеся с доверием ко мне еще по воспоминаниям из гимназии. Впоследствии, когда я в значительной степени случайно занялся раскопками городища Ани, армяне из университетских товарищей также стали поддерживать меня.[3] С грузинами меня объединяла еще общественная мысль. Мы мечтали об освобождении Грузии на путях национального движения.[4] Помню, как, будучи студентом, с одним моим еще гимназическим товарищем мы давали друг другу взаимные клятвы «не слагать оружия», пока не освободим Грузию. Он впоследствии стал директором банка, а я — академиком <...>

Еще на студенческой скамье я стал невольным виновником огорчений моего профессора по грузинскому языку, который не мог переваривать ни моих лингвистических, ни моих литературно-исторических выводов, и он стал дискредитировать мою дипломную работу. Он видел во мне претендента на его кафедру, хотя я на кафедру совсем не зарился, а мечтал о работе на родине.[5] Но антинациональная политика Кавказ-

ского учебного округа, рассматривавшего изучение грузинского или армянского языка как акт национальной гордыни и всячески насаждавшего идеологические раздоры в среде народов Кавказа, также не создавала нормальной обстановки для работы. Мне было предложено Кавказским учебным округом в 1889 г. совершить поездку в Сванию; но в грузинской среде я почувствовал нарастание недовольства за мое утверждение о связях грузинской литературы с персидской, о персидском происхождении фабулы гениального грузинского поэта Шоты из Руставы, недовольства, превратившегося в бурю негодования, когда я стал выяснять факт перевода первого памятника грузинской письменности — Библии — с армянского. Пришлось вернуться в Петербург и согласиться на предложение, сделанное мне арменистом, профессором К. П. Паткановым,[6] — готовиться к профессуре по армянской словесности, языку и литературе[7] <...>

Работая перед окончанием курса над медальной темой по грузинской литературе, я был материалами поставлен лицом к лицу с изумительным для себя фактом. Литературные сюжеты персидского народа, мусульманского, оказались воспринятыми как родные национальные неродственным с ним народом, притом христианским,—именно грузинским, собственно его феодальным сословием, ныне же носителями его пережиточной идеологии — мешаной феодально-буржуазной интеллигенцией. В массовых же народных слоях те же сюжеты оказались запросто сплетенными, — казалось бы, чудовищное скрещение? — с христианскими легендами и исконным родным грузинским, вернее кавказским, именно яфетическим эпосом, сплетенными в одном цельном творчестве, без внимания и к расовой, и к религиозной, и к классовой разнородности происхождения скрещивавшихся сказаний. В Университете эта медальная моя работа была опорочена, как не научная, профессором, на суд которого она была представлена,[8] а на родине, в Грузии, старая общественность меня занесла в проскрипционный список отрицателей грузинской культуры и даже врагов грузинской национальности с таким успехом, что лучшие мои ученики, вначале сами боровшиеся с этой клеветой, в конце концов — уже в эти последние годы — сделались добровольными поборниками той же мысли, захваченные мощным в окружающей их среде националистическим течением <...>

А. Н. Бекетов

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ, ОСОБЕННО ПЕТЕРБУРГСКИХ

Характер русского студенчества определяется многими обстоятельствами, из которых важнее всех следующие три: 1) университетский диплом дает право на занятие известных должностей в среде государственной бюрократии; 2) в университеты поступают молодые люди всех сословий, которые в России сохраняют еще свои резкие особенности; 3) в университетах сходятся люди с различных концов обширной империи, которые приносят с собою областные особенности, часто весьма резко выраженные.

Великороссы, малороссы, сибиряки, немцы, поляки, грузины и армяне, евреи — отличаются между собой очень явственно. Даже между великороссами существуют весьма заметные различия: москвичи, костромичи, пермяки, например, отличаются даже говором, не говоря уже о характере.

Вс<е> эти три главных обстоятельства, действуя единовременно, порождают большое разнообразие, которое трудно уловить и еще труднее охарактеризовать в нескольких словах.

К ним присоединяется еще одно важное обстоятельство, а именно, всеобщая бедность студентов. Процент бедных или малоимущих очень высок. В Петербургском университете, напр<имер>, число получающих стипендии или временные пособия доходит часто до половины всего числа.

Причин тому много. Главнейшая заключается в том, что богатые классы общества редко отдают своих детей в университеты, предпочитая помещать их в привилегированные заведения, где гораздо скорее и с гораздо меньшим трудом можно получить диплом и хорошее положение в бюрократии.

Вторая важная причина бедности русского студенчества лежит в том, что в университет допускаются только кончающие курс в классических гимназиях или в духовных семинариях. Реальные гимназии или,



И. Е. Репин. Студент. Этюд 1883 г.

как их теперь переименовали, училища, не выпускают [одно слово неразобрано], несмотря на то, что в них дается образование несравненно более солидное и обширное, чем в большинстве семинарий.[1]

Семинаристы же, поступающие массами в университеты, почти все бедны, нередко до того, что им не на что купить хлеба.

Состояние русского общества очень хорошо отражается в наших университетах, в особенности таких, как П<етербургский> и Моск<овский>, которые довольно сильного состава. Высшие классы в них представлены необыкновенно слабо. Крестьянское сословие также до-

нельзя редко в стенах университетов. Все больше сыновей чиновников, бедных или малосостоятельных дворян и семинаристов. Таким образом, высшего образования избегают две крайности русского общества, хотя по причинам совершенно противоположным: одни потому, что могут пользоваться привелегиями, другие — по бедности и невежеству.

Если принять во внимание, что семинаристы, будучи почти всегда детьми сельских духовных лиц, бедных, отягченных многочисленным семейством и мало цивилизованных, сами отличаются грубостью нравов, то будет понятно, что в каждом университете можно различить две группы: бывших семинаристов и бывших гимназистов.[2]

В русских ун<иверситетах> наиболее многочисленны три факультета: факультеты юридический, физико-математический и медицинский. Филологиею занимаются весьма мало. Еще меньше восточными языками и ориентальными предметами. Впрочем, у нас только в П<етербурге> и есть ф<акультет> восточных языков. Самые обычные два ф<акультета> во всех русских ун<иверситетах> — это юридический и медицинский. Только в Петербургском физико-математический равен по числу студентов и юридическому <...>

От этой массы отличается меньшинство, состоящее тоже из молодых людей всех сословий и всех состояний. Это-то меньшинство, б<олее> или м<енее> значительное в разные годы и в разных университетах, выделяясь на общем фоне картины, заключает в себе характерные черты нашего студенчества, заправляя б<олее> или менее самою массою. В нем хранятся традиции университета, в нем прочны руководящие идеи, принципы и идеалы всего русского студенчества. Разумеется влияние этого меншинства в разные эпохи нашей университетской жизни то усиливалось, то ослаблялось, получало различные оттенки, но никогда не переставало действовать. Тут не следует предполагать какой-нибудь особой организации, каких-нибудь правильных, заранее обдуманных действий. Это не свойственно юношеству, особенно русскому. Солидарность между членами этого меньшинства основана на сходстве стремлений при общих чертах в образовании. Молодость есть та пора в жизни, в которую человек особенно горячо сочувствует всему хорошему, прекрасному и великому.

Русское студенчество не составляет исключения из этого правила. То меньшинство, которое можно считать представителем и хранителем лучших идей русской университетской молодежи, может смело охарактеризовать свою нравственную физиономию словом: *гуманность*, человечность.

Во времена крепостного права оно мечтало об освобождении крестьян, в теперешнее время оно мечтает об улучшении быта и благоденствия тех же крестьян, уже освобожденных, и пр. и пр.

Однако же университетское меньшинство активною политикою никогда не занималось и не занимается и теперь. Мнение о политической агитации, которую будто бы вели и ведет университетская мысль, основано на отрывочных фактах и совершенно ложно.

В каждом университете есть несколько идеалистов, которые полагают возможным применить свои знания к непосредственной действительности, но они никогда не имели на массу влияния.

Меньшинство, о котором идет речь, превосходно сознает, что нельзя единовременно заниматься науками и какими бы то ни было общественными делами. Оно сознает также, особенно в наше время, что высшая обязанность студента перед народом заключается в выработке в себе гражданской и общественной доблести, в приобретении знания и привычки к труду <...>

Сознательные и зрелые студенты скорбят теперь больше всего об ослаблении корпоративного духа в русском студенчестве. Они справедливо полагают, что знание и даже труд останутся безнадежными, если не будет общего развития, которое приобретается в общении более развитых с мало цивилизованными. Если в университетах происходят время от времени волнения и вспышки, то все это ради стремления к этому общению: одни требуют его ради себя самих, другие ради товарищей. Большинство всегда откликается на подобные проявления, и это нередко принимается за политическую агитацию. Они просят товарищества, каких-нибудь учреждений, а возгласы их принимаются за политическую агитацию <...>

Все это показывает, что русскому студенчеству очень трудно живется.

Студенты живут по б<ольшей> ч<асти> в разброде. Мало кто из них имеет обширное знакомство между товарищами. Больше еще знакомы между собой студенты, принадлежащие к одному и тому же курсу одного и того же факультета. Но и это знакомство по б<ольшей> ч<асти> ограничивается свиданиями в стенах университета, отчасти свиданиями в кухмистерских, куда ходят ежедневно обедать те, у кого нет семейства. Несколько ближе знакомы студенты-медики и натуралисты, работающие вместе в лабораториях, в анатом<ическом> театре и пр.

Некоторые из бедных живут по нескольку, но если такое общежитие составляется больше, чем 3 или 4, то полиция уже смотрит подозрительно и при малейшем удобном случае врывается в дом и разгоняет веселящихся или сообща занимающихся. Разумеется, все это практикуется с бедными. Некоторая часть русского студенчества, особенно бывшие семинаристы, отличается, как то видно из сказанного выше, большою простотою нравов, часто грубостью форм, напоминающую жизнь простолюдина.

Веселье этой части студенчества нередко шумно и отзывается изрядным русским разгулом, мало подходящим к представлению о студентах <...>

Жизнь бедного студента нигде не сладка. Тесное помещение, часто в отдаленной части города, обед в кухмистерской по б<ольшей> части плохой и мало питательный, хождение пешком во всякое время года, иногда недостаточно теплая одежда, развлечения состоят в редком

посещении театра, разумеется в раек <...> Присоедините сюда чтение книг и газет, изредка разгульный шумный вечер. Кроме обеда, непременно утром и вечером чай, сопровождаемый обильными ломтями хлеба, и вечером разговорами в тесном кругу товарищей. Те, которые добьются уроков, считают себя счастливыми.

Летом многие отправляются в деревню или на дачу в семейные дома, где занимаются уроками. Так живет большинство русских студентов, не имеющих своих семей в унив<ерситетском> городе. Одни получше, другие похуже <...>

Отношение русского студенчества к женщинам подтверждает сказанное об их нравственности, и многие из них вступают в брак вскоре по выходе из университета, немало и таких, которые женятся, будучи еще студентами. Так, напр<имер>, в Петер<бургском> унив<ерситете> около 100 женатых.

Нельзя, разумеется, утверждать, что наши студенты отличаются вообще целомудрием, но разврат между ними — явление редкое <...>

В. В. Вересаев

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Университет. Бесконечно длинное, с полверсты, узкое здание. Концом своим упирается в набережную Невы, а широким трехэтажным фасадом выходит на Университетскую линию. Внутри такой же бесконечный, во всю длину здания, коридор, с рядом бесчисленных окон. По коридору движется шумная, разнообразно одетая студенческая толпа (формы тогда еще не было). И сквозь толпу пробираются на свои лекции профессора — знаменитый Менделеев с чудовищно-огромной головой и золотистыми, как у льва, волосами до плеч; чернокудрявый, с толстыми губами Александр Веселовский;[1] прямо держащийся Градовский; высокий и сухой, с маленькою головкою Сергеевич.

Огромные аудитории физико-математического и юридического факультетов, маленькие аудитории нашего, историко-филологического.

В актовом зале ректор Иван Ефимович Андреевский [2] сказал молодым студентам речь. Невысокий, седенький. Простирал руки к студентам, как будто хотел их всех обнять, и убеждал заниматься одною только наукою. И говорил:

— Не ломать и разрушать — призвание университетских деятелей, а творить и действовать. Не разрушение власти их задача, а уважение порядка и власти!

Я стал усердно слушать лекции, какие полагались на первом курсе: древнюю историю, логику, общее языкознание, русскую историю. Кроме того, много было обязательных лекций по древним языкам. Это свалилось на поступивших совершенно неожиданно, вместе с только что опубликованным новым университетским уставом 1884 г.[3] Раньше на историко-филологическом факультете было три отделения: словесное, историческое и классическое. Теперь оставлено было только два — словесное и историческое, но на обоих преобладающее число лекций и практических занятий было отдано классическим языкам, которые стали

обязательными для слушателей всех отделений. Многие студенты, когда узнали об этом, немедленно перевелись на юридический факультет: поступали они с целью изучить литературу или историю, а вовсе не классические языки, достаточно набившие оскомину и в гимназии <...>

Взошел на кафедру маленький горбатенький человечек. Черноседая борода и совсем лысая голова с высоким, крутым лбом. Профессор русской литературы, Орест Федорович Миллер.[4] Он говорил о Византии, о византийском христианстве, о «равноапостольном» византийском императоре Константине Великом. Из-за кафедры видна была одна только голова профессора. Говорил он напыщенным, декламаторским голосом, как провинциальные трагики.

— И этот-то вот злодей, этот вероломный убийца, с ног до головы обрызганный кровью (он все повышал голос, сделал паузу и закончил трагическим шепотом), был признан православною церковью — *святым!* (Последнее слово он прошипел чуть слышно.)

Я с иронией слушал, и мне хотелось, чтоб этот кривляющийся горбун заметил мою ироническую улыбку. Помним! Мы хорошо помним рецензию Добролюбова на магистерскую диссертацию Ореста Миллера «О нравственной стихии в поэзии». Рецензия начиналась так:

Книжонка не стоит серьезного разбора, и мы хотели было промолчать о ней, как молчали мы о «Сонниках», «Оракулах» и т. п. бестолковых изделиях писального мастерства... Ведь, наверное, те, которые не с первой страницы бросят книжонку эту, как бездарную пошлость, — наверное, те не станут читать журнальных критик.

А заканчивалась рецензия обращением к юношам, которых могло бы ввести в соблазн то, что перед ними — магистерская диссертация:

Не верьте, любезные юноши, что нравственность состоит в отречении от своей воли и ума, как силится уверить г. Орест Миллер, и знайте, что, напротив, всякий, кто поступает против внутреннего своего убеждения, есть жалкая дрянь и тряпка; и только напрасно позорит свое существование.

Только постепенно, уже много позднее, мы научились любить и глубоко уважать этого маленького горбуна с напыщенною речью, так заклейменного Добролюбовым.[5]

Орест Миллер не был крупным ученым и в истории науки имени своего не оставил. Наибольшею известностью пользовалась его книга «Русские писатели после Гоголя», собрание публичных лекций о новых писателях — Тургеневе, Льве Толстом, Достоевском, Гончарове и т. д., — статей журнально-критического типа. Он был страстным почитателем Достоевского, с большим наклоном к старому, чуждающемуся казенщины славянофильству. В то время ходила эпиграмма:

Москва, умолкни, Stiller! Stiller!*
Здесь Петербург стал Петроград.
Здесь Гильфердинг, Фрейганг и Миллер
Дела славянские вершат.

---

* Тише! Тише! (нем.). — *Сост.*

За что его горячо любило и уважало студенчество, это за необычайную отзывчивость на все студенческие горести и невзгоды, за всегдашнюю готовность прийти на помощь решительно всем, чем только мог. Это был святой бессеребренник. Слово «студент» служило для него полной гарантией благородства и порядочности человека. Сколько его ни надували, он не становился осторожнее. Нужна ли была кому из студентов книга, материальная помощь, рекомендация — всякий шел к Оресту Миллеру и отказа никогда не встречал. Однажды пришел к нему студент просить денежной помощи, а у самого профессора в это время не было ни рубля. Входит портной, приносит профессору новосшитый, заказанный им фрак. Орест Миллер в восторге всплеснул руками:

— Вот кстати! Возьмите, коллега, фрак и заложите.

После больших хлопот и хождений по начальству Оресту Миллеру удалось основать при университете студенческое Научно-литературное общество, где студенты выступали с рефератами на научные и литературные темы. По тому времени подобное общество было явлением совершенно небывалым. Председателем общества был Орест Миллер.[6]

Жил он одиноко. Рассказывали, что в молодости он любил девушку, она умерла, и на всю жизнь он остался верным ее памяти и девственником. Осенью 1887 г., после смерти Каткова, Орест Миллер посвятил лекцию резко отрицательной оценке его деятельности и за это был уволен из университета. Умер от разрыва сердца в 1889 г.

Жить было трудно и грустно.

Получали мы с братом Мишею[7] из дома по двадцать семь рублей в месяц. Приходилось во всем обрезывать себя. Горячую пищу ели раз в день, обедали в кухмистерской. Утром и вечером пили чай с черным хлебом, и ломти его посыпали сверху тертым зеленым сыром. Головки этого сыра в десять копеек хватало надолго. После сытного домашнего стола было с непривычки голодно, в теле все время дрожало чисто физическое раздражение. Очень скоро от обедов в кухмистерской развился обычный студенческий желудочно-кишечный катар <...>

Профессором русской истории числился у нас К. Н. Бестужев-Рюмин,[8] солидный ученый, придерживавшийся консервативно-славянофильского направления. Но он тяжело хворал и в университете совсем не показывался. Читали русскую историю два приват-доцента — Е. Е. Замысловский и В. И. Семевский.[9]

Замысловский был седой старичок чиновничьего вида, с небольшой головкой; когда он читал лекцию, брови его то вползали высоко на лоб, то спускались на самые глаза. Был он глубоко бездарен, единственным его известным трудом являлась работа справочного характера — учебный атлас по русской истории. На лекциях его сидело всего по пять-шесть человек.

Под лекции другого приват-доцента, В. И. Семевского, пришлось отвести самую обширную из всех университетских аудиторий — седь-

мую, менделеевскую. И она с трудом вмещала всех, желавших послушать Семевского. Его лекции посещали и юристы, и естественники, и математики. Василий Иванович Семевский был младший брат издателя-редактора «Русской старины» Михаила Ивановича Семевского. Михаил Иванович держался чрезвычайно лойяльно по отношению к власти, и журнал его пользовался полнейшими симпатиями в высших сферах. Василий же Иванович был по убеждениям революционер-народник, предметом его исторических исследований были крестьянство и крестьянский вопрос.

Известны его капитальные труды: «Крестьяне при Екатерине II», «Крестьянский вопрос в XVIII и первой половине XIX века». У нас в университете он читал историю России XVIII века, — читал, конечно, далеко не в официальном духе. В реакционных органах печати — в «Московских ведомостях», в «Гражданине» — печатались на Семевского непрерывные доносы за его лекции в университете. Бестужев-Рюмин заявлял, что, пока жив, ни за что не допустит, чтоб его кафедру занял этот развратитель молодежи.

Однажды мы ждали Семевского в битком, как всегда, набитой седьмой аудитории. Вошел Семевский с целым сонмом всяческого начальства. Был тут попечитель нашего округа Новиков, генерал в серебряных эполетах, товарищ министра народного просвещения кн. М. С. Волконский, высокий, с узким лицом и редкой черной бородой, в каком-то гражданском темно-лиловом мундире с золотым шитьем. На нем с особенным недоброжелательством останавливались все взгляды: был он сын декабриста Волконского, сын Марии Волконской, воспетой Некрасовым, и занимал теперь пост помощника душителя свободной науки. Были тут еще какие-то чиновники из министерства народного просвещения, был и благодушный, все и всех старающийся примирить ректор наш Андреевский. Вошедшие разместились на первой скамейке, а Василий Иванович взошел на кафедру и приступил к чтению очередной лекции.

Крутой, очень высокий лоб, редкая бородка, поношенный сюртук. Сейчас обидно и больно было за него, — он не мог побороть волнения и начал лекцию задыхающимся, срывающимся голосом. Однако содержания лекции нисколько не смягчил против обычного. Рассказывал он, как грозный начальник екатерининской «тайной экспедиции» Шешковский допрашивал молодых студентов, арестованных в связи с делом Н. И. Новикова, как сказал им: «Матушка-императрица приказала бить вас поленом, если вы во всем не сознаетесь». (Хохот аудитории.) И как студент Лопухин ответил: «Не верю я, чтоб рука, подписавшая „Наказ", могла подписать такое повеление!» (Хохот и рукоплескания.) Генерал Новиков (может быть, тоже потомок Н. И. Новикова?) сидел прямо, внимательно слушал и загадочно глядел на лектора.

Вскоре лекции Семевского прекратились. Мы узнали, что он уволен из университета. Кафедру русской истории занял Е. Е. Замысловский <...>

Приехал осенью в Петербург. Понемножку расширялись знакомства, приобретались новые связи. Работа в нашем кружке становилась все интереснее.[10] И все полнее охватывало душу настроение темной безвыходности, в которой билась общественная жизнь того времени.

Тяжкое было время и глухое. После 1 марта 1881 г. народовольчество быстро пошло на убыль. Вера в плодотворность индивидуального террора все больше падала. А других путей не виделось. Самодержавие с тупою свирепостью давило всякую общественную самодеятельность, всякое сколько-нибудь широкое общественное начинание.

Вот какие течения намечались в то время в студенческой среде.

Все больше ширилась проповедь «малых дел» <...>

Прежнее боевое, революционное народничество теперь тоже принимало более пассивную окраску. Высказывалась мысль, что, собственно говоря, для строительства социализма не так уж необходима предварительная политическая свобода: устроение жизни на социалистических началах возможно и под игом самодержавия. Радостно отмечались все прогрессивные течения и начинания в крестьянской земельной общине, все попытки артельного объединения кустарей. Энергия исследователей с жадным вниманием устремлялась на изучение сектантства, особенно рационалистических сект — штундистов, молокан, духоборов; отмечалось их стремление строить все взаимные общественные и экономические отношения на началах строгой справедливости, «по божьей правде», и в этом усматривалось зерно будущего социалистического строя. Ни одной почти книжки народнически-прогрессивного журнала не обходилось без статьи о сектантах, открывались все новые секты — дурмановцы, балабановцы, рассказывалось об удивительных их достижениях на пути чисто коммунистического жизнеустройства.[11]

Однако мысль о возможности сколько-нибудь серьезного преобразования жизни при наличии самодержавия разделялась сравнительно немногими <...>

В кружке нашем появился новый член — студент-естественник старших курсов Говорухин. Он, видно, был умница, очень был начитан в общественных вопросах. Плотный, коренастый, с редкою бесцветною бородкою, сжатыми тонкими губами и внимательно приглядывающимися глазами. Как будто он все время тайно кого-то среди нас разыскивал или выбирал.

Я уже говорил,— мы были в связи с некоторыми другими кружками и обменивались с ними докладами. Делали это так: докладчик и его «официальный оппонент», заранее ознакомившийся с докладом, являлись в другой кружок и там читали доклад и клали начало беседе. У Говорухина был свой кружок. Однажды он привел к нам из этого кружка докладчика. Был это юный первокурсник-студент юридического факультета, с молодою и мягкою круглою бородкою, со взглядом исподлобья. Фамилия его была Генералов.

Он прочел очень длинный и довольно сумбурный доклад на какую-то, не помню, общественно-экономическую тему. Было очень много

цитат из Михайловского, В. В. Лаврова и Плеханова. Раскатали его жестоко за сумбурность доклада, за неясность и противоречивость высказанных взглядов. Говорухин защищал его твердо и искусно, и было в этой защите что-то трогательно-любовное, как будто защищал он своего младшего брата. Во взглядах, высказанных Говорухиным, было что-то для меня совершенно новое: никакой не было боязни перед развивающимся капитализмом, перед обезземелением мужика, подчеркивалась исключительно революционная и творческая роль пролетариата. Еще больше меня в этом отношении заинтересовали цитаты из Плеханова, которые приводил докладчик,— я о Плеханове до того времени ничего не слышал. Спросил Генералова, как заглавие книжки Плеханова.

— «Наши разногласия».

Я вынул записную книжку, чтобы записать. Говорухин улыбнулся:

— Так не записывайте. Зашифруйте. Это нелегальная книга <...>

В конце предыдущего, 1886 г., Союз студенческих землячеств открыл свою студенческую столовую. Союз был учрежден нелегальным, и юридически столовая числилась частным предприятием.[12] Я стал обедать в этой столовой.

Однажды в конце февраля шел я из столовой. Помещалась она на Среднем проспекте Васильевского острова. Навстречу Генералов. Тот молодой студент, который в конце прошлого года читал у нас в кружке доклад. Остановились, поговорили. Меня поразило его лицо: все оно как будто светилось мягким, торжественным и грустным светом; как будто он смотрел на меня с какой-то большой высоты; и теперь не было обычного его взгляда исподлобья, глаза смотрели прямо и както... не могу подыскать менее торжественного слова: как-то благостно. Простились, разошлись. И перед глазами все стояло это изумительно преображенное, светящееся лицо.

4 марта 1887 г. в газетах появилось следующее правительственное сообщение:

1 сего марта на Невском проспекте около 11 час. утра задержаны три студента С.-Петербургского университета, при коих по обыску найдены разрывные снаряды. Задержанные заявили, что они принадлежат к тайному преступному обществу, а отобранные снаряды по осмотре их экспертом оказались заряженными динамитом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином.

Все в университете уже раньше появления правительственного сообщения знали о случившемся, что готовилось покушение на Александра III, возвращавшегося из Петропавловской крепости с панихиды по его отце. А мы еще узнали, что одним из трех арестованных метальщиков был Генералов, а организатором заговора — Говорухин, что он успел бежать за границу. В числе арестованных называли еще Лукашевича и Ульянова. С Лукашевичем я знаком не был, но по описанию сразу представил его себе — часто видел его в университете; своею необычайною наружностью он невольно бросался в глаза: гигантского роста, с белым, нежным, девическим лицом и девическим румян-

цем<...> А Александра Ульянова я встретил раз у студента Михаила Туган-Барановского. В памяти остались черные прекрасные, очень серьезные глаза и черная блуза, подпоясанная ремнем.

Позже я узнал, что метальщики уже с 26 февраля ежедневно к 11 часам утра выходили со снарядами на Невский, подкарауливая царя. Встретил я Генералова в один из этих напряженных дней, когда он, очевидно, возвращался с Невского после бесплодного ожидания проезда царя и так обычно, как все, шел обедать в кухмистерскую, чтобы завтра снова итти на свою предсмертную прогулку по Невскому.

Было радостно, гордо и страшно. Ждала их казнь, это было несомненно. Рассказывали, что в Петропавловской крепости их подвергают пыткам, чтобы выведать подробности и участников организации. Букинист в Александровском рынке злорадно говорил:

— Накормят селедкой доотвалу, а воды потом не станут давать... Небось, сразу все расскажут!

6 марта, по вывешенному объявлению, студенты собрались в актовом зале университета. Взошел на кафедру ректор Иван Ефимович Андреевский. С обычным своим жестом, простирая к студентам руки, он заговорил взволнованно:

— Господа! Я поражен! Я потрясен! Убежден, что и вы все, до последнего человека, разделяете со мною жгучее негодование по поводу происшедшего...

Мы закричали из разных концов зала:

— Нет! Нет!

Ректор продолжал:

— Я знаю, что, с грустью преклоняясь перед совершившимся, вы все, однако, чувствуете необходимость выразить все ваше негодование и сказать о вас сомневающимся: студенты Петербургского университета всею силою своей молодой души протестуют против совершившегося гнусного поступка...

Мы яро, во весь голос, кричали:

— Нет! Нет!

Но нас дружно глушили рукоплескания большинства. Ректор с кафедры обратился к нам и сказал вполголоса:

— Как же нет? Вы слышите — рукоплещут?

И он огласил проект адреса на имя царя:

«Ваше императорское величество, государь всемилостивейший! Три злоумышленника, недавно сделавшись, к великому несчастью С.-Петербургского университета, его студентами, своим участием в адском замысле и преступном сообществе нанесли университету неизгладимый позор...»

— Мы гордимся ими!— раздались крики, задушенные рукоплесканиями.

— «Тяжко! Скорбно! Безвыходно!— продолжал читать ректор — И в эти горестные дни С.-Петербургский университет в целом его составе, все его профессора и студенты ищут себе единственного утеш-

ния в милостивом, государь, дозволении повергнуть к священным стопам вашего величества чувства верноподданнической преданности и горячей любви».

По залу перекатывались рукоплескания.

— Вы подпишетесь под адресом?

— Ни за что!

Спрашивал высокий студент с черной бородкой, бледный и очень взволнованный. Фамилия Порфиров. Я с ним встречался в библиотеке студенческого Научно-литературного общества, где мы оба работали библиотекарями.

Подошел Воскобойников, студент-естественник, член нашего кружка. Еще подошли. Я предложил:

— Когда пригласят подписываться, выйдем все первыми, один за другим, и заявим, что отказываемся подписаться <...>

Мы протолкались сквозь гущу студентов и стали в первом ряду. Но ректор проявил большую осторожность, а может, и мягкость душевную: студентам не было предложено подписаться.

Ректор сошел с кафедры. Не смолкая, гремели рукоплескания. Один студент вскочил на подоконник и затянул «Боже, царя храни!». Его стащили за фалды. Но та же песня раздалась с другого конца, и масса дружно подхватила. Студенты валили к выходу, демонстративно-широко раскрывали рты и пели.

Я пошел в библиотеку нашего Научно-литературного общества. Порфиров, схватившись за голову и наклонясь над столом, рыдал. Остальные все стояли бледные, растерянные и подавленные.

Эта патриотическая манифестация студенчества в моем воспоминании стоит вехой, отмечающей обрывистый уклон в общественных настроениях студенчества во второй половине восьмидесятых годов. На глазах настроения эти катились в откровенную грязь <...>

Покушение 1 марта 1887 г. было последнею вспышкою революционных террористов.[13] И все стало тихо. Жизнь превратилась в мутное, мертвое болото. Горизонт был темен. И становилось кругом все темнее <...>

9 мая 1887 г. в газетах появилось официальное сообщение о покушении 1 марта — изложение дела, суда, приговор и в заключение:

Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение 8 сего мая 1887 года.[14]

Одно — читать подобные сообщения о незнакомых, и совсем другое, когда в страшной ясности видишь воображением живые лица — взгляд исподлобья и молодую бородку одного, прекрасные, серьезные глаза другого, — и как лица эти исказились от стянувшей горло петли. <...>

А. И. Ульянова-Елизарова

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ А. И. УЛЬЯНОВА

Саша приехал в Питер в 1883 г., в августе.[1] Лекции по большей части еще не начинались. И он ходил читать в Публичную библиотеку. Помню, что читал Дарвина и другие научные книги по естествознанию. Помню, что я, не знавшая, куда притулиться в Петербурге, и, с другой стороны, не составившая себе программы чтения, спросила: «А можно ли там новые журналы получать?» И почувствовала себя сконфуженной, когда он сказал: «Думаю, что да, но не знаю. Я их не спрашивал».— Я почувствовала, как всегда чувствовала перед ним, что вот человек знает, что ему надо, не мечется и не ищет, как я, и времени даром не тратит. И, просидев иногда и утро на лекциях или за практическими занятиями, идет и по вечерам читать научные книги<...>

Уменье ставить перед собой главную цель и неуклонно итти к ее осуществлению, страстная любовь к науке спасали его первое время.

Саша был очень доволен лекциями профессоров, лабораторными занятиями. Это была уже не его кухонька в Симбирске. Перед ним было открыто в области любимой науки все, что могла дать тогдашняя мысль. И он с жадностью набросился на все это. Кроме университетских занятий, в Питере имелись книги, которых не достать было в Симбирске. Он брал их в университетской библиотеке, он записался в частную. Я часто видела, что при моем или кого-либо из товарищей приходе он с сожалением отрывался от книги<...>

Прямо изумительны та трудоспособность и выдержка, та любовь к науке, которую проявил Александр Ильич в 17—18 лет. Помню, как поразило и смутило меня, когда он к весне этого, первого года своей студенческой жизни заявил мне тоном глубокого сожаления:

— Больше 16 часов в сутки я работать не могу.

16 часов напряженной, самостоятельной умственной работы в те годы, когда юноши еще формируются, когда все они более или менее раз-



А. И. Ульянов.

брасываются, еще ищут себя! Александру Ильичу этого не надо было: он еще мальчиком нашел себя, нашел свой путь, и он уже шел по нему неуклонно и твердо, озабоченный лишь тем, что находится все еще на иждивении отца, у которого и без него большая семья <...>

По летам — 1884 и следующего 1885 г.— Саша много занимался

естественными науками. Колеся как-будто для удовольствия в душегубке по Свияге, один, с меньшим братом или с кем-нибудь из товарищей, он подбирал себе материал для исследования, с которым возился потом в своей комнатке наверху. Это были черви разных пород, органы которых он изучал, на основании работ над которыми он представил в феврале 1886 г. свою работу об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata, награжденную на университетском акте большой золотой медалью «Преуспевшему».[2] Помню, как кратко и просто гласило об этом его письмо к матери: «За свою зоологическую работу о кольчатых червях я получил золотую медаль», и как горько плакала мать, что отец, умерший месяц назад, не может порадоваться этому известию.

Помню, как раз я наклонилась над кишащими, объемом чуть не в нитку, червями, спросив у него: неужели у них все органы дыхания, пищеварения есть? И он с оживившимся лицом, очевидно довольный, что любимая им область встречает интерес, ответил: «да!». Но я, к сожалению, не пошла дальше в область естественных наук, поглотивших одно время почти всецело его внимание.

В биографическом очерке брата, помещенном в «Галерее шлиссельбургских узников», я сказала, что книги по общественным вопросам были забраны Сашей из Петербурга на последнее, проведенное им дома лето 1886 г.[3] Я ошиблась: часть книг — по истории, политической экономии и т. п.— была привезена им весной 1885 г.; мне помнится, что и «Капитал» Маркса появился у него тогда, что я видела его еще в занимаемой им в то лето комнате (в 1886 г., после смерти отца, мы уплотнились, и брат занимал уже другую комнату). Но если я не могу сказать точно относительно «Капитала», то часть книг по истории и политической экономии, из них многие на иностранных языках, я видела у него, несомненно, летом 1885 г.<...>

В складчину стали мы — члены симбирского и части самарского землячества — выписывать новые журналы, которыми менялись по очереди. Затем мы доставали некоторые неразрешенные тогда книги,— напр., сочинения Герцена, или нелегально выходившие «Сказки» Щедрина и сочинения Л. Н. Толстого: «Исповедь», «Так что же нам делать?», «В чем моя вера», «Деньги».

Помню, что «Исповедь» вызвала в Саше большой интерес; к сочинениям же Толстого, переходившим от критики существующего строя к попыткам наметить свой путь, он относился совершенно отрицательно и очень холодно.

Вообще Саша как раньше в гимназические годы, так и позднее в студенческие, несмотря на углубленные занятия наукой, был в курсе всего, чем жила тогдашняя молодежь, и можно сказать, что для своих лет он был начитанным и самостоятельно усвоившим все прочитанное человеком.

По инициативе его возник среди наших земляков кружок по изучению экономического положения крестьянства. Помню, что мне

достался первый реферат — об экономическом положении крестьянства в древней Руси. Ничего-то в намеченных исторических курсах и сочинениях того времени я по этому вопросу не нашла, и экономическое положение крестьянства получилось очень проблематическим, а реферат очень бледным. Мы все были еще слишком неопытными, чтобы понять, что для такой темы требовалось изучение источников, что, конечно, было непосильно для нас.

Помню, товарищи в разгоревшейся по поводу реферата дискуссии напали на меня за то, что я мало дала, допытываясь с пристрастием, прочла ли я тот или другой труд. Я отчаянно защищалась, говоря, что сделала выписки из всех намеченных сочинений и не виновата, если в них по указанному вопросу ничего нет.

Наконец, брат встал на мою сторону:

— Ну, если человек говорит, что прочел все исследования, то, значит, действительно, в них нет ничего,— сказал он.

В тоне его было, помню, разочарование. Еще один-два реферата по вопросу об экономическом положении крестьянства были написаны, а потом кружок этот заглох. Кроме разочарования в возможности добыть доступными нам средствами нужный материал, имело значение, конечно, и то, что кружок этот возник уже в последний, 1886 г., и самые активные члены были отвлечены более интересными кружками, например, «экономическим», а затем и революционной работой.

Слушали мы с Сашей лекции Семевского по крестьянскому вопросу.[4] Когда курс Семевского был снят в университете и на женских курсах (В. Семевский был тогда на счету крайних левых), мы в числе избранных дослушивали на его квартире.

Стали тогда попадать к нам в руки и некоторые нелегальные издания. Помню в связи с этим, как я понесла брату какую-то прочитанную брошюрку. Жили мы тогда оба на Съезжинской (номера через 3), приходилось только Пушкарскую наискось пересечь, и я, как совершенно неискушенный в конспиративных делах дичок, понесла брошюрку попросту, в открытом виде, как всякую легальную книжку. Помню удивленную усмешку Саши:

— Как, ты ее так, незавернутой даже по улице несла?

— Да ведь тут близко; кто же у меня в руках будет читать, какая она?— оправдывалась я.

— Все же никогда не видал, чтобы нелегальные книжки так носили,— сказал он с той же усмешкой, которая заставила меня, еще не сдававшуюся, намотать на ус, что так не делается.

Бывали изредка земляческие и иные вечеринки. Теперешней молодежи они показались бы, наверное, очень тоскливыми. Да, нудным было в те тяжелые годы и редкое веселье, которое могла себе позволить молодежь! А между тем и на него право получалось обычно не без борьбы. Землячества были неразрешенными организациями, в пользу пополнения их кассы,— действительная цель большинства из них,— открыто нельзя было организовать вечеринку. Тем менее, конечно,

можно было устраивать в пользу красного креста, политических или с целью активно революционною. Нужна была какая-нибудь вымышленная цель. Чаще всего таковой выставлялось семейное празднество, справлялась, якобы, помолвка и выставлялись фиктивные жених и невеста, которые устраивали якобы вечер. Дело обходилось не без возни: нужно было подавать заявление в полицию и неоднократно бегать туда. Поэтому действующими лицами можно было выставлять не находящихся на подозрении полиции, а затем и зеленая молодежь тоже в женихи не годилась. Обыкновенно «женить» старались окончившего университет или кончающего, отъезжающего в провинцию. Таким образом взял раз на себя роль жениха М. Т. Елизаров,[5] окончивший университет и служивший в Питере.

Несомненно, для полиции не было секретом, что помолвки эти фиктивные, и она смотрела лишь, чтобы формальности были соблюдены. Помню, как мы все смеялись рассказу о том, как представитель полиции поймал Елизарова, спросил его врасплох: «Как фамилия вашей невесты?». Заспешив, Елизаров не сразу выговорил малоупотребительную фамилию Калайтан: — «Ка-тай... Ка-лай...». —«Как, вы фамилии своей невесты не знаете?» — Но вечеринка была, тем не менее, разрешена.

Посылался всегда представитель полиции, которого обычно зазывали в сторонку и усердно накачивали вином. Молодежь плясала, выпивала, под сурдинку часть беседовала в какой-нибудь отдельной комнате на политические темы и обделывала некоторые конспиративные дела. Затем публика затягивала хором «Дубинушку» или «Назови мне такую обитель», «Замучен тяжелой неволей». Кое-кто декламировал революционные стихи. Помню, этим искусством отличался один наш земляк, А. Тенишев, декламировавший, кроме своих собственных и некоторых легальных стихотворений, и «На смерть Мезенцева» и произносивший с большой силой выражения: «Именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату!»[6] Но это последнее стихотворение декламировалось больше на частных квартирах или под конец вечера, где-нибудь в сторонке, когда напоенный основательно блюститель порядка уже не мог должным образом реагировать на происходящее.

Самым ярким воспоминанием от зимы этого года является для меня добролюбовская демонстрация.[7] Это была первая демонстрация, в которой я принимала участие, и запомнилась она мне очень живо. Первые годы — 1883—1886 — никаких демонстраций не было; февральская 1886 г.[8] произошла в мое отсутствие. Хотя обе устраивались студентами, но были чисто политическими демонстрациями: студенческие требования отсутствовали в них вовсе <...>

Демонстранты приезжали группами на конке прямо к Волкову кладбищу, — помню, по крайней мере, относительно нас. Мы застали там порядочную толпу, которая все возрастала. Налево, против кладбища, обращало на себя внимание изрядное количество городовых, еще боль-

ше их было, очевидно, спрятано во дворе, откуда они осторожно выглядывали. Ворота кладбища оказались запертыми. Все демонстранты — среди них депутаты с венками — остановились перед кладбищем. Представители пошли переговаривать с кем-то из полиции, звонившим из участка градоначальнику Грессеру. Торговались долго. Но удалось получить разрешение на пропуск только делегатов с венками, около тридцати человек. С пением «Вечной памяти» двинулись они на кладбище. Мы, все остальные, продолжали стоять перед воротами.

Когда депутация вернулась, все пошли обратно. Настроение было подъемное, крайне возмущенное; демонстрация двигалась сплоченно. И тут, при одном из поворотов, — если память мне не изменяет, при первом, с Расстанной улицы на Лиговку, — появился на коне сам Грессер и вступил в переговоры с демонстрантами. Помню его слащавый тон и гарцующего под ним коня. Мы с братом оказались совсем близко от него. Помню, что Саша произнес какую-то краткую, возмущенную реплику на его убеждения и, махнув рукой, пошел вперед вместе с более решительной частью толпы.

— Куда мы идем, Саша? — спросила я через некоторое время.

— Да вот, хотели пройти по Гороховой, но, очевидно, на Невский уже идем, — ответил он, и по его тону я вывела заключение, что он стоял за более мирное направление — по Гороховой.

Недалеко от Невского, у здания участка, направо, мы увидели скачущих на нас с шашками наголо казаков. Остановившись, они преградили нам путь. Толпа стала. В то время Лиговский канал не был еще засыпан, и налево от нас была решетка канала, спереди и сзади путь преграждали казаки, направо был двор участка, огромный, растянувшийся, с низким и длинным, старинного типа, зданием. Выход оставался один: в ворота участка.

Был сырой ноябрьский день с пронизывающим туманом. Толпа, конечно, уже поредела: той сплоченности, которую мы наблюдаем при позднейших демонстрациях, в то время, понятно, еще не было. Топчась по грязи, демонстранты собрались кучками, совещались. Ко мне, стоявшей под руку с братом, подошла моя однокурсница Винберг с молодым кандидатом в профессора Клейбером.[9]

— Что же теперь делать? — спросили они, указывая на живую цепь казаков.

— Итти вперед! — сказал брат, и его нахмуренное лицо приняло выражение какой-то железной решимости, жутью прошедшей по моим жилам. Насилие страшно возмутило его.

— Но куда же вперед? На казаков, на шашки? — отвечал Клейбер, и оба они с недоумением глядели на брата.

Он ничего не ответил и отошел вместе со мною.

— Какой ваш брат ужасно энергичный! — сказала мне на другой день Винберг, видевшая его впервые.

Пока мы стояли и толкались, оцепленные на Лиговке несколько часов, происходили, конечно, и другие встречи, обмен мнениями, шутки.

Помню подошедшего к нам с Сашей М. Т. Елизарова. Всегда уравновешенный, жизнерадостный, веселый, он с комичной серьезностью заявил: «Позвольте представиться: М. Т. Елизаров». Помню, как сочувственно засмеялся, пожимая ему руку, за секунду перед тем нахмуренный брат, и как оба мы почувствовали облегчение при этой, несколько разрядившей атмосферу, невинной шутке.

Оцепленная молодежь частью возмущалась: кое-кого, более шумного или подававшего возбужденные реплики, отводили в участок и задерживали там; в другой, менее боевой части росла с усталостью апатия. Парами или маленькими группами стали через промежутки выпускать желающих.

По другую сторону канала собиралась сначала толпа, заинтересованная необычным зрелищем. Расспрашивали, в чем дело. Помню, Саша с оживлением передавал слова кого-то из этих зрителей:

— По профессору своему панихиду служить хотели... За это! Эдак, если я по родителям захочу, меня тоже в участок?

Так хотелось тогда общественного понимания, сочувствия, так тянуло, по самомалейшему признаку, верить ему! Ведь демонстрации организовывались с целью встряхнуть общество, зажечь в нем хотя слабый отблеск протеста, которым дышал самый революционный слой того времени.

Были случаи переброски через канал и булок в проголодавшуюся толпу.

Между тем отведенные в участок демонстранты, среди них Сашины однокурсники Мандельштам и Туган-Барановский,[13] не возвращались. Очевидно, они были арестованы. Надо было подумать об очистке их квартир.

Вечер надвигался все больше, все сильнее редела толпа, и уже потемному, когда народу оставалось совсем немного, вышли из-за живой ограды и мы с Сашей. Помню тут какие-то переговоры с Говорухиным, кажется, об очистке квартир. Он пошел отдельно от нас. Саша был молчалив и сосредоточенно мрачен; по возвращении на Петербургскую сторону побежал на квартиры арестованных товарищей.

Все мы были чересчур взбудоражены, чтобы сидеть спокойно по домам в этот вечер, и поэтому я, перекусив и обогревшись, побежала к Саше, где застала уже кое-кого из товарищей и куда приходили затем и другие знакомые из демонстрантов. Говорилось о том, кто арестован; сообщалось о благополучной очистке их квартир; в речах звучали возмущение и тревога: ожидались дальнейшие аресты и обыски. Делились впечатлениями: как всегда в подобных случаях, на народе было легче. Сообщалось, по какому поводу тот или иной был арестован.

Первая часть вечера протекала в озабоченном, подавленном настроении. Но вот явился Мандельштам, а затем и Барановский, как оказывается, освобожденные, стали говорить, что и остальных арестованных выпустили, — и все мы заликовали. Посыпались вопросы: за что брали? Помню Туган-Барановского, который со своим всегдашним флег-

матичным видом заверял, что он не понимает, за что, что он ничего не говорил.

— Да ведь ты, говорят, сказал Грессеру... — Саша привел очень резкую реплику, которая улетучилась из моей памяти.

— Нет, не говорил, — решительно возразил Барановский.

Сообщившие этот слух стали настаивать:

— Да как же! Сказал!

— Нет же! По-моему, я не говорил... Кажется... — начал сдавать Туган-Барановский.

Саша рассмеялся.

— Очевидно, человек был в таком состоянии, что сам не помнит хорошенько, сказал ли что-нибудь, — заметил он.

Все повеселели, слышались шутки, передавались любопытные эпизоды. Так, рассказывали при большом одобрении об ответе, данном Грессеру одним остроумным парнем из арестованных. А именно, когда при нем, сидящем в участке, туда вошел Грессер и заявил, ни к кому не обращаясь: «Ух, умаялся!» — то этот студент заметил подчеркнуто почтительным тоном: «Да, ваше превосходительство, должность незавидная».

После тревог и переживаний дня у всех создалось какое-то особенно счастливое, умиротворенное настроение: нам хорошо было сидеть кучкой, вместе; на душе было легко и не хотелось расходиться, хотя уже как будто все переговорили. В один из таких моментов молчания М. Т. Елизаров хорошо сформулировал наше настроение, заявив со счастливой улыбкой: «Какое у нас единение душ, господа!» (слова «товарищ» в то время в обиходе еще не было: студенты в аудиториях обращались со словом «господа»). Кое-кто слабо усмехнулся; другие постеснялись бы так прямо сказать, но не протестовал никто, ибо настроение было схвачено верно. Я не смогу перечислить всех присутствовавших; были здесь — кроме «героев вечера», Барановского и Мандельштама — Чеботарев, Елизаров, Говорухин, кажется, Шмидова; было и еще несколько человек. Но настроение того вечера, — какое-то счастливое, праздничное и братское, — живо запечатлелось в памяти. Это было, в микроскопической миниатюре, то же настроение, которое испытывается массами после напряженной борьбы и победы, — пусть только кажущейся: отдых после борьбы в тесном кругу своих, особое ощущение спайки, подъема, не омраченное никакими жертвами, — те, кто считался вырванным, оказались снова в рядах...

Но, как после стольких революций, ощущение победы в нашем маленьком кружке оказалось преждевременным: в течение ближайших же дней посыпались кары — были обысканы и высланы на родину как забранные в участок во время демонстрации, так и некоторые другие, состоявшие на примете, всего человек сорок из всех высших учебных заведений. Высылки эти, которыми правительство хотело припугнуть остальных и остановить движение среди них, казались, как всегда, нелепыми, несправедливыми и возмутительными и, как таковые, оскорбля-

ли нравственное чувство оставшихся тем больнее, чем обостреннее оно было. «За что тех? Мы, другие, также виноваты! Какая возмутительная несправедливость!» — говорили или думали они, стараясь подвести под общие нормы поведения властей, которые в своих поступках руководствовались совсем не теми или иными нормами, а только чувством самосохранения.

Праздничное настроение сменилось мрачным, подавленным или возмущенным, в зависимости от индивидуальности. Помню, как сейчас, такое подавленное, прямо трагическое выражение лица у курсистки Разумовской, члена самарского землячества, после высылки ее сожительницы Долговой. Мне оно уже и тогда показалось не соответствующим причине. Это был, очевидно, человек с сильно расшатанной нервной системой, — года через два после того она покончила самоубийством. В более активных натурах расправа властей вызвала горячий протест, стремление к отмщению, стремление показать правительству, что не все склоняют так покорно выи, что нельзя так безнаказанно оскорблять чувство человеческого достоинства, что этому будет, должен быть положен предел, чего бы это ни стоило, — что если нужны жертвы, найдутся и жертвы...

Такой натурой был брат, Александр Ильич <...>

В. А. Поссе

КУЛЬТУРНИКИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Поступая в университет,[1] я колебался между естественным отделением физико-математического факультета <...> и историко-филологическим <...>

В конце концов поступил на историко-филологический. Думал заниматься историей и литературой. Но больше всего заинтересовался сравнительным языкознанием.

Курс сравнительного языкознания читал профессор Минаев,[2] ученый с европейским именем. Лицо у него было лошадиное, и читал он, запинаясь и задыхаясь, как будто вез на гору тяжелую поклажу. Но лекции его были содержательны. Вопрос о происхождении языка, с которого он их начал, увлекателен. А главное, он побудил меня прочесть работы Гумбольдта, Штейнталя и других известных языковедов.

На историко-филологическом факультете в то время было еще несколько профессоров с громкими именами, но слушать их было скучно.

Профессор южно-славянских языков, Ламанский, напоминал мне гимназического Кургановича: на его лекциях дремали не только немногочисленные слушатели, но и он сам.

Другой профессор славянских языков, Ягич,[3] читал очень бойко, но все же и очень скучно.

Профессор греческой литературы, Никитин, первые свои лекции превратил в уроки греческой грамматики, от которых я бежал без оглядки, вспоминая невыносимую скуку таких же уроков нашего тупого гимназического учителя Давиденкова.

Профессор древней истории, Соколов, закрыв глаза, быстро и однотонно сыпал мелкими фактами, нисколько их не обобщая.

Профессор русской истории, Замысловский, производил впечатление человека тупого, человека в казенном футляре. У него была только одна «своя» идея, которой он, видимо, очень тщеславился: особенности русской истории объясняются тем, что в России всегда было много места и мало людей.

Логику читал профессор Владиславлев. Ожиревший человек с бесформенным обрюзгшим лицом, которому особенно неприятное выражение придавали косые глаза. К нему я, впрочем, относился с особенным предубеждением, так как еще до поступления в университет читал о нем в «Вестнике Европы»[4] статью Евг. Утина. Утин клеймил Владиславлева за то, что тот в своем курсе психологии измерял силу уважения, которое вызывает к себе то или другое лицо, величиной его капитала, при чем утверждал, что русский император вызывает к себе чувство благоговения, независимо от всего другого, уже своим огромным капиталом. Несмотря на предубеждение, я все же с интересом слушал его введение в курс логики. Но когда началась сама логика, то я сбежал.

Историю русской литературы читал горбатый Орест Миллер, очень похожий на гнома. Против него у меня тоже было предубеждение, так как я читал статью Добролюбова, в которой была зло высмеяна его магистерская диссертация. Читал он лекции с необычайным жаром, с большим пафосом, но жар был хотя и высокий, но одинаковой температуры, пафос однотонный, и никто из профессоров и ораторов не усыплял меня так быстро, как Орест Миллер. Не проходило и четверти часа, как его маленькая жестикулирующая фигура со сверкающими из-под очков глазами покрывалась туманом, и я должен был усиленно тереть глаза. Человек Орест Миллер был хороший и справедливо слыл за стойкого защитника студенческих интересов. Главным образом его усилиями были устроены студенческая столовая и касса взаимопомощи. Ему главным образом была обязана своим существованием единственная тогда культурная студенческая организация—Научно-литературное общество.[5]

Вокруг этого общества группировались культурные силы студенчества всех факультетов. Там можно было встретить братьев Ольденбург, Сергея и Федора, восточника и филолога.

Сергей — коренастый, черноволосый, с яркокрасными щеками, Федор — длинный, сухой и как бы выцветший, но оба живые, хлопотливые, всем интересующиеся.

Там можно было увидеть добродушного, всегда ласково улыбавшегося из-под очков минеролога Вернадского,[6] очень мягкого на вид, но очень упорного в достижении раз поставленной цели.

Мне кажется, что Вернадский, как и Сергей Ольденбург, уже тогда поставили своей задачей сделаться не только профессорами, но и академиками. И сделались.

У Федора Ольденбурга была цель быть хорошим педагогом. И он, окончив университет, много лет был прекрасным руководителем хорошей учительской семинарии в Твери.[7]

На собрании Научно-литературного общества читал свои стихи Дмитрий Мережковский,[8] прорывавшийся к литературной славе.

Там же появлялась изредка стройная фигура замкнутого в себе молодого зоолога Александра Ильича Ульянова. У него было продолговатое бледное лицо, задумчивые умные глаза, высокий лоб, обрамленный шапкой черных вьющихся волос.

Не помню хорошенько, но вероятно в Научно-литературном обществе принимали участие и три моих коллеги по факультету и курсу, которых я сразу выделил из общей массы: В. В. Водовозов, В. В. Смидович и Мякотин.

Водовозов был небольшой, чрезвычайно подвижный блондин с резкими движениями и с резкими суждениями, очень начитанный и очень самоуверенный.[9]

В. В. Смидович был похож на жизнерадостного птенчика с любознательным носиком и наблюдательными глазками. Казалось, он еще только обрастает перышками и только учится летать. Впоследствии у него выросли крепкие крылья, он, умело использовав свою любознательность и наблюдательность, поднялся на литературные высоты крупным писателем Вересаевым.

Мякотин выделялся своей высокой тощей фигурой с тонкой длинной шеей, на которую, как на палку, была посажена большая голова с длинными мочалистыми волосами. Большие глаза выкатывались из орбит, и выражение лица было такое, что, казалось, его только что вынули из петли. Мякотин, как известно, вырос в известного публициста-народника и сделался одним из столпов «Русского богатства».[10]

На историко-филологическом факультете я пробыл только год. В 1885 г. программа его была коренным образом изменена: история и литература отодвинуты на задний план, а на первый выдвинуты древние языки.

Студентам, недовольным этим изменением, было предоставлено право перейти со второго курса историко-филологического факультета прямо на второй курс юридического факультета. Я воспользовался этим правом и сделался студентом юридического факультета <...>

На юридическом факультете было тоже немало профессоров с большим именем — Сергеевич, Градовский, Фойницкий,[11] Мартенс и т. д. Но я их слушал еще меньше, чем профессоров историко-филологического факультета.

Учился по книгам, и притом таким, которые отнюдь не рекомендовались тогдашними профессорами.

Увлекался речами Лассаля, изучал Маркса и Энгельса. С большим интересом, но и большим внутренним протестом читал философско-религиозные произведения Толстого: их в то время нелегально издавал в литографированном виде кружок студентов.

Много времени уходило на общественную работу. Возникло и быстро развилось земляческое движение. Студенты различных высших учебных заведений организовывались в землячества по месту окончания средней школы, что обыкновенно совпадало и с местом рождения.

Основываясь на своем новгородском происхождении, я вошел в новгородское землячество <...>

Наиболее интересные знакомства у меня завязались со студентами других землячеств.

Я проник в тонкий слой революционно настроенного студенчества,

Студенты этого слоя не только по воззрениям и настроению, но и по внешнему облику отличались от культурников, руководивших Научно-литературным обществом.

Революционеры одевались небрежнее, держались свободнее и посмеивались над корректностью и лойяльностью культурников.

Впрочем, вражды между этими двумя слоями не было <...>

В конце января или в начале февраля 1887 г. я в студенческой читальне или в студенческой столовой, не помню хорошенько, подошел к Ульянову, но он как-то странно посмотрел на меня и, не приняв протянутой руки, прошел дальше, как будто был со мною не знаком. Это меня поразило и обидело.

На другой день ко мне зашел Шевырев,[12] я рассказал ему о случившемся и спрашивал, не знает ли он, за что Ульянов решил разорвать со мною установившиеся товарищеские отношения.

— Он мне об этом рассказывал, — усмехаясь, сказал Шевырев, — Он в ваших интересах не хотел демонстрировать свое знакомство с вами перед коротконогим педелем, несомненным сыщиком, который вертелся около вас. Ульянов просил вас в течение ближайших недель не подходить к нему при встречах в университете.

Я, конечно, удовлетворился этим объяснением и не стал допытываться, чем объясняется такая осторожность <...>

Второго марта при входе в университет я встретился с Агафоновым. Он отвел меня в сторону и взволнованным шепотом стал рассказывать подробности неудавшегося покушения на Александра III и его семью <...>

В университете началась паника. Говорили, что царь приказал закрыть навсегда Петербургский университет, как очаг революции.[13] Для спасения университета ректор, профессор полицейского права Андреевский, человек очень гибкий, с умной лисьей физиономией, решил устроить патриотическую демонстрацию и доказать верноподданические чувства огромного большинства студентов.

Актовый зал был битком набит студентами-белоподкладочниками, как называли богатеньких студентов, носивших дорогие мундиры на белой атласной подкладке. Это были преимущественно юристы, в обычное время очень редко посещавшие университет, предпочитая обучаться в модных ресторанах и различных увеселительных заведениях. Но теперь они, как один человек, явились спасать свою alma mater.

Я с трудом пробился в двери актового зала в тот момент, когда Андреевский своим звонким голосом выкрикивал:

— Любовь к отечеству неразрывно связана с любовью к государю.

В ответ раздалось несколько резких голосов:

— Неправда, неправда!

Крики эти были заглушены громом рукоплесканий <...>

С тягостным чувством вышел я из университета <...>

И. Н. Чеботарев

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИЛЬИЧЕ УЛЬЯНОВЕ И ПЕТЕРБУРГСКОМ СТУДЕНЧЕСТВЕ 1883—1887 гг.

Окончив в 1883 г. гимназию с золотой медалью, Александр Ильич поступил на естественный факультет петербургского университета, где я учился уже год на математическом отделении.[1] В начале же учебного года мы встретились. Я принимал тогда деятельное участие в поволжском землячестве и на первых же порах заговорил с Александром Ильичем о вступлении его в члены этого землячества, равно как и с приехавшей вместе с ним сестрой его, Анной Ильиничной, поступившей на словесное отделение высших женских (Бестужевских) курсов <...>

Хотя скоро Александр Ильич формально и вошел в состав симбирского кружка поволжского землячества, но первые два года серьезного участия в нем не принимал; однако постепенно втягивался в его интересы, особенно по устройству библиотеки и кассы взаимопомощи, и аккуратно посещал его собрания. Земляки все больше ознакамливались с его душевными и умственными качествами, а вместе с тем росла и его известность между естественниками университета, как знающего и продуктивно занимающегося студента. Он целыми днями работал в зоологическом или химическом кабинетах университета, и скоро на него обратили внимание профессора Бутлеров (органической химии) и известный зоолог Н. Вагнер[2] <...> Усиленные занятия Александра Ильича в лабораториях университета обратили на него внимание и студентов-однокурсников. Многие стали стремиться с ним сблизиться на научной почве. Завязывалось около Александра Ильича ядро будущего биологического кружка. Кружок этот понимал задачу биологии не только в узком естественно-историческом смысле, но расширял понятие биологии на все стороны человеческой жизни — нравственную, политическую и социальную. Насколько мне приходилось присутствовать при разговорах и спорах членов этого кружка (я его членом не был), мне казалось, что главным сторонником такого расширенного понимания его

задач был именно Александр Ильич, и недаром этот кружок чаще называли просто ульяновским: Ульянов был его главою и душою. Живо помню я один спор Александра Ильича о смысле и значении в социальной жизни модной тогда в студенческой среде теории «борьбы за существование». Тут мне в первый раз пришлось выслушать длинную речь Александра Ильича (обыкновенно он много не говорил, ограничиваясь репликами, формулируя свое мнение, и подолгу молчал, прислушиваясь к речам других) — речь, научно обоснованную, горячую и проникнутую гуманностью в лучшем смысле этого слова. Он старался выяснить общественно полезную роль этого закона природы, направленного в конечном итоге не на безжалостное уничтожение физически слабых, а требующего лишь максимума полезной работы каждого индивидуума и тем способствующего их объединению-социализации; в теории и практике борьбы за существование Александр Ильич выдвигал на первое место методы и принципы характера альтруистического.* Говорил он вдохновенно и, как мне казалось тогда, во всеоружии науки и логики. Строгой логичностью своих умозаключений Александр Ильич отличался всегда и его не пугал вывод, хотя бы он противоречил обычным нормам, разрушая самые привычные воззрения, симпатии и убеждения и даже возмущал привычные чувства. Он строго держался своего логического вывода из раз принятых им посылок и неустрашимо проводил его в жизнь, если даже это угрожало его собственной жизни; он не способен был отступать от своих выводов, что и доказал своей смертью.

В биологический кружок входили главным образом студенты-однокурсники Александра Ильича: Шевырев, Говорухин и Лукашевич, соучастники в деле 1 марта 1887 г. братья Хлебниковы. Входил также тогда и М. И. Туган-Барановский, бывший естественником. По исключении из университета в конце 1886 г. за участие в демонстрации памяти Добролюбова он сдал экстерном экзамен на кандидата юридических наук и стал впоследствии профессором политической экономии и одним из первых теоретиков легального марксизма 90-х годов. По вхождении в биологический кружок Александр Ильич погрузился больше в общественные науки, в политические вопросы. Вскоре он вошел, кроме того, в состав чисто экономического кружка А. В. Гизетти, где мы в числе 12—15 лиц уже более года занимались изучением политической экономии по комментариям Н. Г. Чернышевского к Д. С. Миллю.[3] Кроме меня и Гизетти, бывшего тогда заведующим статистикой петербургского губ. земства, в состав кружка входили братья Никоновы,— Алексей и Сергей (в квартире их отца — вице-адмирала мы обыкновенно еженедельно собирались), В. В. Бартенев, молодой студент, игравший роль застрельщика всякого рода вопросов и споров по поводу прочитанного или высказанного, Е. Е. Гарнак, Н. Ф. Погребов, Н. П. Каракаш (впоследствии профессор сельскохозяйственных

* Таково, по крайней мере, сохранившееся у меня впечатление от речи Александра Ильича, — через 35 лет трудно восстановить подробности.

курсов), М.Т. Елизаров, первый народный комиссар путей сообщения в 1917 г., вышеназванный Говорухин, Ольхин и две женщины, фамилии коих улетучились из памяти. Кружок был в общем научным, но преобладал дух народовольческий. На чисто политические темы почти не говорили, но серьезно штудировали политическую экономию до Рикардо и Мальтуса включительно (особенно много времени и споров посвятили неомальтузианству). Затем изучали книги, вроде «Квинтэссенции социализма» Шеффле;[4] но «Капиталом» Маркса и другими его сочинениями не занимались, хотя говорили о них и с почтением отзывались о Даниельсоне, как о переводчике «Капитала».

Книгою его «Очерки пореформенного хозяйства» очень заинтересовались.

Александр Ильич в этом кружке не выступал с рефератами, но политической экономией стал много заниматься: в частности заинтересовался судьбами капитализма в России; он много по этому поводу читал: у меня долго хранились его заметки на книгу В. В.[5] («Судьбы капитализма») с большими выписками из современной периодической прессы о развитии крупного хозяйства на юге России. Перечитывая эти заметки, я видел, как широко и глубоко уже тогда Александр Ильич понимал экономические вопросы, и, стоя в своей практической деятельности (заметки писаны не раньше осени 1886 г.) на почве народничества, он видел, как быстро развивается в России капитализм, критически относился к идеям В. В. и выражал сомнение в прочности русской общины, как базы социального переустройства. Не знаю, может быть, тут сказалось влияние появившейся тогда книги Плеханова «Наши разногласия», о которой я помню отзыв Александра Ильича — «интересная книга».

Говорухин, имевший целью уловление членов в активную народовольческую группу и часто сводивший на эту тему свои разговоры, очень скоро перестал посещать наши экономические беседы.

С начала 1886 г. оживилась деятельность студенческого Научно-литературного общества при петербургском университете,[6] председателем коего состоял профессор русской литературы Орест Федорович Миллер, очень терпимо относившийся к самым крайним мнениям, высказываемым на собраниях общества. Собрания эти происходили очень часто с многочисленными докладами-рефератами на разные литературные и общественно-политические темы и с оживленными прениями. Я между прочим сделал подробный доклад о пропагандистской деятельности нашей сельской учительницы на моей родине в Николаевском уезде Самарской губернии перед покушением Соловьева[7] и о благоприятном отношении к ней местного населения. Мой доклад произвел на слушателей сильное впечатление, и многие меня за него горячо благодарили: так всем хотелось народного сочувствия революционной деятельности интеллигенции. Студенты стали валом записываться в члены общества; осенью вступили в него почти все члены биологического кружка, в том числе и Александр Ильич. На заседание проникали

иногда и курсистки, переодевшись в мужской костюм. Произошли перевыборы президиума.

В главные секретари общества была выставлена кандидатура Александра Ильича. Ее горячо поддерживали несколько человек и особенно В. В. Водовозов, который между прочим указал, что Ульянов интересуется не одними червями да тараканами, но занят и более широкими планами; не будучи узким специалистом по зоологии или химии, он станет истинным секретарем Научно-литературного общества во всей широте его задач. Такова была в это время слава в студенческой среде об Александре Ильиче. Он считался теперь не только ученым, но и общественно-политическим деятелем и был единогласно избран главным секретарем. Зато после первого марта 87 г. в первую очередь было закрыто Научно-литературное общество при университете, и профессору Оресту Миллеру пришлось много объясняться. Из известных потом общественных и ученых деятелей в Научно-литературном обществе принимали участие академик С. Ф. и его брат Ф. Ф. Ольденбург, А. А. Корнилов и А. А. Кауфман, профессор И. М. Гревс, академики А. М. Дьяконов и Лаппо-Данилевский, профессор Свешников, Аничков, Ону, Мережковский и многие другие.[8]

А. С. Серафимович

В КРУЖКАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Туманом, серой насупленностью встретил Питер, когда я приехал в университет. Прощай, родное южное солнышко! Тяжелым, непроницаемым пологом лежала фабричная мгла над колоссальным городом. А потом угрюмо пошли бесконечные каменные здания.

Странно, первое впечатление города тоской сжало сердце. Не о том мелькнула мысль, что это — город напряженной мысли, скрытой борьбы, красоты искусства, — не это, а то, что уже нет наших бескрайних степей, не скоро увижу родные, белые, тихо отраженные в Дону горы и сухой звенящий зной, и гомон живых непоседливых южных птиц,— сжалось сердце, все это далеко.

Но город постепенно, как ненасытная пасть, стал втягивать. Зацепили зубья невидимой и невиданной дотоле машины и стали обрабатывать неуклюжего, интеллектуально неповоротливого сына степных захолустий.[1] Университетские и внеуниверситетские лекции, кружки,[2] совместные чтения, жаркие молодые споры, тысячи надвинувшихся вопросов, требовавших ответа, особенно общественные вопросы, жгуче стояли, не давая ни на секунду покоя. Стали читать Маркса («Капитал») — мучительно, невыносимо трудно вначале; случалось, за пять, за шесть часов чтения успевали разобрать и понять строчек десять. Порой приходили в отчаяние от своего невежества и непонимания. Зато, когда одолели, точно широкие ворота отворились.[3]

Среди других товарищей я встретил в это время и старшего брата Владимира Ильича, Александра.[4] Это был прекрасный юноша с кудрявыми, черными, как смоль, волосами, с жгучими южными глазами.

Он сразу выделялся среди студентов своим матовым лицом, на котором — кипучая энергия, своей крепкой, немного наклоненной, точно в порыве, фигурой.


№

ДѢЛО

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Началось

Кончено

Студенческое дело А. И. Ульянова

Смаху, как бы играючи, написал он университетское сочинение (был естественник)[5] и получил золотую медаль. Этот юноша был буйноблестящих способностей.

И это был удивительного блеска оратор, поразительной силы, страстный и подавляющий противника аргументацией, насмешкой, огромной начитанностью.

Бывало, схватятся они с Туган-Барановским <...> а мы новички, еще неискушенные, робко слушаем. Туган-Барановский был начитанный и способный студент, впоследствии профессор и известный экономист, не то социал-демократ, не то левый кадет, которого — по глупости — русское правительство порой преследовало. Александр Ильич был народоволец-террорист.

— Вы висите на воздухе,— кричал Туган,— висите на воздухе, за вами нет масс, вам не на кого опираться.

— Это вы висите в воздухе,— страстно бросал Александр Ильич,— потому что не считаетесь с русскими условиями, с особенностями всего склада русской жизни, русского капитализма, развития русского рабочего движения. Вы просто отмахиваетесь от борьбы, откладываете ее на дальнюю полочку. Теперь географии нельзя учить рабочего, сейчас же тюрьма, ссылка. Надо, наконец, добиться физической возможности хоть сколько-нибудь подойти к рабочему, а этого можно добиться только последовательным террором. Как только попятится царизм, мы отбросим террор, как ненужное оружие <...>

Он был прекрасный организатор, впивался в каждого нового человека, как-то быстро внутренно, точно в руках, перевертывал его во все стороны, рассматривал, и, если гож,— умел привлечь, если не гож — отбрасывал.

Он напряженно работал и по естествознанию, и по общественным вопросам, массу читал, выступал в кружках. Было ему 20 лет.

А когда устраивались товарищеские вечеринки, был буйно весел, выпьет, как и все, и чудовищным, как немазанная телега, голосом, невпопад и рознь, с увлечением поет революционные песни. Но и тут кончалось большею частью жестокими схватками: он громил социал-демократов, громил всех, кто думает о личном благополучии и проходит мимо кровавой борьбы.

Однажды попал на вечеринку, где собрались молодые либеральные профессора, и стал разносить их за угодничество перед начальством, за то, что не умеют подойти к студентам, дать им то, чего молодежь жаждет. Вечеринка в ужасе разбежалась...

...В тюрьме,[6] во время прогулки в клетке, похожей на звериную, я увидел в одном из бесчисленных решетчатых окон «предварилки» поблескивавший осколок зеркала,— это товарищ сигнализировал. И я, напряженно ловя быстро вспыхивавшие и гасшие отблески, разобрал: «Ульянов Александр и еще четверо казнены...» <...>

А. С. Серафимович

КАК МЫ ЧИТАЛИ КАРЛА МАРКСА

Нас душили в гимназии латинским, греческим, законом божиим, давили всем, лишь бы задушить живую душу. Всякую книжку по общественным наукам отнимали, а нас сажали в карцер. И были учителя нашими палачами.

Мы кончили и ехали в университет, мы наконец вздохнули от проклятой жизни. Хотелось знаний, свободы, хотелось общественной работы, — живые ростки все-таки остались в душе, даже палачи не сумели их убить.

Но в Питере оказалось еще хуже, — стояла удушливая тьма самодержавия и в общественной жизни и в университете...

Сердце и глаза жадно искали, на что бы опереться. Студенты и курсистски сбивались в кружки для самообразования. Попал и я в один такой кружок.

Я в первый раз услыхал, что есть наука — политическая экономия, что весь строй жизненный в конечном счете определяется экономическим строением, что существует Карл Маркс. Невежество тащилось за мной пудовыми гирями.

В кружке решили читать «Капитал» Карла Маркса.

Ну, Маркса так Маркса, — мне было все равно...

Один из старых студентов сказал:

— Что вы! Да разве можно начинать с Маркса, не имея ни малейшего представления о политической экономии? Ведь все равно ничего не поймете, только время убьете. Возьмите любой учебник политической экономии, вызубрите,— ну, тогда, пожалуй, и приступайте к Марксу.

Нас, молодежи, студентов и курсисток, собралось человек пятнадцать.

И начались муки.

И не то, чтобы Маркс поразил с самого начала сложностью построений и труднодоступностью. Нет, напротив, в первой главе он сбивал как раз тем, что говорил и растолковывал до смешного очевидные вещи.

«Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-нибудь человеческую потребность...»

Ну, так что ж? Это я отлично понимаю.

«20 арш. холста = 1 сюртуку или 20 арш. холста стоят одного сюртука».

И это великолепно понимаю.

Так в чем же дело?

А в том, что каждое слово в отдельности отлично понималось. Слова складывались в фразы — и это понималось. Но когда надо было фразы сцепить вместе в одно целое, все разбивалось, и мы, ничего не понимая, сидели опять у разбитого корыта и мучительно начинали сызнова.

По вечерам чтение продолжалось по пять, по шесть часов, а успевали прочесть полстраницы, а то и того меньше. А когда на другой день приходили — это разваливалось, и прочитанное опять читали, как новое <...>

Так тянулось. И если в голове что-нибудь оставалось, так потому, что одно и то же место перечитывали раз по тридцать.

Понемногу слушатели отпадали, переставали ходить, и нас осталось человек шесть.

Мы не могли уйти: железными зубьями нас захватывал и втягивал в изложение Маркс, и уже нельзя было вырваться.

Что же он говорил?

А говорил, что новые ценности создаются только трудом.

Как вы ни хитрите, говорил буржуазным экономистам Маркс, капитал не создает никаких новых ценностей, он только повышает производительность труда. И только труд, живой труд служит мерилом стоимости вещей.

Так, строчка за строчкой, страница за страницей Маркс громит буржуазную науку и на развалинах строит колоссальное свое здание.

Мы подвигались <...> Точно из болота мы вылезали на твердую незыблемую почву, и кругом стало светлее.

Прежде мы просто сердцем болели за страшную жизнь трудового народа. Теперь мы понимали, какой бы благородный, какой бы честный, отзывчивый человек ни был фабрикант, а такие есть, — сколько бы он ни строил для рабочих больниц, библиотек, домов, все равно он — хищник, ибо все это делает на прибавочную стоимость, на отнятую у рабочего часть труда.

И мы впервые не только поняли, но и почувствовали классовую непримиримость.

Заставив нас мучительно преодолеть первые трудности, Маркс дальше разворачивался неотразимо увлекательно, как роман.

Как гениальный художник, он рисовал колоссальные, потрясающие картины рабочей жизни в Англии, картины первоначального накопления и железный ход вещей, который неумолимо ведет теперешний капиталистический строй к социалистическому.

И среди мрака царского и буржуазного владычества для нас загорелся вдали ослепительный, яркий огонь надвигающегося, и кругом посветлело, явился смысл жить, работать, бороться.

П. Н. Лепешинский

НА ПОВОРОТЕ

Я быстро ориентируюсь в новой обстановке и втягиваюсь в студенческую жизнь. Но не могу помянуть добрым словом медовые месяцы моей студенческой свободы. Посещение полулегальных вечеринок, постоянные забегания «по дороге» «на одну минутку» к приятелю или приятельнице, безрезультатные публикации в газетах с предложением своих репетиторских услуг в качестве специалиста по всем предметам гимназического курса, бесцельное хождение взад и вперед по длинному университетскому коридору в ожидании того момента, когда педель отметит в своей книжке, кто посетил в данный день университет, судя по висящим на своих местах в вестибюле шапкам и шинелям, простаиванье по ночам в очереди около кассы Мариинского театра в расчете на удачу по части получения галерочного билета на Мравину [1] в «Руслан и Людмиле» — все эти дела и заботы целиком поглощали «дни нашей жизни»,[2] так что, казалось нам, — «дохнуть некогда».

Впрочем, некоторый вкус к радикализму, приобретенный еще на гимназической скамейке, и здесь толкал меня в хорошую компанию передовых публицистов 60-х годов. Писарева, полное собрание сочинений которого я нашел в книжном шкафу одной знакомой семьи, я не только прочел всего от первой до последней страницы, но некоторые его статьи перечитывал с неубывающим наслаждением по нескольку раз. Это был для меня период полной влюбленности и обоготворения моего литературного кумира, властителя моих дум.

Помню, как будучи уже 19-летним парнем, я был так еще младенчески наивен, что вообразил, будто небрежность и недостаток доброй воли мешают издателю Писаревских сочинений Павленкову [3] озаботиться переизданием этого моего «евангелия», ставшего в то время большой библиографической редкостью.

И вот, я вознамерился отправиться к Павленкову с тем, чтобы «раскачать» его на это нужное и общеполезное дело. Я заготовил целый мешок аргументов, которые должны были, по моему мнению, парировать все его возражения, если он станет еще почему-либо колебаться и упор-

ствовать, — в том числе и аргумент в пользу коммерческой выгоды такого издательского предприятия. Если, дескать, он сомневается в том, найдутся ли, мол, в достаточном числе подписчики на издание, то я готов был с своей стороны предложить свои услуги для объезда ряда городов, чтобы распропагандировать новое издание среди учащейся молодежи (семинаристов и гимназистов старших классов), причем в колоссальном успехе такого рода миссии я нисколько не сомневался.

Когда с этими мыслями и с трепетно бьющимся сердцем я вошел в издательскую контору Павленкова, то застал там, среди груды книг, двух каких-то солидных представителей фирмы. И большое спасибо им! Мой наивный вздор не вызвал на их лицах веселой улыбки, не исторг из их груди гомерического схема. Один из них выслушал меня внимательно, с ласковой серьезностью, и с такой же серьезностью пояснил мне, что переиздание сочинений Писарева задерживается не опасениями холодного приема этого издания читающей публикой, а исключительно лишь цензурными препятствиями. Пристыженный и опечаленный я вышел оттуда.[4]

Однако, мое знакомство с идеями Писарева и Чернышевского вовсе еще не означало того, что я сколько-нибудь сознательно мог реагировать на редкие в то время революционные всполохи, которые последними огнями прорезывали на минуту густой мрак, нависший над унылым кладбищем русской общественной жизни.

Неудавшееся покушение на Александра III весной 1887 г. было именно одной из таких ярких, но бесследных вспышек <...>

Годы, о которых здесь идет речь, были, по-видимому, кульминационным пунктом самого мрачного периода кошмарной реакции. Разгром народовольчества после 1 марта 1881 г. обезлюдил революционное поле. Мало-помалу на том месте, где еще так недавно бился пульс своеобразной жизни, водворилась такая мерзость запустения, которая гнетущим образом действовала на умы подрастающей интеллигенции. Нигде не видно было новых вождей, новых пророков борьбы. Зарубежные голоса группы «Освобождение труда»[6] чуть слышным эхом долетали лишь до ушей редких одиночек. Эпигоны народничества или совсем приумолкли, или понизили тон до заискивающего присюсюкивания, — до признания за «прогрессивной» бюрократией великой миссии возродить Россию и вывести ее из тупика реакции. Из всех щелей либеральной прессы поползла отвратительная плоская проповедь приоритета малых дел. Нелегальная литература почти перевелась.

Не мудрено, поэтому, что все внимание недовольных студенческих масс было сосредоточено вокруг вопросов чисто университетских. Отмена устава 84 г. и возвращение академической жизни университетов к старому уставу 64 г. стали лозунгом, объединившим все студенчество и вызвавшим волну студенческих движений в конце 1887 г. и затем весною 1890 г.

Как ни бледны, как ни незначительны были сами по себе эти «шквалы», представлявшие тогда единственные факты возмущения тихой бо-

лотной поверхности русской жизни, но они все-таки как будто освежали удушливую атмосферу, а главное — они имели значение толчков, выводивших интеллигентскую молодежь из состояния летаргического сна и бросавших некоторую часть ее на путь революционных буффонад, а иногда даже и подлинной революционной борьбы.

Первая студенческая история, в которую втянулся и я, была для меня своего рода революционным крещением. Я, так сказать, разлакомился, отведавши новых для меня переживаний. У меня получилась психологическая тяга к атмосфере если не систематической борьбы, то, по крайней мере, упорного «саботажа» по отношению к тому порядку вещей, который, как казалось, олицетворяется не только тем или иным «популярным» героем реакции сверху, но и любым «фараоном», торчащим на своем полицейском посту.

Я стал примыкать к разным кружкам, где пахло в той или иной мере духом оппозиции. В кружках этих молодежь хваталась за все, что имело хоть какую-нибудь внешность нелегальщины. Усердно переписывались и с жадностью читались ходившие по рукам экземпляры рукописей «Исповеди» Л. Толстого, а также его «Крейцерова соната», «Евангелие», «Николай Палкин» и т. п., — наряду с «Историческими письмами» Миртова и известной книжкой Кеннана,[7] раскрывавшей перед нами тайны русских политических тюрем, ссылки и каторги и заставлявшей наши лица бледнеть от негодования. Когда же к нам попадали листовки с сообщением о каком-нибудь очередном кошмарном зверстве ненавистных палачей, вроде, напр<имер>, трагедии на Каре, многие из нас под влиянием прочитанного готовы были хоть сейчас же на самую отчаянную террористическую авантюру, если бы только под рукой оказалась соответствующая организация. Но, повторяю, ни террористических организаций, ни крупных вождей такого рода борьбы в те времена вокруг нас не было.

<...> Наша «революционная» актуальность, помимо изучения «Очерков политической экономии по Миллю», выражалась еще в попытках самого примитивного, детски-наивного кустарничества. Помнится, например, задумали мы отметить какой-то юбилейный момент в связи с именем Чернышевского выпуском в свет собственного нашего «издания». Решено было издать биографию Чернышевского, предпослав ей наше «Я обвиняю» по адресу палачей в форме патетического стихотворения. И вот, заработала конспиративная машина. В результате — около полусотни плохеньких гектографированных экземпляров — с портретом Чернышевского на обложке — пошло гулять по белу свету, ища своих горе-читателей.

Студенческие волнения 1890 г. застали меня уже созревшим «воякой». Все земляки мои, умеренные и аккуратные могилевцы, охотно или неохотно, но во всяком случае молча и беспротестно подчинили свою волю моей боевой инициативе, причем я постарался использовать свое влияние на них так, чтобы ни один шельмец не ускользнул от участия на сходках. И действительно, наше землячество не опозорило себя. Правда,

наша «белоруссия» и на этот раз с честью поддержала свою репутацию типичной золотой середины, но дезертиров среди нас не оказалось.

Что же касается меня, то я чувствовал себя на этот раз, что называется, в своей тарелке. Бегал по другим учебным заведениям, провоцируя технологов, путейцев и прочую братию на совместные с универсантами выступления, принимал участие в таинственных совещаниях «центров» движения, ораторствовал на сходках. В результате — снова манеж после финальной (или «генеральной», как тогда говорилось) сходки, классическая «Дубинушка», подхваченная тысячной толпой плененной молодежи, и отсидка затем по полицейским участкам. Моя вина была квалифицирована, как сугубая, в виду чего я был исключен из университета без права обратного поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Через 24 часа по выходе из участка я был посажен «дядькою» (охранником) в вагон и выслан из Петербурга.

Любопытно отметить, что незадолго перед арестом я получил от факультета удостоверение о зачтении всех 8 семестров, что давало мне право держать государственные экзамены, но «волчий билет», выданный инспекцией университета, оказался более «законным» документом, чем факультетское удостоверение, и только впоследствии, через год, мне удалось все-таки держать экзамены и получить диплом при другом университете (Киевском).

Не могу удержаться от искушения подвести итог сказанному мною о моих студенческих годах.

Примером моего студенческого прошлого можно с большим удобством оперировать, как иллюстрацией того реакционного затишья, того безвременья, которое относится ко второй половине восьмидесятых годов. Тут налицо типичный юноша-разночинец, который жадно питается освободительными идеями шестидесятых годов с их проповедью личной эмансипации, с их нигилистической оппозицией против всякого рода и вида авторитарности, с их рационалистическими тенденциями и с их уклоном в сторону утопического социализма. Вокруг — непроглядная темень. Последние вспышки революционного единоборства с царизмом гаснут, как случайные искры во мраке ночи. Нет ни вождей, ни сколько-нибудь крупных в качественном и количественном отношении революционных организаций. Десять лет раньше этого юношу подхватила бы, по всей вероятности, революционная народническая волна и, быть может, увеличила бы на лишнюю статистическую единицу цифру жертв какого-нибудь грандиозного политического процесса. Десять лет позже — он от Писарева и Чернышевского (отдавши дань годам детских увлечений) быстро бы эволюционировал к Марксу и Энгельсу (именно от этих утилитаристов и «реалистов» гораздо скорее, чем, напр<имер>, от Добролюбова). Но в описываемое время, в этой полосе мертвого штиля, не было налицо захватывающих стихий. В результате — политический недоросль разделяет судьбу таких же эмбрионов, как и он, барахтается в атмосфере полного разброда и растерянности в умах подрастающей интеллигенции, пришедшей на смену прежнему поколению суровых борцов, «взыскует»

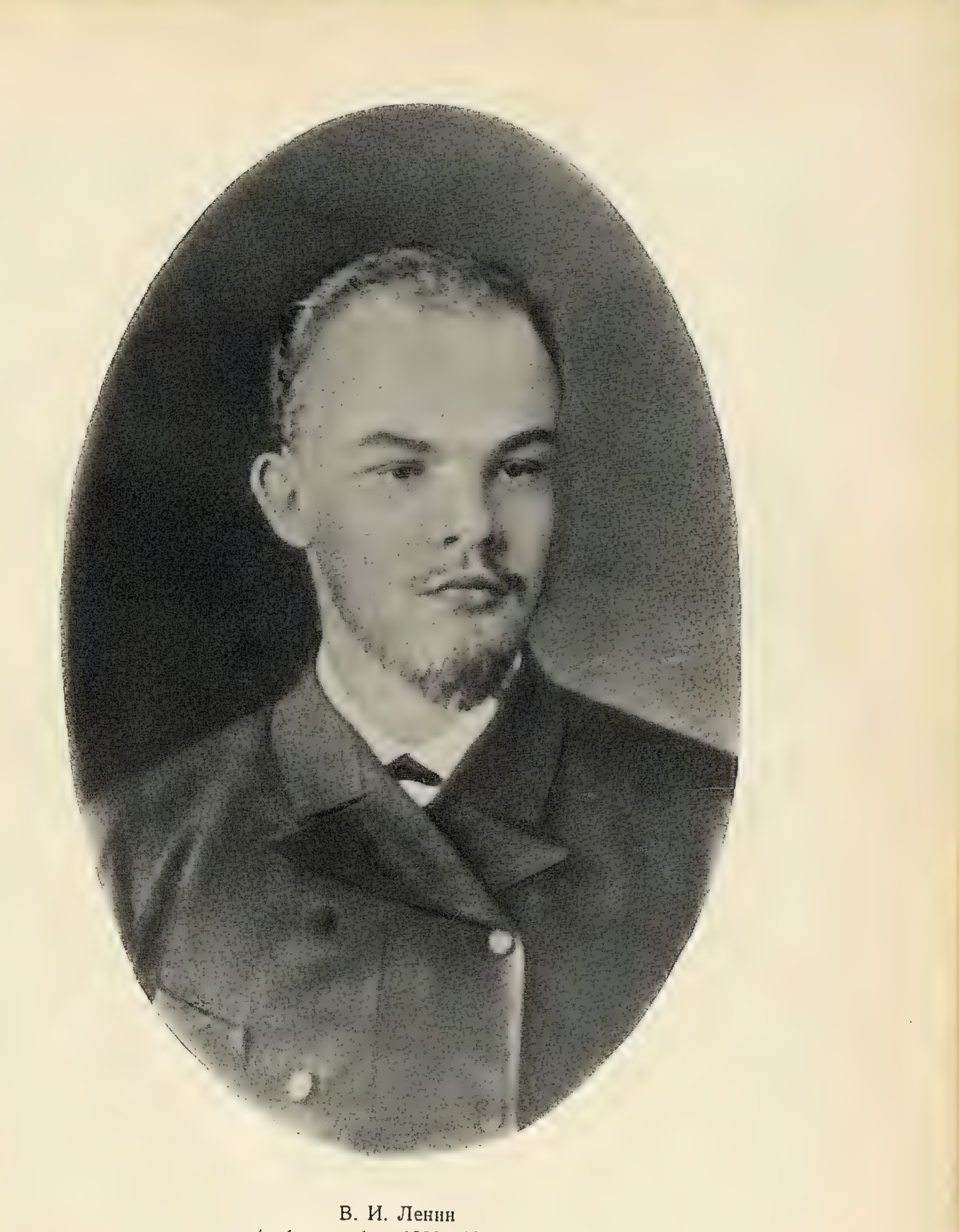
вместе с нею какой-то великой, мировой правды, ищет даже ответов на «проклятые вопросы» в мистических бреднях Льва Толстого, отдается с увлечением жалкому революционному крохоборству и находит лучший выход для своего буйного, протестующего духа в борьбе за академический устав.

Тем не менее зерно бунтарского отношения к окружающей действительности и к устоям мещанского уклада и обывательской морали было заброшено в души многих сотен и тысяч питомцев и питомиц высшей школы того времени. Не всегда это зерно прорастало сквозь толщу разочарования и отчаяния, которые охватывали юношу или молодую девушку при вступлении из романтической обстановки студенческой жизни на стезю прозаической борьбы за существование, стоявшей под знаком 20 числа, но во многих случаях это зерно проросло и впоследствии дало соответствующие плоды.

Я, по-видимому, оказался в смысле «неблагонадежности» навсегда попорченным. Годы моего студенчества предопределили мое дальнейшее политическое и общественное passe-partout.*

---

* Здесь — лицо (фр.) — *Сост.*



В. И. Ленин
(с фотографии 1890—1891 гг.)

А. И. Ульянова-Елизарова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИЛЬИЧЕ

Владимир Ильич стремился поступить вновь в университет,[1] но ему упорно отказывали в этом, а когда разрешили, наконец, вместо того сдать окончательный экзамен при университете, то он засел вплотную за зубрежку разных юридических наук и в 1891 г. сдал экзамен при Петербургском университете.[2] Тогда многие удивлялись, что, будучи исключенным из университета, он в какой-нибудь год, без всякой посторонней помощи, не сдавая никаких курсовых и полукурсовых испытаний, подготовился так хорошо, что сдал вместе со своим курсом. Кроме прекрасных способностей Владимиру Ильичу помогла в этом большая трудоспособность.

Помню, как летом в Самарской губернии он устроил себе уединенный кабинет в густой липовой аллее, где дал вкопать в землю скамейку и стол. Туда уходил он, нагруженный книгами, после утреннего чая с такой точностью, как будто бы его ожидал строгий учитель, и там, в полном уединении, проводил все время до обеда, до 3 часов.

Никто из нас не ходил в ту аллею, чтобы не мешать ему.

Кончая с учебой в утренние часы, он после обеда уходил в тот же уголок с книгой по общественным вопросам — так, помню, читал по-немецки Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». А потом погуляет, выкупается, и после вечернего чая выносится лампа на крылечко, чтобы комары в комнату не налетели,— и опять Володина голова склонена над книгой. Но если усиленные занятия не делали Владимира Ильича угрюмым, книжным человеком в более поздние годы, то тем более не делали его таким в молодости. В свободное время, за обедом, гуляя, он обычно шутил и болтал, развеселяя всех других, заражая своим смехом окружающих.

Умея работать, как никто, он умел и отдыхать, как никто.



В. М. Орешников. В. И. Ленин на экзамене. Масло. 1951 г.

А. А. Беляков

ЮНОСТЬ ВОЖДЯ

В январе 1891 г., а может быть в декабре 1890 г.— утверждать категорически затрудняюсь, Скляренко [1] и я впервые появились на квартире Ульяновых — угол Почтовой и Сокольничьей, дом Рытикова, во втором этаже.

Я помню отлично, как оба мы инстинктивно стремились скорей в комнату Владимира Ильича, где чувствовали себя как-то лучше, проще и свободнее <...> Комнатка была около трех-четырех квадратных саженей, с очень скромным, весьма поместительным письменным столом, который скорее других вещей в комнате бросался в глаза. На столе всегда был образцовый, удивительный порядок в расположении книг и очень небольшого количества тетрадок, очевидно рукописей, заметок, выписок.

Для меня было ясно, что на столе Владимир Ильич держит только те книги, которые в ближайший момент нужны для работы.

Главная масса книг с правой стороны состояла из учебников, пособий, лекций, которые Владимир Ильич «прошибал», как выражался Скляренко, готовясь к экзамену за юридический факультет, а с левой стороны всегда можно было видеть новую книжку толстого журнала, «Капитал» Карла Маркса по-немецки, Ф. Энгельс — по-немецки, свежую книгу «Die neue Zeit».[2] Это, очевидно, были настольные книги. Иногда появлялись книжки Николая-óна, В. В. Постникова и лежали подолгу на столе, вероятно подвергаясь изучению.[3]

Отдельно на этажерке в углу громоздилась главная масса юридических книг, пособий, лекций и новинки в то время редких экономических работ, дожидавшихся своей очереди для чтения.

Группа профессоров Петербургского университета, принимавших экзамены у В. И. Ульянова (Ленина) за юридический факультет Петербургского университета



В. И. Сергеевич



Ф. Ф. Мартенс



С. А. Бершадский



Н. М. Коркунов



П. И. Георгиевский



В. В. Ефимов



Н. Л. Дювернуа



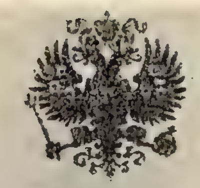
И. Я. Фойницкий

С. Ф. Ольденбург

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. И. и В. И. УЛЬЯНОВЫХ

Из двух братьев я сперва познакомился с Александром Ильичем, студентом-естественником. Он принадлежал, как и я, к студенческому Научно-литературному обществу, которое объединяло наиболее активные элементы научно работавшего студенчества. Он принадлежал, как и я, к научному отделу общества и сделался его секретарем. А. Ульянов был зоолог, много и упорно работавший, работе его была присуждена золотая медаль. К своим секретарским обязанностям в обществе он относился ревностно, принимал деятельнейшее участие в организационных вопросах. Общество ставило себе задачею, кроме объединения студенчества, и укрепление связи с кончавшими курс, мечтая, таким образом, соединить чисто научную работу с жизнью. Общество издавало программы для собирания разного рода сведений на местах по всем наукам. Слово «краеведение» тогда еще не произносилось, но в сущности уже в довольно широком масштабе студенты вели краеведческую работу.

Что побуждало А. Ульянова работать в обществе? Ведь он, несомненно, в это время уже готовился к террористическим выступлениям, потеряв веру в возможность успешной мирной, культурной борьбы. Этот вопрос я ставил себе после его смерти не раз. И удовлетворительный ответ на него получил только, когда познакомился потом с его братом, Владимиром Ильичем. Да, Александр Ильич был, как и брат, прежде всего человеком воли и действия. Эта сторона его характера определила для него ту террористическую деятельность, которая и привела его к смерти. Но наряду с этим в нем, как и в его брате, была заложена глубокая вера и любовь к науке: разрушая старую жизнь, которая рисовалась ему, как сплошное рабство, он понимал, что новую, свободную, рациональную жизнь, для которой он не жалел жизней, своей и чужих, можно создать, только опираясь на науку, с ее неуклонным свободным исканием. Оттого он с такой любовью вел свои глубоко



ДИПЛОМЪ.

Предъявитель сего, Владиміръ ~~Ивановъ~~ Ильичъ Ульяновъ, вѣроисповѣданія Православнаго, родившійся 10 Апрѣля 1870 г., съ разрѣшенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, подвергался испытанію въ Юридической испытательной коммиссіи при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ университетѣ въ Апрѣлѣ, Маѣ, Сентябрѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ 1891 года.

По представленіи сочиненія и послѣ письменнаго отвѣта, признанныхъ весьма удовлетворительными, оказалъ на устномъ испытаніи слѣдующіе успѣхи: по Догмѣ римскаго права, Исторіи римскаго права, Гражданскому праву и судопроизводству, Торговому праву и судопроизводству, Уголовному праву и судопроизводству, Исторіи русскаго права, Церковному праву, Государственному праву, Международному праву, Полицейскому праву, Политической Экономіи и Статистикѣ, Финансовому праву, Энциклопедіи права и Исторіи философіи права—весьма удовлетворительные.

Посему, на основаніи ст. 81 общаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россійскихъ университетовъ 23 Августа 1884 года, Владиміръ Ульяновъ, въ засѣданіи Юридической испытательной коммиссіи 15 Ноября 1891 г., удостоенъ диплома **первой** степени, со всѣми правами и преимуществами, поименованными въ ст. 92 устава и въ V п. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 23 день Августа 1884 года мнѣнія Государственнаго Совѣта. Въ удостовѣреніе сего и данъ сей дипломъ Владиміру Ульянову, за надлежащею подписью и съ приложеніемъ печати Управленія С.-Петербургскаго учебнаго округа. Городъ С.-Петербургъ. Января 14 дня 1892 года.

Попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа

Предсѣдатель Юридической испытательной коммиссіи

Правитель Канцеляріи

№ 334.

Диплом первой степени В. И. Ульянова (Ленина) об окончании юридического факультета Петербургского университета

специальные лабораторные занятия по зоологии, оттого он писал с таким увлечением специальную, столь, казалось, далекую от жизни, а особенно от террористического акта, работу, за которую ему присудили потом золотую медаль.

Так хорошо помню его лицо, всегда несколько суровое, даже часто мрачное; говорил он мало и не любил слушать длинные разговоры,— типичная особенность людей действия и людей мысли. <...>

Об аресте его мы скоро узнали, с ним были арестованы и многие другие наши знакомые и товарищи. Начался процесс, о котором до нас долетали иногда слухи. Теперь этот процесс давно общеизвестен, даже в мелких подробностях, но мне хотелось бы подчеркнуть в нем одну черту, столь характерную для Александра Ильича: он старался как можно больше ответственности перенести на себя, выгораживая других, умер он просто и спокойно.

Знакомство с Александром Ильичем привело меня и к первой встрече с его братом, студентом. По просьбе общих знакомых я оказал несколько услуг молодой курсистке, сестре моего покойного товарища по Научно-литературному обществу, Ольге Ильинишне, которая вскоре заразилась тифом и умерла. У меня сохранилось о ней воспоминание, как об удивительно милом, скромном и молчаливом молодом существе,— она хотела учиться и много занималась.[1]

Владимир Ильич пришел ко мне в один из приездов в Петербург, чтобы поговорить о сестре и о брате. Помню его мрачным и молчаливым, смерть брата он переживал трудно. Ему, видимо, хотелось услышать о нем от человека, с ним работавшего. Вопросы его касались главным образом научной работы, и это одно из самых сильных воспоминаний от этой встречи. Владимиру Ильичу было, видимо, особенно дорого и важно, что брат его занимался именно научной работой. Казалось бы, при тех обстоятельствах, в которых мы встретились, нам обоим было не до научных вопросов, между тем о них в сущности и шла только речь. Может быть, людей, ближе меня знавших Владимира Ильича, эта черта не поразила бы так, но для меня это подавление личных переживаний, подавление даже упоминаний о политической стороне дела было чем-то совершенно новым, большинство моих товарищей, из активных революционеров, к науке относилось с некоторым пренебрежением, в лучшем случае — с нетерпением, как к чему-то, чем не время заниматься в борьбе. За всеми вопросами Владимира Ильича чувствовался живой, непосредственный интерес, и, если бы я не знал, что он занят активной борьбою, я подумал бы, что он решил посвятить себя науке.

Не могу точно установить даты этой встречи.[2] Это было после смерти его брата, но отчетливо помню молодое, мрачное, ни разу не улыбнувшееся лицо, напряженное выражение...

После этой встречи я уже встретил его как Председателя Совнаркома Советской России, и разговор наш опять коснулся науки.

КОММЕНТАРИИ

Н. И. ГРЕЧ

Воспоминания старика

Впервые напечатаны в «Русском архиве», 1871, стлб. 258—265. Печатается с сокращениями по книге: Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., Academia, 1930, стр. 374—381.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — русский реакционный писатель, публицист и лингвист. Издатель журнала «Сын Отечества» (1812—1838) и газеты «Северная пчела». Показной либерализм Греча после подавления восстания декабристов бесследно исчез, уступив место открытой проповеди реакционных идей царизма. Совместно с Ф. Булгариным Греч выступал против Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского.

«Записки» Греча в «Русском архиве», а позднее в издании Суворина (1886 г.) напечатаны с пропусками и большим количеством цензурных сокращений. Первое полное издание «Записок» увидело свет только в годы Советской власти. «Литературный Ванька Каин» (как называл Греча В. Г. Белинский) и платный агент III отделения в этих своих «Записках» местами далеко отошел от привычной для него официальной апологетики самодержавия. За долгую восьмидесятилетнюю жизнь Греч написал десятки томов самых разнообразных литературных, публицистических и даже полунаучных работ, но почти все его сочинения были забыты еще при жизни автора. И только «Записки о моей жизни» сохранили определенное значение для понимания эпохи, так же как и для характеристики множества разнообразных лиц, сталкивавшихся с Гречем. Во второй части его «Записок» — «Воспоминания старика» — приведен большой фактический материал, довольно объективно, в частности, характеризующий мракобесов из Министерства народного просвещения.

Однако и в «Записках моей жизни» Греч не оставил борьбы с передовой идеологией. Протестуя против расправы с университетской профессурой, Греч вместе с тем настойчиво пытается создать у читателя впечатление, что из Университета были изгнаны не передовые ученые, а будто бы люди, почти ничего науке не давшие. Указанную цель преследует, например, уничижительная гречевская оценка проф. К. Германа — крупного ученого, труды которого сохранили свое значение и в наши дни.

1 *Рунич Дмитрий Павлович* (1778—1860) — царский чиновник. В 1821—1826 гг. — попечитель Петербургского учебного округа. Ревностный проводник реакционной политики правительства в области просвещения.

2 Событие, о котором идет речь в воспоминаниях Греча, знаменовало одно из проявлений резкого поворота к реакционному курсу в царствование Александра I.

Поставленный во главе Министерства народного просвещения, преобразованного в Министерство духовных дел и народного просвещения, мракобес князь А. Голицын превратил его, по словам Н. М. Карамзина, в «Министерство затмения». Член Главного

правления училищ М. Л. Магницкий, назначенный попечителем Казанского учебного округа, разгромил Казанский университет, изгнав из его стен ряд лучших профессоров. По составленной им инструкции все преподавание в университете должно было вестись на основе священного писания. Вслед за Магницким, Рунич произвел разгром в Петербургском университете в 1821 г. «Повторилась казанская история. Виднейшие ученые... были обвинены в пропаганде „маратизма" и „ропеспьеризма" и изгнаны из Университета» (С. Б. Окунь. Очерки истории СССР. Конец XVIII—первая четверть XIX в. Л., 1956, стр. 299).

[3] *Толмачев Яков Васильевич* (1779—1873) — профессор Петербургского университета по кафедре российской словесности (1819—1831). С 1821 г. — профессор кафедры философии.

[4] Сообщение Греча подтверждается и другими свидетелями. Н. Г. Устрялов пишет: «Толмачев под разными предлогами доставил записки Раупаха, Арсеньева и других от казенных студентов педагогического института, преобразованного в университет» (Н. Г. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. «Древняя и новая Россия», 1880, т. 2, стр. 609).

[5] *Герман Карл* (1767—1838) — профессор кафедры статистики со дня основания Петербургского университета и первый декан историко-филологического факультета. Изгнан из Университета в 1821 г.

[6] *Раупах Эрнст* (1784—1852) — немецкий писатель, историк и филолог. С 1819 г.— профессор истории Петербургского университета. Изгнан из Университета в 1821 г., в следующем году вернулся в Германию, где приобрел известность как драматург.

[7] *Уваров Сергей Семенович* (1786—1855). В молодости член Пушкинского «Арзамаса», впоследствии ярый реакционер. С 1816 по 1821 г. — попечитель Петербургского учебного округа, с 1818 г. — президент Академии наук, в 1834—1849 гг. — министр народного просвещения, осуществлявший реакционную программу «официальной народности».

[8] *Арсеньев Константин Иванович* (1789—1865) — русский географ, историк и экономист. С 1819 года — профессор Петербургского университета, из которого был изгнан в 1821 г. С 1836 г. — академик.

[9] *Зябловский Евдоким Филиппович* (1763—1846). В 1819—1833 гг. — профессор географии и статистики Петербургского университета, в 1821—1825 гг. — исполнял обязанности ректора.

[10] *Галич Александр Иванович* (1783—1848) — русский философ и психолог. С 1819 г. — профессор кафедры философии Петербургского университета. Отстранен от преподавания в 1821 г. Вынужденный перебиваться случайными заработками, Галич бедствовал, но продолжал научную работу и опубликовал несколько объемистых трудов. В 1814—1815 гг. Галич преподавал в Царскосельском лицее. В «Послании к Галичу» Пушкин говорит о нем:

Друг мудрости прямой
Правдив и благороден.

В конце жизни служил департаментским переводчиком.

[11] А. В. Никитенко, хотя и не бывший очевидцем событий, но тщательно их изучавший, пишет: «Главным поводом к обвинению его (т. е. Галича. — *Сост.*) служила изданная им *История философских систем.* Обвинительный пункт был формулирован вопросом: излагая разные системы философов, зачем он их не опроверг? Некоторые из членов конференции осмелились заметить, что он не обязан был делать это, как историк, что если б он это сделал, то он уже излагал бы не науку, не историю человеческих мыслей, а свои собственные мнения. Это не подействовало. Рунич уподобил книгу Галича тлетворному яду или заряженным пистолетам, положенным среди играющих детей, либо диких, не знающих употребления огнестрельного оружия, забыв, что те, для которых излагалась история философии, были не дети, а взрослые люди». (А. В. Никитенко. Александр Иванович Галич. Журнал Министерства народного просвещения. 1869, т. 1, стр. 52—53).

[12] *Балугьянский Михаил Андреевич* (1770—1847) — русский ученый и обществен-

ный деятель. В 1819—1821 гг. — профессор политической экономии и первый ректор Петербургского университета.

[13] *Лодий Петр Дмитриевич* (1764—1829). Русский правовед. В 1819—1829 гг. — профессор Петербургского университета.

[14] *Бутырский Никита Иванович* (1783—1848). В 1819—1835 гг. — профессор поэзии Петербургского университета. После разгрома Петербургского университета в 1821 г. читал в нем курс политической экономии. Ныне забытый поэт и переводчик.

[15] *Плисов Моисей Гордеевич* (1782—1853). В 1819—1822 гг. — профессор кафедры политической экономии и первый библиотекарь Петербургского университета.

[16] *Шармуа Франсуа-Бернар* (1793—1869) — ориенталист, профессор персидского языка Петербургского университета в 1819—1835 гг.

[17] *Деманж Жан-Франсуа* — профессор арабского языка в Петербургском университете (1819—1822).

[18] *Грефе Федор Богданович* (1780—1851) — академик. С 1819 г. — профессор Петербургского университета по кафедре классической филологии.

[19] *Чижов Дмитрий Семенович* (1785—1853) — академик. С 1819 г. — профессор математики Петербургского университета.

[20] *Соловьев Михаил Федорович* (1785—1856). С 1819 г. — адъюнкт, а в 1824—1846 гг. — профессор Петербургского университета по кафедре физики и химии.

[21] *Вишневский Викентий Карлович* (1781—1855) — математик и астроном. В 1819—1835 гг. — профессор кафедры астрономии Петербургского университета.

[22] *Ржевский Андрей Васильевич* (1786—1839) — зоолог, профессор Петербургского университета.

[23] *Радлов Карл Федорович* (1784—1842) — профессор римской словесности Петербургского университета в 1820—1822 гг.

[24] *Тимковский Иван Осипович* (1768—1837) — правительственный чиновник. Директор училищ Петербургской губернии. В 1804—1821 гг. — цензор.

[25] *Дегуров Антон Антонович* (1765—1849). С 1819 г. — профессор истории и французской словесности Петербургского университета. Активный пособник Рунича в разгроме Университета.

[26] *Рогов Трофим Осипович* (1789—1831). С 1819 г. — преподаватель, а с 1822 по 1831 г. — профессор кафедры всеобщей и российской истории Петербургского университета.

[27] *Попов Дмитрий Прокофьевич.* В 1819—1824 гг. — адъюнкт Петербургского университета по латинскому и греческому языкам.

[28] *Щеглов Николай Прокофьевич* (1794—1831). Русский физик. С 1819 г. — адъюнкт, в 1822—1831 гг. — профессор Петербургского университета.

[29] На первом заседании конференции — 3 ноября 1821 г. — были допрошены профессора Раупах и Герман, на заседании 4 ноября — Галич и Арсеньев. На заключительном заседании 7 ноября был составлен доклад о деятельности конференции, представленный на утверждение Комитету министров (Историческая записка о деле Санкт-Петербургского университета. ЧОИДР, 1862, кн. III, отд. 3, стр. 180—205).

[30] Рукописную сатиру на заседания конференции, озаглавленную «Записка о частном испытании в С.-Петербургской губернской гимназии ученикам VII класса, произведенном в среду 7 декабря 1821 г. по предмету естественного права», напечатал М. И. Сухомлинов в «Материалах для истории просвещения в царствование императора Александра I», СПб., 1866, стр. 159—167. Текст в ломаных скобках в используемом издании ошибочно опущен. Восстановлен по первой публикации.

[31] *Кавелин Дмитрий Александрович* (1778—1851) — директор (1819—1823 гг.) Петербургского университета.

[32] Утверждение Греча не соответствует действительности. Верно, что по делу отстраненных профессоров Комитет министров не вынес никакого решения, но благодаря зловещей настойчивости Рунича решение об изгнании профессоров впоследствии было утверждено непосредственно царем. («С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819—1919. Материалы по истории С.-Петербургского университета», т. I, 1819—1835. Пг., 1919, стр. 374—375). Так или иначе пострадали и активно защищавшие четверых обвиняемых ректор Балугьянский, профессора Шармуа, Деманж, Лодий и директор училищ Петербургской губернии Тимковский, Арсеньев,

Плисов и некоторые другие изгнанные профессора перешли на службу во II отделение императорской канцелярии (Г. Н. Александров. Очерки моей жизни. «Русский архив», 1904, кн. III, стр. 485).

[33] Ныне Звенигородская ул., угол ул. Правды. Деревянное здание Университета не сохранилось.

[34] Ср. воспоминания Ф. Н. Фортунатова (см. наст. изд. стр. 21. — В дальнейшем ссылки на настоящее издание ограничиваются указанием страниц).

Ф. Н. ФОРТУНАТОВ

Воспоминания о С.-Петербургском университете за 1830—1833 годы

Печатается по первой публикации в «Русском архиве», 1869, кн. 2, стр. 4—5, 7—8, 32—36.

Фортунатов Федор Никитич (1812—1872) — писатель. По окончании историко-филологического факультета Петербургского университета работал инспектором Вологодской гимназии, а с 1852 г. — директором Петрозаводской гимназии. Автор нескольких историко-этнографических, биографических и краеведческих работ. Воспоминания Фортунатова, посвященные «старым университетским товарищам», написаны к 50-летию основания Университета.

[1] Перестройка эта оказалась очередным мошенничеством Рунича (см. стр. 20).

[2] *Тихомиров Петр Васильевич* (1802—1831) — астроном и математик, воспитанник, а впоследствии профессор Петербургского университета. Автор ряда научных работ и учебных пособий.

[3] *Плетнев Петр Александрович* (1792—1865) — писатель и литературный критик умеренно-либерального направления. С 1832 г. — профессор российской словесности в Университете, с 1841 г. — академик. С 1840 г. — ректор Университета. Оставил Университет в связи со студенческими волнениями 1861 г. В 1838—1848 гг. издавал «Современник». Плетнев — близкий приятель А. С. Пушкина, помогавший поэту в издании его произведений. К нему обращено стихотворное посвящение «Евгения Онегина» (см. стр. 35).

[4] I—VIII томы «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина вышли в свет в 1816—1817 гг., IX—XI — в 1821—1824 гг., последний, XII том — в 1829 г., уже после смерти автора. Труд Карамзина, написанный с привлечением огромного количества источников, является вершиной русской дворянской историографии. Попытка Карамзина обосновать незыблемость царизма и дворянской монархии при совершенном искажении роли народных масс вызвала резкий отпор декабристов, исторические воззрения которых являлись «особого рода идейным оружием, направленным против всей системы феодально-монархической идеологии, олицетворяемой в то время Карамзиным» (С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов. М.—Л., 1958, стр. 442). Н. Тургенев писал о Карамзине: «Он... не заклеймил роковых законов, прикрепивших русского крестьянина к земле, но он как будто даже... восхваляет их» (Н. Тургенев. Россия и русские, т. I. СПб., 1815, стр. 344). Реакционные взгляды Карамзина на историю русского крестьянства вызвали гневную эпиграмму Пушкина, развенчавшего попытку Карамзина доказать «необходимость самовластья и прелести кнута».

[5] *Даль Владимир Иванович* (1801—1872) — языковед, писатель и этнограф, почетный член Академии наук. Основной его труд: «Толковый словарь живого великорусского языка» в 4-х томах — неоднократно переиздавался. Этот словарь высоко ценил В. И. Ленин. В 30-е годы XIX в. Даль, писавший под псевдонимом Казак Луганский, получил широкую известность своими рассказами из народного быта.

[6] Дом Плетнева не сохранился. Ныне на его месте д. № 8 по Московскому пр.

[7] *Никитенко Александр Васильевич* (1805—1877) — писатель, литературный деятель умеренно-либерального направления. Родом из крепостных крестьян графа Шереметьева. Освобождение от крепостной зависимости получил с помощью К. Ф. Рылеева и В. А. Жуковского в 1824 г. В следующем году поступил в Петербургский университет. С 1833 г. — цензор Петербургского цензурного комитета. С 1832 г. — преподаватель, а с 1834 г. — профессор российской словесности в университете, с 1855 г. — академик.

Записки и дневник Никитенко, озаглавленные «Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был», неоднократно переиздавались.

[8] Румянцевский музей был открыт в 1831 г. Основу его составили коллекции и библиотека известного русского собирателя древностей и издателя исторических документов графа Н. П. Румянцева. В 1861 г. музей был переведен в Москву.

<Е. А.> М<АТИСЕН>

Воспоминания из дальних лет

Печатается по первой публикации в журнале «Русская старина», 1881, май, стр. 155—160.

Матисен Егор Андреевич (1818—1896) поступил в Университет в 1833 г., окончил историко-филологический факультет в 1837 г. Продолжил образование в Германии. По окончании в 1841 г. Берлинского университета служил в Петербургской судебной палате и Сенате.

[1] Университет возвращен в свое здание в 1837 г.

[2] В 1837 г. в Университете обучалось 333 студента (В. В. Мавродин, Н. Г. Сладкевич, Л. А. Шилов. Ленинградский университет. Л., 1957, стр. 10), тогда как, например, в предшествующем — лишь 269 (Ю. Н. Егоров. Реакционная политика царизма в вопросах университетского образования в 30—50-х гг. XIX в. «Исторические науки», 1960, № 3, стр. 61).

[3] Обязательность мундира сохранилась на протяжении последующей четверти века. «В начале сороковых годов, — писал, например, Н. Д. Белов, — когда я был гимназистом, а затем в конце сороковых годов — студентом, соблюдение формы, согласно всем предписанным правилам, составляло вопрос величайшей важности не только для военных учебных заведений, но и для гражданских. Покойный инспектор Университета Фитцтум фон Экштет почти каждый вечер отправлялся на какое-нибудь публичное гулянье, чтобы захватить тех из студентов, которые являлись на гулянье в фуражке, а не в шляпе. К позднему вечеру этого же дня или на другой день аудитории наполнялись арестованными, а попадавшиеся не в первый раз отсиживали урочные часы в карцере. Так все время колесом и шло: одни отсиживали свой грех, другие занимали их место». (Н. Д. Белов. Рассказ об императоре Николае Павловиче. «Исторический вестник», 1885, т. XX, стр. 485).

[4] Матисен заблуждается, отмечая аполитичность творчества Языкова. Несостоятельность этой точки зрения доказана советским литературоведением и неоднократно отмечалась современниками поэта. В студенческой лирике Языкова четко звучат не только любовные и вакхические, но и гражданские антицерковные и антиправительственные мотивы. До сих пор широко популярна песня «Пловец» на слова Языкова («Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней»). Студенчество и в наши дни поет полную гражданского пафоса, горячей любви к науке песню Языкова «Из страны, страны далекой. . .»

[5] Среди университетского студенчества не было того «достоинства и равноправия», о котором пишет Матисен. А. А. Чумиков, обучавшийся в Университете в описываемый период, вспоминал: «Студенты-аристократы резко отделялись от остальной студенческой семьи. . . Сообщались между собой члены этого кружка не иначе, как на французском языке, приезжали в Университет, по большей части в собственных экипажах, отличались от других студентов развязностью манер, которая нередко заходила за границы приличия» (А. Чумиков. Петербургский университет полвека назад. «Русский архив», 1888, кн. III, стр. 125).

[6] *Куторга Михаил Семенович* (1809—1886) — русский историк античности, член-корреспондент Академии наук. Воспитанник Петербургского университета. С 1835 г. читал в нем курсы истории древнего мира, средних веков и новой истории. С 1838 по 1869 гг. — профессор Петербургского, а с 1869 г. — Московского университета.

[7] Отпевание А. С. Пушкина в Конюшенной церкви состоялось в 11 часов утра 1 февраля 1837 г. (Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, 2-е изд. СПб., 1910, стр. 388).

А. В. Никитенко сообщает о похоронах Пушкина: «В Университете получено стро-

гое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему». (А. В. Никитенко. Дневник, т. I, 1826—1857. ГИХЛ, 1955, стр. 196).

Присутствие студентов на отпевании поэта отметила в своем письме и дочь Н. М. Карамзина С. Карамзина. (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., АН СССР, 1960, стр. 172).

[8] Гроб с телом поэта был увезен в ночь с 3 на 4 февраля 1837 г. (Н. О. Лернер, ук. соч., стр. 395).

Н. И. ИВАНИЦКИЙ

На лекциях Н. В. Гоголя

Впервые было опубликовано без названия, в виде письма в редакцию журнала «Отечественные записки», 1853, № 2, отд. VII. Печатается по книге: «Гоголь в воспоминаниях современников». М., 1952, стр. 83—86, где редактором текста С. Машинским эти воспоминания озаглавлены «Гоголь — адъюнкт-профессор».

Иваницкий Николай Иванович (1816—1858) — писатель и педагог. В 1838 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Сотрудник журналов «Современник», «Отечественные записки». В 1853—1858 гг. — директор Псковской гимназии.

Воспоминания Иваницкого появились в ответ на статью В. П. Гаевского «Заметки для биографии Гоголя» («Современник», 1852, № 10, отд. VI). Возражения Иваницкого направлены против повторяемых им следующих утверждений Гаевского: «Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать когда-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться его приглашением, наконец условились, уведомили об этом предварительно Гоголя и в назначенное время отправились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не являлся. Такой же маневр был употреблен Гоголем и в день, назначенный для испытания студентов по его предмету, с тою только разницею, что за ним послали, но оказалось, что он вовсе уехал из города» («Отечественные записки», 1853, № 2, отд. VII, стр. 119).

[1] Утверждение Гоголя адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории состоялось 24 июля 1834 г. Увольнение — 31 декабря 1835 г.

[2] Ректором был А. А. Дегуров.

[3] Лекция впервые была напечатана под названием: «О средних веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем» (ЖМНП, 1834, № 9). Впоследствии под заголовком «О средних веках» включена автором в «Арабески».

[4] Лекция под названием «О движении народов в конце V века» напечатана в «Арабесках». Очевидно, в Университете Гоголь читал наброски статьи, дописанной уже при подготовке «Арабесок» к печати (см.: Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. X. М., 1940, стр. 344).

[5] Неуспех профессорства Гоголя отмечался многими современниками. «Гоголь... дурно читает лекции в университете», — записывает в дневнике А. В. Никитенко. «Профессура Гоголя потерпела фиаско, — отмечает Н. М. Колмаков, — и сам он начал хворать. Голова его, по случаю ли боли зубов или по какой другой причине, постоянно была подвязана белым платком; самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с большим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений» (Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания. «Русская старина», 1891, май, стр. 461). Это «фиаско» Гоголя не всегда объективно объяснялось мемуаристами. Например, в «Записках» А. С. Андреева утверждается, что Гоголь был слабо знаком с фактической стороной предмета («Сегодня», альманах 2.

М., 1927, стр. 164). Это утверждение не соответствует действительности. Неудача Гоголя на университетской кафедре объясняется тем, что великий писатель был далек от методов научного исследования. Его художественное мышление набрасывало слушателям ряд ярких романтических картин, зачастую имевших мало общего с действительностью. Правильное объяснение неуспеха Гоголя в преподавании истории дает студент Матисен (см. стр. 27—28).

Отрицательно оценивал профессорство Гоголя и слушавший его лекции И. С. Тургенев: «Он был рожден для того, чтобы быть наставником своих современников, но только не с кафедры» (И. С. Тургенев. Гоголь. Собр. соч. в двенадцати томах. М., 1956, т. 10, стр. 326).

[6] А. С. Пушкин и В. А. Жуковский посетили лекцию Гоголя в октябре 1834 г. (Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, стр. 321). Лекция напечатана в «Арабесках» под заглавием «Ал-Мамун. (Историческая характеристика)».

[7] *Шульгин Иван Петрович* (1795—1869) — историк; с 1819 г. — преподаватель, впоследствии ректор и (до 1843 года) профессор Петербургского университета. В описываемое время — декан историко-филологического факультета.

[8] Иваницкий не точен. Поездка состоялась, хотя Гоголь отправился не на Кавказ, а в Крым (июнь или июль 1835 г.), «где пачкался в минеральных грязях» (Письмо к В. А. Жуковскому от 15 июля 1835 г. — Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. X, стр. 369).

И. С. ТУРГЕНЕВ

* У Плетнева

Впервые напечатано в «Русском архиве», 1869, № 10, стлб. 1663—1676. Печатается по книге: И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. Собр. соч. в двенадцати томах, т. 10. М., 1956, стр. 263—265, 271—273.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883). В 1834 г. перевелся из Московского университета на филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1837 г. со званием кандидата. В 1842 г. сдал в Петербургском университете экзамены на степень магистра философии. В студенческие годы Тургеневым написано множество стихотворений, в большинстве остающихся неизвестными. Впечатления Тургенева-студента отразились в ряде его литературных произведений («Отцы и дети», «Накануне», «Рудин», «Дворянское гнездо» и др.). Достаточно напомнить, что и Николай Петрович Кирсанов окончил, как и Тургенев, Петербургский университет и в студенческие годы так же жил с братом на одной квартире. Аркадий Кирсанов, Рудин и Лежнев, Паншин и Лаврецкий и ряд других тургеневских персонажей — питомцы Петербургского или Московского университетов.

[1] Точнее: «Стено» («Голос минувшего», 1913, № 8, стр. 217—254) — одно из первых произведений И. С. Тургенева, драматическая поэма. При жизни автора опубликована не была.

[2] В действительности первое стихотворение озаглавлено «Вечер» и подписано «... въ» («Современник», 1838, № 1, стр. 151). Оно цитируется Тургеневым не с начала, а со следующей строфы. Второе стихотворение, подписанное так же, было озаглавлено «К Венере Медицейской» («Современник», 1838, № 4, стр. 82).

[3] В приведенном отрывке, написанном в 1868 г., Тургенев совмещает события разных лет. Описываемый им вечер датируется 9 марта 1838 г., следовательно встреча с Пушкиным не могла произойти (М. Е. Клеман. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.—Л., 1934, стр. 24). Всего вероятнее, что Тургенев впервые увидел Пушкина у Плетнева в январе 1837 г., за несколько дней до гибели поэта (Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, стр. 385).

[4] Это пушкинская характеристика Плетнева из посвящения ему «Евгения Онегина», предпосланного роману.

[5] Плетнев преподавал литературу будущему императору — Александру II.

[6] Автор имеет в виду студенческие волнения 1861 г. См. стр. 72—92, 264—271.

В. В. ГРИГОРЬЕВ

Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве

Печатается по первой публикации в журнале «Русская беседа», 1856, т. III, отд. V, стр. 19—20, 22—25.

Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), академик, русский буржуазный востоковед, воспитанник, а с 1863 г. — профессор Петербургского университета. Автор первого в России курса истории Востока. Один из первых русских исследователей истории и культуры Средней Азии. Автор ценных работ по нумизматике.

В период написания мемуаров Григорьев был начальником пограничной экспедиции в Оренбургском крае (1852—1862).

В некоторых (нами опущенных) частях воспоминания Григорьева написаны пером реакционного полемиста славянофильского толка. Эти страницы воспоминаний немедленно вызвали резкую критику в либеральной печати Москвы и Петербурга. Московское студенчество, восторженно относившееся к Грановскому, публично возглашало: «Pereat Grigorieff!» («Да погибнет Григорьев!»). Подробнее об отзывах на комментируемые воспоминания см.: Н. И. Веселовский. В. В. Григорьев по его письмам и трудам. СПб., 1887, стр. 151—152; С. А. Асиновская. Из истории передовых идей в русской медиевистике. (Т. Н. Грановский). М., Изд. АН СССР, 1955, стр. 151—153. В настоящем издании перепечатываются те отрывки из воспоминаний Григорьева, которые представляют интерес для характеристики студенческого периода жизни Грановского.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), выдающийся русский историк, крупнейший представитель русской медиевистики и виднейший деятель общественного движения 30—40-х гг., один из вождей западничества — либерально-буржуазного просветительского направления русской общественной мысли. В 1832—1835 гг. Грановский — студент юридического факультета Петербургского университета. По окончании Университета был командирован для приготовления к профессорской деятельности за границу. Вернувшись в 1839 г. из Германии, Грановский назначается профессором кафедры всеобщей истории в Московский университет.

[1] Грановский приехал в Петербург в январе 1831 г. и поселился в семье мужа своей тетки О. В. Бодиско, которая умерла в феврале того же года. Грановский, приехавший в Петербург для завершения образования, а отнюдь не для службы, как это утверждает Григорьев, оказался чрезвычайно стеснен материально. Это вынудило его поступить на службу в один из департаментов Министерства иностранных дел, не оставляя мысли о продолжении образования (А. Станкевич. Т. Н. Грановский и его переписка, т. I. М., 1897, стр. 14).

[2] Грановский не учился полутора лет на одном курсе. Григорьев упустил из виду, что некоторое время Грановский, по особому ходатайству, посещал лекции в Университете, «не имея степени студента» — до своего официального зачисления на факультет (П. Кудрявцев. Детство и юность Грановского. «Русский вестник», 1858, т. 18, кн. 1, стр. 35—36).

[3] *Устрялов Николай Герасимович* (1805—1870) — видный русский историк дворянского направления. Воспитанник, впоследствии — преподаватель и профессор Петербургского университета. Наиболее известна его капитальная работа «История царствования Петра Великого» в нескольких томах.

[4] *Фишер Адам Адамович* (1799—1861) — профессор Петербургского университета, педагог и переводчик.

[5] Позднее, в Германии, Грановский уже не считал лекций Фишера «в высшей степени полезными». Изучая Гегеля, он пишет из Берлина Григорьеву в ноябре 1837 г.: «Я не знал, что такое философия, пока не приехал сюда. Фишер нам читал какую-то другую науку, пользы которой я теперь решительно не понимаю» (См.: А. Станкевич, ук. соч., стр. 29).

[6] Т. Н. — т. е. Тимофей Николаевич.

П. П. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Санкт-Петербургский университет (1845—1848 гг.)

Печатается по первой публикации: Мемуары П. П. Семенова-Тян-Шанского, т. 1. Детство и юность (1827—1855 гг.). Издание семьи. Пг., 1917, стр. 172—177.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (до 1906 г. — Семенов) — академик, выдающийся русский ботаник, энтомолог, географ, путешественник и статистик. В 1845 г. поступил, в 1848 г. окончил физико-математический факультет Петербургского университета. С 1849 г. член, а позднее вице-председатель и фактический руководитель Русского географического общества. Организатор и руководитель ряда важных научных экспедиций, П. П. Семенов совершил два больших путешествия в Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг. Широко и разносторонне эрудированный ученый и глубокий исследователь, автор публикуемых мемуаров предпринял ряд крупнейших изданий, как, например пятитомный «Географо-статистический словарь» или фундаментальный труд «Россия (полное географическое описание нашего отечества)» (к 1914 г. вышло 19 томов этого издания).

Семенов-Тян-Шанский — организатор Первого всероссийского статистического съезда, руководитель первой всеобщей переписи населения России. Он — участник ряда правительственных комиссий в период буржуазных реформ 60-х гг., член Государственного Совета.

Семенов-Тян-Шанский был избран почетным членом Академии художеств. Тонкий знаток голландской живописи, Семенов-Тян-Шанский известен и как автор исследования «Этюды по истории нидерландской живописи» (чч. 1—2, 1885—1890 гг.). Собранная Семеновым-Тян-Шанским большая коллекция картин фламандских и голландских мастеров подарена им в 1910 г. Эрмитажу.

Печатаемые отрывки из воспоминаний П. П. Семенова-Тян-Шанского не воссоздают полной картины университетской жизни второй половины 1840-х годов. Это время ознаменовалось не только апогеем реакции, но и бурным развитием в среде передовой интеллигенции демократических и социалистических идей. Именно в эти годы достигла наибольшего размаха деятельность петрашевцев (подробнее о них см. стр. 48, 49, 52, 254), к числу которых принадлежали многие из питомцев (Д. Д. Ахшарумов, П. И. Белецкий и др.), студенты и вольнослушатели Университета (назовем студента физико-математического факультета П. Н. Филиппова и слушателя восточного факультета А. В. Ханыкова, приговоренных по делу петрашевцев к расстрелу; сам автор мемуаров и его брат Н. П. Семенов посещали собрания петрашевцев и ими обоими весьма интересовались власти во время следствия — см.: «Дело петрашевцев», т. II. М., 1946, стр. 145—147 и др.). Обо всем этом П. П. Семенов-Тян-Шанский не упоминает ни слова. Не называет мемуарист и имени Н. Г. Чернышевского, в описываемое время — студента Петербургского университета.

[1] В 1845 г. Семенов-Тян-Шанский окончил школу гвардейских подпрапорщиков. Об этом периоде своей жизни автор мемуаров между прочим сообщает: «Все наши учителя очень полюбили меня, и некоторые из них, имевшие связь с Университетом, говорили мне, что очень сожалеют о том, что я поступаю в военно-учебное заведение, а не в Университет, так как военная служба, очевидно, не может быть моим призванием. Я и сам сознавал, что при пробудившейся во мне страстной жажде знаний университетское образование наиболее бы удовлетворило ее, но мечта поступления в Университет представлялась мне пока неосуществимою» (П. П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары ..., стр. 150—151). Переход в «статскую» службу был разрешен автору по состоянию здоровья (там же, стр. 299).

[2] Т. е. Николаем Петровичем Семеновым (1823—1904), воспитанником Царскосельского лицея, впоследствии сенатором.

[3] *Данилевский Николай Яковлевич* (1822—1885) — публицист, признанный глава неославянофильства, автор книги «Россия и Европа» (1871), содержащей развернутую программу великодержавного национализма. Известен также как натуралист. В описываемое время — активный представитель правого крыла петрашевцев; был лицейским товарищем Н. П. Семенова.

[4] *Ленц Эмилий Христофорович* (1804—1865) — академик, выдающийся русский физик. С 1836 г. преподавал на кафедре физики и физической географии Петербургского университета, с 1840 г. — декан физико-математического факультета, с 1863 г. — ректор Университета. Автор ряда научных работ. Широко известны его классические измерения по так называемому закону Джоуля-Ленца.

[5] *Куторга Степан Семенович* (1805—1861) — воспитанник, с 1837 г.— профессор Петербургского университета. Один из первых русских ученых, познакомивший своих студентов с учением Ч. Дарвина, дав, по словам К. А. Тимирязева, «трезвую объективную оценку» его теории.

[6] *Воскресенский Александр Абрамович* (1809—1880) — академик, выдающийся русский химик-органик. Преподаватель школы гвардейских подпрапорщиков, с 1838 г. — адъюнкт, с 1843 г. профессор химии Петербургского университета. С 1863 г.—декан физико-математического факультета, с 1865 г. — ректор университета, с 1867 г. — попечитель Харьковского университета. Воскресенский, заслуженно прозванный любившими его учениками «дедушкой русской химии», принадлежал к числу передовых прогрессивно мыслящих людей своей эпохи. В школе подпрапорщиков он вызвал гнев начальства разоблачением церковного фокуса со «святой» водой (П. П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары .., стр. 155—156). В Университете, вспоминает Н. И. Венюков, «А. А. Воскресенский, устроил, например, следующую шутку тотчас после того, как Мусин-Пушкин сделал ему замечание: „у вас в лаборатории студент Савич работает без форменного сюртука, в пиджаке". Профессор наполнил аудиторию селенистым водородом, настолько вонючим, что свирепый куратор не выдержал и немедленно вышел, после чего Воскресенский, ухмыляясь, попросил студентов отворить форточки, прибавив, что, вероятно, они не посетуют на вторгнувшийся, таким образом, „чистый воздух" (в —20°). И студенты со смехом отвечали, что „конечно нет, что атмосферу нужно очищать от присутствия вредных тел"» (Н. И. Венюков. Воспоминания. «Русская старина», 1891, январь, стр. 131).

[7] *Шиховский Иван Осипович* (1803—1854) — русский ботаник. Воспитанник Московского университета, а с 1840 — профессор Петербургского университета.

[8] *Ценковский Лев Семенович* (1822—1887) — академик, известный русский ботаник, воспитанник, преподаватель, а с 1854 по 1862 гг. — профессор Петербургского университета, один из основоположников бактериологии, создатель лечебных вакцин.

[9] *Гофман Эрнст Карлович* (1801—1871) — русский геолог, путешественник. Исследователь Урала. В 1854—1863 гг. читал лекции по геологии в Петербургском университете.

[10] *Савич Алексей Николаевич* (1810—1883) — академик, известный русский астроном. Воспитанник Московского университета, а в 1839—1880 гг. — профессор астрономии Петербургского университета. Автор капитального двухтомного курса астрономии.

[11] *Неволин Константин Алексеевич* (1806—1855) — известный русский юрист, профессор Киевского, а с 1843 г. — Петербургского университета. Автор ряда ценных исследований по истории русского права.

[12] *Май Карл Иванович* (1820—1895) — педагог, автор нескольких педагогических работ.

А. Н. ПЫПИН

Мои заметки

Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1905, № 2, стр. 469—509; № 3. стр. 5—58. Печатается по книге: А. Н. Пыпин. Мои заметки. М., Издание Л. Э. Бухгейм, 1910, стр. 49—52, 61—64, 67—77.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — питомец Петербургского университета, историк литературы и общественного движения (важнейшие его труды: «История русской литературы», «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов», «Общественное движение в России при Александре I», «Белинский, его жизнь и переписка»), академик. Двоюродный брат Н. Г. Чернышевского.

По окончании в 1829 году Саратовской гимназии А. Н. Пыпин поступил в Казанский университет, из которого по настоянию и благодаря хлопотам Н. Г. Чернышевского

(Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 67, 68) перешел в 1850 г. на историко-филологический факультет Петербургского университета, профессором которого состоял в 1860—1861 гг. Вышел в отставку в знак протеста против расправы над студенческим движением.

[1] «Путешествие до Петербурга. . .» — из Москвы (9—11 августа 1850 г.), где Пыпин останавливался на пути из Саратова. В поездке из Саратова в Петербург Пыпина сопровождал Чернышевский (Н. М. Чернышевская. Летопись . ., стр. 68).

[2] Этот криптоним расшифрован дочерью Пыпина Верой Александровной на стр. 69 книги «Мои заметки» (М., 1910). Она пишет: «Речь идет о Чернышевском. Невольно вспоминается, как на вопрос, почему при печатании воспоминаний о Некрасове отец не называет Н. Г. полным именем, он отвечал: „Пользоваться полицейским разрешением теперь — мне противно. Поздно. . . Кто подумает, те поймут меня, а не поймут — и бог с ними. . .”».

[3] Диплом об окончании Чернышевским историко-филологического факультета со званием кандидата помечен датою 11 сентября 1850 г. В дипломе отмечены следующие познания: в богословии, философии, римской словесности и древностях, русской словесности, всеобщей и русской истории и литературе славянских наречий и истории русского законодательства — отличные; в греческой словесности и древностях — хорошие; в немецком языке — достаточные (Н. М. Чернышевская. Летопись . ., стр. 70).

[4] Чернышевский составил запись лекций И. И. Срезневского по славянским древностям и древнеславянскому языку.

[5] *Штейнман Иван Богданович* (1819—1872) — филолог-классик, профессор Петербургского университета и Главного педагогического института.

[6] *Благовещенский Николай Михайлович* (1821—1892) — профессор римской словесности в Петербургском университете (1852—1872).

[7] *Сухомлинов Михаил Иванович* (1828—1913) — филолог. С 1852 г. — адъюнкт, с 1860 г. — профессор русской словесности Петербургского университета; академик.

[8] «Мне он нравится несравненно более всех других профессоров, которые нам читают», — писал Чернышевский об М. С. Куторге Г. С. Саблукову 25 октября 1846 года (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1949, стр. 71—72).

[9] *Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826—1911) — историк, журналист, общественный деятель, либерал. В 1852—1861 гг. — профессор Петербургского университета. Вышел в отставку в связи с волнениями студентов Университета в 1861 г.

[10] *Касторский Михаил Иванович* (1807—1866) — профессор русской истории Петербургского университета; цензор. См. о нем также стр. 58—61, 257—258.

[11] «Грефе — совершенный ребенок по понятиям своим, и мне совестно смотреть на человека этого, которому 75 лет», — писал студент Чернышевский в дневнике 2 сентября 1848 г., имея в виду консерватизм политического мышления своего профессора (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I. М., 1939, стр. 105).

[12] *Востоков Александр Христофорович* (1781—1864) — выдающийся филолог-славяновед, академик (с 1841 г.).

Калайдович Константин Федорович (1792—1832) — один из первых русских археографов-историков. Основные его работы: «Памятники русской словесности XII века», «Русские достопамятности», «О языке „Слова о полку Игореве”», «Судебник царя Ивана IV» (совм. с П. М. Строевым).

Строев Павел Михайлович (1796—1876) — русский историк-археограф, инициатор и руководитель археографической экспедиции по России (1828—1834), выявившей ок. 3000 историко-юридических актов XIV—XVII вв.

Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — один из основателей славяноведения в России, профессор Московского университета, друг Т. Г. Шевченко. Опубликовал ряд ценных историко-литературных памятников в «Чтениях в Обществе Истории и Древностей Российских».

Григорович Виктор Иванович (1815—1876) — выдающийся русский языковед, один из основоположников славянской филологии в России. Важнейшие его труды: «Опыт изложения литературы славян в ее главнейших эпохах» (1842), «Изыскания о славянских эпохах» (1847), «Славянские наречия» (1847).

Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — выдающийся русский филолог, исследователь русского языка, русского фольклора, древнерусской литературы и древнерусского

искусства. Главные его труды: «О преподавании отечественного языка» (1844), «О влиянии христианства на славянский язык» (1848), «Историческая грамматика русского языка» (1858).

Новиков Евгений Петрович (1826—1903) — славист (ученик Бодянского), дипломат, в конце жизни — член Государственного совета.

[13] *Ламанский Владимир Иванович* (1833—1914) — славист, славянофил. В 1850—1854 гг. — студент, с 1864 — доцент, с 1870 — профессор Петербургского университета, с 1900 года — академик. Основатель и редактор журнала Русского географического общества «Живая старина», а также «Вестника Русского географического общества» и «Записок Русского географического общества».

[14] *Мордовцев Даниил Лукич* (1830—1905) — историк и беллетрист. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1852). В студенческие годы был близок к Н. Г. Чернышевскому, в последние годы жизни — реакционер.

[15] *Добровский Иосиф* (1753—1829) — славяновед, выдающийся представитель чешского возрождения.

Шафарик Павел Йосеф (1791—1861) — один из виднейших деятелей чешского национального движения первой половины XIX в., филолог и историк. Тесно сотрудничал с русскими славянистами О. П. Бодянским, П. И. Прейсом, И. И. Срезневским, В. И. Григоровичем.

Копитар, Варфоломей (1780—1844) — славянский ученый-филолог, ученик И. Добровского. По политическим взглядам — реакционер, апологет Габсбургской империи.

Ганка Вацлав (1791—1861) — чешский писатель, ученый, деятель буржуазно-национального движения. Видный организатор русско-чешских научных связей.

Палацкий Франтишек (1798—1876) — чешский либерально-буржуазный историк и политический деятель. Автор многотомной «Истории чешского народа».

Коллар Ян (1793—1852) — выдающийся чешский поэт, филолог и историк. В России широкой популярностью пользовалась его поэма «Дочь славы» (1824), в которой он воспевал национально-освободительное движение славянских народов.

Челяковский Франтишек (1799—1852) — чешский поэт и филолог, преследовался австрийским правительством за сочувствие польскому восстанию 1830—1831 гг.

Караджич Вук (1787—1864) — видный деятель сербского возрождения, участник освободительной борьбы сербского народа против турецкого гнета, основоположник современного сербского языка, фольклорист. Поддерживал связи с русскими учеными. Был членом Петербургской академии наук.

Мацеевский Вацлав (1793—1883) — польский историк и историк права; его труды сыграли значительную роль в развитии сравнительного изучения славянских народов.

[16] Петрашевцы — участники существовавшего в 1845—1849 гг. в Петербурге кружка передовой русской интеллигенции, одним из организаторов которого был чиновник Министерства иностранных дел М. В. Петрашевский. Основным в программе кружка было требование уничтожения феодально-крепостнического строя. В кружке петрашевцев намечались два крыла — революционно-демократическое (М. В. Петрашевский, Н. А. Спешнев, А. В. Ханыков, П. Н. Филиппов, Н. А. Момбелли и др.) и либеральное (А. П. Беклемишев, Н. Я. Данилевский и др.). Основная группа петрашевцев была арестована в ночь на 23 апреля 1849 г. — за три дня до выступления русских войск в Венгрию. Решив начать вооруженную борьбу с европейской революцией, царское правительство принимало таким образом срочные меры для укрепления своего тыла (см.: А. С. Нифонтов. Россия в 1848 году. М., 1949, стр. 283 и след.). Из 23 осужденных петрашевцев 21 был признан виновным в «злоумышленном намерении произвести переворот в общественном быте России» и приговорен к расстрелу, замененному после издевательской инсценировки смертной казни ссылкой на каторжные работы, в арестантские роты и в действующие полки на Кавказ. Беспощадные репрессии, обрушившиеся в конце 1840-х гг. на прогрессивную интеллигенцию, произвели на современников потрясающее впечатление. Н. А. Некрасов писал:

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.

Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.

(Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. II. М., 1948 стр. 330.

«Ужасно подлой и глупой» историей назвал расправу с петрашевцами Чернышевский (Полн. собр. соч., т. I. М., 1939, стр. 274). Небезынтересные сведения о влиянии петрашевцев на университетское студенчество см.: В. В. Берви. Царствование Николая I. Годы до вступления на службу. «Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 137—138.

[17] *Михайлов Михаил Ларионович* (1829—1865) — русский писатель и публицист, видный революционный деятель. В 1846—1859 гг. — вольнослушатель Петербургского университета.

[18] Встреча Чернышевского с Михайловым в Нижнем Новгороде состоялась. В одной из дневниковых записей А. Н. Пыпина за 1850 г. читаем: «Михайлов встретил нас очень дружелюбно. Сейчас начался, конечно, живой разговор, в котором было перебрано все, что только нужно было ныне передать друг другу, о чем потолковать, что обсудить... Хотя все, о чем они с Николей (т. е. с Чернышевским.— *Сост.*) говорили, было мне известно, но все-таки это было мне очень интересно; — вспоминали о старом и об Университете, и о своих знакомых товарищах, профессорах, обо всем. Наконец, разумеется, дошло и до политики: здесь опять толки. Литература также была не последним предметом разговора» (Сб. «Николай Гаврилович Чернышевский». Саратов. 1928, стр. 288—289).

[19] Имеется в виду помещенная в четвертом номере «Свистка» стихотворная «Дружеская переписка Москвы с Петербургом», прокомментированная «весьма серьезным и усидчивым, хотя и непризнанным библиографом г. Лайбовым» (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1939, стр. 117—127). Лайбов — частный псевдоним Н. А. Добролюбова, составленный из последних слогов его имени и фамилии.

[20] *Введенский Иринарх Иванович* (1813—1855) — литературный критик-демократ, переводчик, педагог и историк литературы. Был дружен с Н. Г. Чернышевским, который в молодости участвовал в петербургском кружке Введенского. См. характеристику кружка И. И. Введенского в дневнике Н. Г. Чернышевского за 1849—1850 гг. и в письме М. И. Майкову от 25 января 1851 г. (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I, стр. 343—404; т. XIV, стр. 208—216).

[21] *Тимофеев Константин Акимович* (ок. 1837—1881) — малозначительный педагог, литературовед и писатель, действительный статский советник.

[22] *Коневич Владислав Феофилович* (1831—1879) — литературовед, критик, педагог. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1852). Автор «Библиографических и исторических примечаний к басням И. А. Крылова» (1868).

[23] *Благосветлов Григорий Евлампиевич* (1824—1880) — выдающийся представитель русской демократической журналистики, редактор журнала «Русское слово» (1860—1866), по запрещении которого в 1866 г. был на три месяца заключен в Петропавловскую крепость. Начальное образование получил в Саратовской семинарии, где учился вместе с Чернышевским. Окончил юридический факультет Петербургского университета.

[24] *Милюков Александр Петрович* (1817—1897) — питомец Петербургского университета, историк литературы (автор «Очерков истории русской поэзии», 1847) и педагог. В молодости примыкал к умеренному крылу петрашевцев (Дуров, Плещеев). В 1849—1850 гг. часто встречался с Н. Г. Чернышевским в кружке И. И. Введенского (см.: А. П. Милюков. Иринарх Иванович Введенский. «Исторический вестник», 1888, № 9, стр. 579—580).

[25] М. Е. Салтыков-Щедрин был сослан в Вятку в апреле 1848 г. за пропаганду социалистических идей в повестях «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), которыми дебютировал в литературе.

Н. В. ШЕЛГУНОВ

* Н. Г. Чернышевский защищает диссертацию

Печатается по первой публикации в книге: Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Редакция, вступ. ст. и прим. А. А. Шилова. М.—Пг., 1923, стр. 163—167.

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — выдающийся революционер, демократ, публицист; член «Земли и воли» 1860-х годов; автор широко известных революционных прокламаций «К молодому поколению» и «К солдатам» (1861). Дважды подвергался заточению в Петропавловскую крепость (1862 и 1883).

Один из самых близких единомышленников Н. Г. Чернышевского, активный член революционной организации «Земля и воля» 1860-х годов, Н. В. Шелгунов писал свои «Воспоминания» в 1884—1885 гг. в селе Воробьево Смоленской губернии, куда был сослан по обвинению в содействии русским политическим эмигрантам. Н. В. Шелгунов взялся за перо, чтобы достойно ответить на клевету, которую в обстановке жесточайшей реакции 1880-х годов возводила реакционная и зарубежная печать на революционеров 60-х годов и все прогрессивное общественное движение России. «Мне обидно и досадно не только за истину, но и за тех лучших, чистейших и умнейших людей, которых 60-е годы выставили в лице Чернышевского, Писарева, Добролюбова, и именем которых зовется целое время. При торжестве этих идей я, может быть, не говорил бы ни слова, но теперь, когда против движения 60-х годов — и правительство и газетная печать... я считаю позорным не протестовать и трусливым молчанием играть позорную роль отступника» (Н. В. Шелгунов. Воспоминания, стр. 24).

[1] Точное название диссертации Н. Г. Чернышевского: «Эстетические отношения искусства к действительности». Диссертация была напечатана под этим названием отдельной книгой. На титуле, кроме названия, значилось: «Сочинение Н. Чернышевского на степень магистра русской словесности. Санкт-Петербург. В типографии Эдуарда Праце. 1855».

[2] *Пекарский Петр Петрович* (1828—1872), историк, либерал, ординарный академик Академии наук; воспитанник историко-филологического факультета Петербургского университета. Наиболее значительные его работы: «Наука и литература при Петре Великом» (т. I. СПб., 1862) и «История Императорской Академии наук» (тт. I—II, СПб., 1870, 1873).

[3] Защита диссертации Н. Г. Чернышевским состоялась 10 мая 1855 года в 2 часа дня (Н. Г. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 109).

[4] На свой диспут Н. Г. Чернышевский пригласил (согласно представленному им списку) следующих лиц: А. А. Краевского, И. И. Панаева, П. В. Анненкова, Л. А. Мея, А. Н. Пыпина, П. П. Пекарского, А. Ф. Тюрина, И. И. Введенского, П. И. Тер[синского?], А. Ф. Раева, В. И. Ламанского, Е. П. Попова, А. А. Шишкина, А. Н. Струговщикова, Ф. Е. Корша, А. Г. [Н. В.?] Шелгунова, И. В. Писарева, П. З. Тарасевича, Н. С. Степанова, Ф. И. Зикатова («Красный архив», 1938, № 6, стр. 280).

[5] О С. И. Сераковском — см. стр. 270, 271.

[6] Официальными оппонентами были А. В. Никитенко и М. И. Сухомлинов.

[7] «На диспуте,— писал в 1864 г. „Колокол" (л. 190),— Чернышевский своим тонким звонким голосом, с легкой иронической улыбкой на губах, живо отражал нападения своих несильных оппонентов».

[8] Чтобы успокоить отца, Н. Г. Чернышевский в своем письме к нему (от 16 мая 1855 г.) писал, будто обсуждение диссертации завершилось «обыкновенным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут — чистая форма... Никитенко,— продолжал Чернышевский,— возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, все же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас неизвестным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей, мне известных... Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ на возражения.., но они были так далеки от сущности дела, что и ответы

мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен, но в сущности был пуст, как я, впрочем, и предполагал».

Для истории Университета существенным является то обстоятельство, что вслед за магистерской диссертацией Чернышевский намеревался «готовить... диссертацию на доктора... к ближайшему позволительному сроку представления», т. е. к маю 1856 г. (См.: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1949, стр. 299—301).

[9]Министр просвещения А. С. Норов, ознакомившись с диссертацией, воскликнул: «Ведь это вещь совершенно невозможная, ведь это полнейшее отрицание искусства и изящного!» («Исторический вестник», 1884, кн. 6, стр. 588). Чернышевский был утвержден в звании магистра лишь в 1858 г.

Ср. «Отрывок из воспоминаний», написанный Н. В. Шелгуновым в 1875—1876 гг.: «В 1855 г. Чернышевский представил на степень магистра диссертацию об „Эстетических отношениях искусства к действительности". Это была первая молния, которую он кинул. Нужно удивляться не тому, что Чернышевский выступил с такой диссертацией, а тому, что ученый факультет университета в первый раз слышал такие мысли, первые кончики тех львиных когтей, которые он показал потом. Все здание русской эстетики Чернышевский сбрасывал с пьедестала и старался доказать, что жизнь выше искусства и что искусство только старается ей подражать. Мысль была настолько отважная и в России новая, что ректор университета Плетнев сказал в конце диспута Чернышевскому: „Я, кажется, вам читал совсем иную теорию искусства"». Цит. по кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников в двух томах. Общая редакция Ю. Г. Оксмана. Саратов, 1958, т. I, стр. 193.

[10] *Майков Валентин Николаевич* (1823—1847) — литературный критик, окончил юридический факультет Петербургского университета. Начал литературную деятельность в журнале «Отечественные записки», куда был приглашен на место В. Г. Белинского, ушедшего в «Современник». Страстный защитник «натуральной школы», Майков не был, однако, продолжателем литературно-критической деятельности Белинского, отстаивая позитивистское, а не революционно-демократическое понимание действительности.

Д. И. ПИСАРЕВ

Наша университетская наука

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1863, № VII, стр. 1—75. Печатается по книге: Д. И. Писарев. Соч. в четырех томах. М., 1955—1956, т. 2. М., 1955, стр. 140—142, 182—184.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — выдающийся русский революционный демократ, критик и публицист. Сотрудник журнала «Русское слово», ставшего благодаря Писареву одним из самых влиятельных журналов 1860-х годов. В 1856—1861 гг. Писарев учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. В 1862 г. за революционную статью против наемного агента царского правительства барона Фиркса Писарев был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, где просидел около четырех с половиной лет.

Статья «Наша университетская наука» написана Д. И. Писаревым летом 1863 г. в Петропавловской крепости (подробнее см.: М. К. Лемке. Политические процессы в России 1860 гг. Изд. 2-е, М.— Пг., 1923, стр. 575—576). Сочетающая мемуарный элемент с публицистическим, эта статья была первым после ареста выступлением Писарева в печати.

Картина академических занятий на историко-филологическом факультете Петербургского университета, нарисованная Писаревым, будучи глубоко реалистичной, в то же время содержит многочисленные «тематические преувеличения, вполне объяснимые внутренним заданием статьи — доказать оторванность от жизни и схоластичность школьного и университетского образования» на рубеже 50—60-х годов XIX в. (Л. А. Плоткин. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. Л.— М., 1945, стр. 91).

[1] «... почтенный профессор» — Креозотов. Под этой вымышленной фамилией Писарев вывел М. И. Касторского, профессора Петербургского университета, монар-

хиста, совершенно никакой роли в науке не сыгравшего. Ср., например, характеристику Касторского, данную В. И. Семевским: «Касторский, известный в свое время по бездарности профессор истории, тот самый, который в течение многих лет благодаря какой-то протекции мог занимать кафедру в Петербургском университете, был довольно уморительной наружности с весьма странными ухватками и положительно не умевший поговорить полчаса связно и логично» («Русская школа», 1893, № 5—6, стр. 67).

В другом месте комментируемой статьи Д. И. Писарев рассказал о том, как по поручению Креозотова-Касторского он с товарищами переводил с греческого «географическое сочинение Страбона». «Я... могу объяснить читателю,— писал Писарев,— что это была за работа. Представьте себе, что какой-нибудь господин раскрыл перед вами атлас, взял в руки указку и, водя ею взад и вперед по карте, рассказывает вам, что вот это мыс A, а в двух верстах от него залив B, а в залив этот впадает река C, а по реке C стоят города D, E и F и т. д., и все в том же роде. Это строгое изложение разнообразится порою кратким историческим намеком на сражение, происшедшее поблизости, или на богослужебные обряды, совершавшиеся где-нибудь в священной роще... Вот и все. И таких прогулок по атласу набирается листов до сорока, а мне предстояло перевести пять листов, т. е. 80 страниц. Читатель понимает, конечно, как сильно такая работа могла обогатить мой ум и как необходимо было для русской публики получить издания Страбона в русском переводе» (Д. И. Писарев. Соч., т. 2. М., 1955, стр. 139—140).

[2] Следует сказать, что Писарев, особенно на первом и втором курсах, занимался науками с ревностным прилежанием и искренней любовью, изумляя товарищей великолепной памятью и незаурядной работоспособностью. Его товарищ по университету П. Полевой вспоминал: «Как теперь помню впечатление первого знакомства с Писаревым. Мы, первокурсники, сходились со вторым курсом на лекциях классических языков при чтении писателей... Надо заметить, что нас, филологов, было в то время довольно много и, когда два курса сходились в одной из маленьких аудиторий Петербургского университета (чаще всего в VI), то аудитория бывала почти полна. Между студентами первого и второго курса были и очень пожилые... Каково же было мое удивление, когда на одной из первых таких сводных классических лекций (в то время мы читали „Одиссею" Гомера) вызвался читать автора какой-то худощавенький, беленький и розовенький мальчик (на втором курсе Писареву было 17 лет.— *Сост.)* и чрезвычайно бойко прочел несколько десятков строф греческого текста; прочитав отрывок, он перевел его также бойко, внятно произнося каждое слово своим мягким и тоненьким, почти детским голоском. Я спросил у студентов, как фамилия этого второкурсника. Мне отвечали, что фамилия его — Писарев, и прибавили еще, что он отлично знает древние языки, лучше всех студентов второго курса. На другой лекции — опять та же история: тот же студентик вызывается читать и переводить Гомера, и опять его нежный и тоненький голосок один, в течение целого часа, раздается в аудитории. На меня это подействовало пренеприятно: мне студентик этот показался выскочкой, а по моим тогдашним понятиям — это свойство должно было как-то особенно позорить студента, да и при том еще второкурсника. Я бы, вероятно, не взлюбил Писарева за это, если бы не узнал вскоре, что он является выскочкой невольным, потому что остальные товарищи его ленятся приготовлять отрывки из классического автора и каждый раз заставляют переводить Писарева, который переводит Гомера без всякого приготовления» (П. Полевой. Воспоминания о Дмитрии Ивановиче Писареве. «С.-Петербургские ведомости», 1868, № 193).

[3] *Смарагдов Семен Николаевич* (1805—1871) — преподаватель истории и географии, автор учебников по истории. Учебник Смарагдова, о котором упоминает Писарев, по-видимому, «Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений». СПб., 1841 (изд. VII, 1859).

[4] Писарев цитирует не совсем точно. У Фонвизина: «Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего» (Д. Фонвизин. Собр. соч. в двух томах. М.— Л., 1959, т. I, стр. 108).

[5] Каламбур о двух Гротах (Писарев имеет в виду английского историка античности Георга Грота и сотрудника журнала М. Каткова «Русский вестник» умеренно-либерального буржуазного публициста Якова Карловича Грота) иронически направлен против Я. К. Грота, с которым Д. И. Писарев полемизировал в нашумевшей

статье «Московские мыслители» («Русское слово», 1862, кн. 1 и 2). В этой статье Писарев показал, что литературно-критические воззрения Я. К. Грота обнаруживают «такую первобытную, нетронутую наивность, которая возможна только в человеке, не имеющем ни малейшего понятия об интересах, волнующих нашу литературу» (Д. И. Писарев. Соч. в четырех томах, т. I, стр. 288).

[6] *Нибур Баргольд-Георг* (1776—1831) — видный немецкий историк античности, автор популярной «Римской истории» (чч. 1—3, 1811—1812, 1832), посвященной ранней римской республике.

Моммзен Теодор (1817—1908) — видный немецкий историк древнего Рима. В 1848 г. — участник буржуазной революции в Шлезвиг-Гольштейне, в конце жизни крайний реакционер, шовинист. В многотомной «Истории Рима» (первые три тома были изданы в 1854—1856 гг.) идеализировал Римскую империю, пытаясь обосновать доктрину «демократического цезаризма» как выражение политических устремлений германской буржуазии 1850-х годов.

Дункер Макс (1811—1866) —немецкий историк античности и политический деятель, реакционер. Главный его труд: «История древнего мира» (1852—1857).

[7] Ср. мемуарное свидетельство П. Полевого: «Смешно вспомнить теперь, что искание специальности часто доводило студента Писарева до слез. Он плакал, просто плакал о том, что все, составлявшие тесный кружок его товарищей (имеются в виду Л. Н. Майков, Н. А. Трескин, А. М. Скабичевский и П. Полевой.— *Сост.*), уже занимались серьезно, а он все еще перебегал от одного предмета к другому. От этих сокрушений о невозможности специализировать свои занятия писатель часто приходил к очень неутешительным заключениям о своей личности и не по существу впадал в уныние» (П. Полевой, ук. ст. «С.-Петербургские ведомости», 1868, № 193).

[8] Под фамилией Иронианского выведен профессор всеобщей истории Петербургского университета М. М. Стасюлевич. См. стр. 253.

[9] Кандидатская диссертация Писарева легла в основу его статьи «Аполлоний Тианский. Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном и религиозном состоянии», опубликованной в «Русском слове» (1861, кн. 6—8).

Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

Женщины в Петербургском университете

Впервые под названием «Петербургский университет» статья была опубликована в «Русских ведомостях», 1902, 15 января, № 15; 21 января, № 31. Печатается по книге: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. Вступ. статья, подготовка текста и примечания С. А. Рейсера. М., ГИХЛ, 1958, стр. 213—220.

Пантелеев Лонгин Федотович (1840—1919) — член «Земли и воли» 1860-х годов, издатель, публицист. Родился в Сольвычегодске, окончил Вологодскую гимназию (1858), учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета (1858—1861), откуда был исключен за активное участие в студенческих волнениях 1861 года (см. стр. 72—92). Со второй половины 1862 г.— член «Земли и воли». В декабре 1864 г. был арестован «за принадлежность к С.-Петербургской революционной организации, с целью возбуждения и поддержания польского мятежа...» и сослан в Енисейскую губернию. В 1874 г. возвратился в Петербург, в 1877 г. начал издательскую деятельность, продолжавшуюся тридцать лет. В 1870—1890 гг. либерал, после 1905 г. — кадет. «Воспоминания» Л. Ф. Пантелеева, явившиеся плодом длительной кропотливой работы, принадлежат к числу ценных мемуарных источников об эпохе 1860-х годов (См. также стр. 15).

[1] *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818—1885) — историк русского права, публицист, «один из отвратительнейших типов либерального хамства» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 13); в 1857—1861 гг. — профессор Петербургского университета (вышел в отставку после «думской истории», см. стр. 99—108).

[2] *Корсини Наталия Иеронимовна* — писательница (псевдоним — Н. Таль), член «Земли и воли» 1860-х годов, жена Н. И. Утина (см. стр. 267).

[3] *Корсини Мария Антоновна* (1815—1859) — писательница. Главное произведение — «Очерки современной жизни» в девяти томах (1848—1851).

[4] *Спасович Владимир Данилович* (1829—1906) — юрист, публицист, литературный критик, либеральный общественный деятель; в 1857—1861 гг. — профессор кафедры уголовного права Петербургского университета (вышел в отставку после «думской истории» — см. стр. 99—108); с 1864 г. — адвокат. Автор воспоминаний: «Пятидесятилетие Петербургского университета». В кн.: Сочинения В. Д. Спасовича. Издание второе, т. IV. СПб., 1913, стр. 3—66.

[5] Утин Борис Исаакович. См. стр. 263.

[6] Утин Николай Исаакович. См. стр. 263.

[7] *Богданова* (по мужу Быкова) *Мария Арсеньевна* (ок. 1840—1907) — врач и педагог.

Суслова Надежда Прокопьевна (1843—1918) — первая в России женщина-врач, член «Земли и воли» 1860-х годов, писательница. Происходила из семьи крепостных графа Шереметева. Ученица И. М. Сеченова. Окончив в 1867 г. медицинский факультет Цюрихского университета, защитила докторскую диссертацию на тему: «Прибавление к физиологии лимфатических сердец» (См.: К. Розова. Первая русская женщина-врач. «Фельдшер и акушерка», № 3, 1945, стр. 48—52. Ср.: М. Л. Белкин. Русские женщины-врачи — пионеры высшего женского медицинского образования. «Советский врачебный сборник», 1949, вып. 14, стр. 29—36).

Бокова-Сеченова (до замужества Обручева) *Мария Александровна* (1839—1929) — одна из первых в России женщин-врачей, член «Земли и воли» 1860-х годов, писательница. Сестра революционера-демократа В. Н. Обручева. Чтобы стать независимой от воли родителей и иметь возможность получить высшее образование, вступила в фиктивный брак с доктором П. И. Боковым — другом Н. Г. Чернышевского. Позже стала женой И. М. Сеченова (см. также стр. 161, 285). Начав образование в Петербургской медико-хирургической академии, Бокова вынуждена была, в связи с запретом обучать женщин в академии, завершать образование в Цюрихском университете. В 1871 г. в Цюрихе защитила докторскую диссертацию на тему: «К учению о керахите». В том же году возвратилась на родину. Послужила прототипом героини романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — Веры Павловны (см., напр.: С. Штрайх. Героиня романа «Что делать?» в ее письмах. «Звенья», 1934, № 3—4).

Манассеина Мария Михайловна (ум. 1903) — врач, доктор медицины, писательница. Выступала с публичными лекциями и в печати, преимущественно по вопросам медицины, физиологии и педагогики.

[8] Дочь Ф. П. Толстого, Е. Ф. Юнге, в воспоминаниях, опубликованных три года спустя по выходе мемуаров Л. Ф. Пантелеева, рассказывала: «Я рвалась разделить участь тех нескольких женщин — сестер Конради, Богдановой и др., — которые решились вступить в Университет, но мать не пустила меня и поехала сначала одна. Я провела часы ее отсутствия в большом волнении и бунтовала: „Во что бы то ни стало буду на лекциях! Пойду одна, пойду против мамы!" — говорила я себе, в душе чувствуя, что решительно ничего „против мамы" не поделаю. К моей радости она вернулась очень довольная, и на третьей, кажется, лекции, я уже присутствовала. С каким священным трепетом я вступала в Университет, как все в нем, чуть ли не самые стены, внушало мне чувство благоговения, как скоро стало близким и родным, этого теперь никто не поймет, об этом не стоит и говорить». — Е. Ф. Юнге. Из моих воспоминаний (1843—1860). «Вестник Европы», 1905, т. III, стр. 258.

[9] *Чичерин Борис Николаевич* (1828—1904) — умеренный либерал, юрист, до 1866 г. — профессор государственного права Московского университета.

[10] Общие сведения о борьбе женщин за право слушать лекции в университете см.: С. Ашевский. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов. «Современный мир», 1907, № 7—8, стр. 19—25.

А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ

Университет перед закрытием. Сорванный акт 1861 г.

Впервые опубликовано в тринадцатой главе «Из воспоминаний о пережитом», «Русское богатство», 1907, № 8, стр. 51—57. Печатается по книге: А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания. Редакция, вступ. статья и примечания Б. Козьмина. М. — Л., Изд. «Земля и фабрика», 1928, стр. 144—146, 149—150.

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — русский критик и историк литературы. Окончил историко-философский факультет Петербургского университета (1861). Его мировоззрение формировалось под влиянием революционно-демократических идей. В 1870-е годы примыкал к народничеству. В 1880—1890 гг. эволюционировал в сторону буржуазного либерализма.

[1] *Костомаров Николай Иванович* (1807—1885) — идеолог украинского буржуазного либерализма, прогрессивный русско-украинский историк и исторический беллетрист; в 1847 г. по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе был приговорен к ссылке в Саратов (см.: П. А. Зайончковский. Кирилло-Мефодиевское общество (1845—1846). МГУ, 1959); в 1859—1861 — профессор Петербургского университета; вышел в отставку после «думской истории» (см. стр. 99—108).

[2] Н. И. Костомаров писал по этому поводу следующее: «Перед самым актом помощник попечителя И. Д. Делянов сообщил мне, что министр не желает, чтобы я читал свою речь на акте, а что, если мне угодно, то я могу ее прочесть на каком-нибудь литературном вечере. Причиной такого распоряжения со стороны министра было, как мне сказано, не слишком утомлять старых архиереев, приглашенных на акт. Когда я вошел в актовый зал в день отправления акта, г. Делянов, подошедши ко мне, просил меня удалиться, не показываясь на глаза студентам. Я поступил так, как мне было сказано» (Н. И. Костомаров. Автобиография. М., 1922, стр. 275).

[3] Славянофильство — либерально-дворянское националистическое направление в русском общественном движении. В период становления славянофильства его политическая программа была весьма неопределенной, хотя и вполне ограниченной. Славянофилы отстаивали принцип «сила власти — царю, сила мнения — народу», имея в виду восстановление тенденциозно идеализированных патриархальных отношений между властью и народом, отнюдь не затрагивая при этом основ самодержавной власти. В конце 50-х — начале 60-х годов позиция ряда видных представителей славянофильства (Константина и Ивана Аксаковых, Самарина, Хомякова, Кошелева) характеризуется (правда, на весьма короткий период времени) заметно проступающими либеральными чертами. Реакционные основы своего мировоззрения лидеры славянофильства сочетают с такими отдельными либеральными лозунгами, как критика бюрократической государственной системы, низкопоклонства перед заграницей, робкая защита идеи «простора» общественной самодеятельности. Но даже и такой куцый либерализм, совершенно отвергавший глубокие социальные перевороты, вызывал преследования правительства. К их числу относится и запрещение речи Н. И. Костомарова, посвященной К. Аксакову. Следует отметить, что дополнительной причиной приказания заменить речь Н. И. Костомарова было опасение приветственной демонстрации в адрес популярного профессора, в свое время опального общественного деятеля.

[4] Скабичевский ошибается. На акте был зачитан лишь официальный годовой отчет. См., напр.: Сергей Гессен. Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 1932, стр. 45—46.

[5] Н. И. Костомаров был до 8 марта 1862 г., когда разразилась так называемая «думская история», популярнейшим профессором Университета. «Этот человек,— писала Е. Ф. Юнге,— пострадавший за те идеи, которые теперь торжествовали и в торжестве своем возносили его, казался нам залогом, что теперь не будет более недоразумений, все силы родины пойдут вместе на общее дело. Небольшого роста, держась немного сутуловато, привычным жестом поправляя очки, разговаривая с окружающими, он поспешно пробирался к кафедре. Он всходил на нее, и полная тишина водворялась

в огромной зале. Все взоры устремились на того, кого молодежь чтила не только как профессора, но и как человека. По лицу Костомарова было видно, что то, что он будет сейчас делать, для него не шутка, не ремесло, а дело его жизни, суть его души, и какая-то искра пробегала между ним и нами.

Говорил Костомаров стоя, часто облокачиваясь на кафедру. Кое-какие заметки и справки лежали перед ним, но он не прибегал к их помощи, даже цитируя тексты. Он всегда порицал профессоров, читавших по писанному: „Как я буду требовать от студентов, чтобы они знали, что я преподаю, если я сам не знаю!" — говорил он по этому поводу. Костомаров не читал, не преподавал, а просто, как в гостиной, беседовал, доказывая свой взгляд; он изъяснял слушателям генезис этого взгляда, проводил его по пути, по которому шел сам, распутывая только перед ними заплетавшие этот путь препятствия. Вам казалось, что он сам, вот сейчас, здесь перед вами убедился в том, что говорит, <...>. Он не давал готовых выводов, он исследовал с вами,— и выводы сами слагались в вашем уме и являлись как бы вашими собственными. Логично и полно жизни, талантливо и колоритно было его изложение: целые картины давно минувшего с яркостью проходили перед вашими глазами; он говорил о людях, живших столетия тому назад, как о своих близких знакомых, он становился на точку зрения их времени, говорил их языком, восстановлял связь между ними и вами» (Е. Ф. Юнге. Воспоминания. Изд. «Сфинкс», [1914], стр. 215—217).

[6] В действительности Костомаров прочел свою речь (она называлась «О значении исторических трудов К. А. Аксакова по русской истории») не 8 февраля, а несколькими днями позже (См.: Н. И. Костомаров. Автобиография, стр. 275). К тому же А. М. Скабичевский преувеличил количество собравшихся на лекцию Н. И. Костомарова: университетский актовый зал не мог вместить «многотысячной толпы».

Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

Польская студенческая корпорация

Впервые опубликовано в «Русских ведомостях», 1902, № 162 от 14 июня; № 171 от 23 июня. Печатается по книге: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. ГИХЛ, 1958, стр. 168, 169—174, 179.

[1] По данным за июнь—сентябрь 1861 г., в списках студентов-поляков, обучавшихся в Петербургском университете, значилось 460 человек. (См.: И. М. Белявская. А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX века. Изд. МГУ, 1954, стр. 55).

Среди профессоров-поляков особой популярностью пользовался *Антон Павлович Чайковский* (1816—1873), читавший до закрытия Университета в 1861 г. курс уголовного и административного права Царства Польского, а также «историческое обозрение уголовных законов Царства Польского». В 1873 г. был исключен из числа профессоров Петербургского университета вследствие изъятия польского законодательства из числа дисциплин, преподаваемых на юридическом факультете.

[2] *Щеглов Дмитрий Федорович* (ум. в 1902) — педагог, археолог и реакционный публицист.

[3] *Хорошевский Владислав Юлианович* (ум. в 1900) — в 1858—1861 гг. — студент историко-филологического факультета Петербургского университета, активный участник революционного студенческого движения начала 1860-х годов, кандидат в члены второго отделения Литературного фонда, организационно связанного с первой «Землей и волей» (см. также, стр. 278). Много сделал для укрепления польско-русской дружбы. После 1865 г. преподавал в различных гимназиях Польши и России.

[4] Т. е. до раздела Польши (в 1772, 1792, 1795 гг.) между Россией, Австрией и Пруссией. В состав «Речи Посполитой» до 1795 г. входили, помимо собственно польских земель, западные районы Белоруссии, Литвы и Курляндия.

[5] «Органический статут» 1832 г. был введен Николаем I вместо ликвидированной после разгрома польского восстания 1831 г. конституции Царства Польского, подписанной в 1815 году в соответствии с решениями Венского конгресса.

[6] *Паскевич Иван Федорович* (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, крупный помещик, один из виднейших военных представителей дворянско-крепостнической

реакции. В 1831 г. — командующий русскими войсками, подавлявшими восстание в Польше. После разгрома польского восстания — наместник Царства Польского, оголтелый русификатор. В 1849 г. командовал русскими войсками, направленными для подавления революции в Венгрии.

[7] *Горчаков Михаил Дмитриевич* (1789—1868) — князь, в 1856—1861 гг. — наместник Царства Польского.

[8] Речь идет о варшавских демонстрациях 13—15 февраля 1861 г. (в память Гороховского сражения 1831 г. между польскими повстанцами и русскими войсками) и 8 апреля 1861 г. в знак протеста против императорского указа о государственном устройстве Польши (март 1861 г.). Расстрел этих демонстраций послужил непосредственным поводом к массовым волнениям, приведшим через два года к восстанию.

[9] Это замечание Л. Ф. Пантелеева не соответствует исторической действительности. Шевченко горячо сочувствовал польскому национально-освободительному движению. В ссылке революционный поэт писал, обращаясь к своему товарищу, польскому ссыльному революционеру Брониславу Залесскому:

Отак-то, ляше, друже, брате,
Несигії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
И серде чисте подай!

(Тарас Шевченко. Полн. зібр. творів., т. VI, Київ, 1956, стор. 180).

«Вдохновенным Сигизмундом» называл Шевченко одного из своих ближайших друзей, организатора отрядов польских и литовских крестьян в восстании 1863 г. (Там же, стор. 104; ср. стр. 266—267). В свою очередь, Сераковский, обращаясь к Шевченко писал: «Наш отец вечный!» (Подробнее об этом см.: Леонид Хинкулов. Тарас Шевченко. М., 1960, стр. 204—205 и след.). Имеются доказательства горячих симпатий по отношению к Шевченко одного из руководителей польской революционной организации в Петербурге — Сигизмунда Падлевского (см.: Н. В. Гогель. Иосафат Огрызко и петербургский революционный ржонд в деле последнего мятежа. Изд. 2-е, Вильна, 1867, стр. 50). Таковы лишь некоторые из ярких проявлений братской дружбы между Шевченко и польскими революционными демократами, заслуживающими тем большего внимания, что, как писал В. И. Ленин, в 40—60-х годах XIX в. «освободительное движение в Польше приобретало гигантское первостепенное значение с точки зрения демократии не только всеславянской, не только всероссийской, но и всеевропейской» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 403).

[10] С. Н. Терпигорев вспоминал: «Шевченку отпевали или он стоял по крайней мере в церкви Академии художеств, и оттуда его вынесли, чтобы временно предать земле на Смоленском кладбище, так как почему-то, не помню, нельзя его было везти прямо в Малороссию на то место, где он был похоронен впоследствии уже. За гробом шло много студентов, почти весь университет, вся академия, все профессора и масса публики... Может быть, заслуги и значение Шевченки преувеличены были тогда, может быть, время тогда было такое, может быть, молодежь, всегда любящая собрания в толпе, собралась и не единственно ради выражения своего уважения к почившему, только все это может быть, и я не берусь судить об этом; но я свидетельствую только, что из всех похорон, какие я видел с того времени, ни одни не носили на себе отпечатка и характера той искренности и простоты, безыскусственности и неподготовленности, как эти, Шевченкины» (Воспоминания С. Н. Терпигорева. «Исторический вестник», 1896, т. LXIV, стр. 56—57).

[11] Речь Ю. В. Хорошевского над гробом Т. Г. Шевченко на польском и русском языках была напечатана в мартовской книжке «Основы» за 1861 г., стр. 9.

Воспоминания о шестидесятых годах

Впервые опубликовано в авторизованном переводе с русского на грузинский язык в журналах «Кавкасиони» («Кавказ»), 1924, № 3—4 и «Ахали Кавкасиони» («Новый Кавказ»), 1925, № 1—2. Грузинский текст несколько отличается от русского оригинала. На русском языке впервые опубликованы в журнале «Каторга и ссылка», 1927, кн. 5 (34). Печатается с сокращениями по публикации на русском языке.

Николадзе Нико Яковлевич (1843—1928) — грузинский общественный деятель, публицист, литературный критик. В 1861 г.— студент Петербургского университета, сотрудник «Современника» и «Искры», издававшейся В. С. Курочкиным. Позднее — один из лидеров грузинской либеральной буржуазии, член меньшевистского правительства в Грузии. В 1921 г.— эмигрировал. Вернулся на родину в 1924 г. и в последние годы жизни принял активное участие в социалистическом строительстве в Грузии.

[1] Первая строфа одноименного стихотворения А. К. Толстого.

[2] В сражении при Сольферино (Мантуя, Италия) 24 июня 1859 г. австрийцы потерпели поражение от соединенных войск Франции и Сардинии. Известие о поражении австрийцев было с энтузиазмом воспринято демократической общественностью, сочувствовавшей борьбе итальянского народа за воссоединение страны. (См.: М. Д. Сольферинская битва. «Инженерный журнал», 1861, № 3—5. Ср.: Н. Г. Чернышевский. «Политика» 1859 года. Полн. собр. соч., т. VI. М., 1949, стр. 275 и след.)

[3] Цитата из стихотворения Н. А. Добролюбова «Наш демон» (1859). См.: Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1939, стр. 57.

[4] Имеется в виду Алексей Федорович Орлов (1787—1862), князь, генерал-адъютант, в 1845—1862 гг. шеф жандармов, в 1856—1860 гг.— председатель Государственного совета и Комитета министров. Как записал со слов очевидца П. А. Валуев, Орлов «по временам находился в состоянии, которое можно назвать животным в полном значении слова. Он молчал, ползал на четвереньках по полу и ел из поставленной на полу чашки, как собака» (Дневник П. А. Валуева — министра внутренних дел. В двух томах. Том I. 1861—1864 гг. Редакция, введение и биографический очерк П. А. Зайончковского. М., 1961, стр. 310).

[5] Подробнее об этом см. стр. 71.

[6] *Ковалевский Евграф Петрович* (1790—1867) — геолог и этнограф; в 1858—1861 гг.— министр народного просвещения. Ковалевский подал в отставку после того, как в мае 1861 г. были утверждены, вопреки его позиции, новые правила для университетов, значительно ущемлявшие права студентов и профессуры. (Подробнее см.: Н. Н. Родзевич. Отставка Е. П. Ковалевского. «Исторический вестник», 1905, № 1).

[7] *Путятин Ефимий Васильевич* (1803—1883 гг.) — адмирал. С 20 июня по 25 декабря 1861 — министр народного просвещения, выдвинутый на этот пост группой известных реакционеров: С. Т. Строгановым, В. И. Паниным, В. А. Долгоруким.

Филипсон Григорий Иванович (1809—1883) — генерал от инфантерии. В кавказской армии служил с 1835 по 1861 год, когда занял место И. Д. Делянова на посту попечителя Петербургского учебного округа. Грибоедовский «фельдфебель в Вольтерах». Вышел в отставку в начале 1862 г.

[8] «Горбунову пришла счастливая мысль,— вспоминал А. Ф. Кони,— дать живое изображение человека этого времени, окаменевшего в своем миросозерцании, прочно остановившегося в своих, наполовину бессознательных взглядах и чувствах, окруженного со всех сторон изменившейся действительностью, на шум и брызги которой ему невольно приходится отзываться по-своему. <...> Постепенно создался образ, разработанный с особой любовью, с тончайшею наблюдательностью...— образ генерала Дитятина — отставного николаевского служаки.— А. Ф. Кони. Иван Федорович Горбунов. В кн.: И. Ф. Горбунов. Соч., т. III. СПб., 1907, стр. 233—234 (ср.: И. Ф. Горбунов. «Генерал Дитятин». Соч., т. II. СПб., 1904).

[9] Рассказа (или какого-либо иного сочинения) под названием «Конфуз» у М. Е. Салтыкова-Щедрина нет. Вероятно, имеется в виду обращение «К читателю»

(1862), предпосланное «Сатирам в прозе», где он писал: «... Мы вступаем, так сказать, в эпоху конфуза. Я не могу сообщить положительных сведений насчет того, каким образом и откуда занесено к нам это новое в русской жизни явление. Известно, что мы прежде не только совсем никогда не конфузились, но, напротив того, с самою любезною откровенностью приступали ко всякого рода задачам. Знаменитая русская поговорка: „Тяп да ляп — и карабь" столь долго служила основанием нашей общественной и политической деятельности, что нынешний конфуз составляет явление, несомненно, новое и невольно обращающее на себя внимание. Вот все, что можно сказать положительного насчет происхождения конфуза. ...Мне, например, всегда казалось, что истинным насадителем конфуза был почтенный наш писатель И. С. Тургенев, который еще в сороковых годах предрекал его своими Рудиными и Гамлетами Щигровского уезда, но, с другой стороны, некоторые достойные полного вероятия помещики положительно и даже под оболочкою тайны (известно, что секретные сведения всегда вернее несекретных) удостоверяют, что первый, бросивший семена стыдливости в сердца россиян, был император французов, Людовик Наполеон». Наш конфуз,— продолжает Щедрин,— временный и означает только неумение: «мы конфузимся и в то же время помышляем: „ах, как бы я тебя жамкнул, кабы только умел"» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Соч., т. 3. Л., ГИХЛ, 1934, стр. 44—47).

[10] *Чавчавадзе Илья* (1837—1907) — великий грузинский писатель, мыслитель, революционный демократ, вождь национально-освободительного движения в Грузии второй половины XIX в., основоположник критического реализма в грузинской литературе. В течение четырех лет (1857—1861) учился в Петербургском университете. Был связан с Чернышевским, Добролюбовым, Шелгуновым. Сыграл большую роль в деле укрепления дружбы русского и грузинского народов. Убит царской охранкой в 1907 г.

«Четыре года прожил я в России и не видел родины,— писал Илья Чавчавадзе в повести „Записки проезжего" (1861),— четыре года! Поймешь ли ты, читатель, какими четырьмя годами были эти четыре года? Во-первых, они — целая вечность для того, кто провел их вдали от своей страны. Во-вторых, эти четыре года были фундаментом жизни, первоисточником жизни, волоском, который судьба, точно мост, перекинула между светом и тьмою. Но не для всякого! Только для тех, кто поехал в Россию, чтобы образовать свой ум, привести в движение мозг и сердце, дать им толчок. Это те четыре года, когда в уме и в сердце юноши завязывается завязь жизни. Это та самая завязь, из которой, быть может, разовьется прекрасная, рдеющая виноградная кисть, а может быть и пустоцвет. О вы, золотые мои четыре года! Благо тому, под чьею ногою не надломится перекинутый вами мостик; благо тому, кто плодотворно использовал вас...» (Цит. по кн.: Деятели грузинской культуры в России. Составил В. К. Имедадзе. Тбилиси, 1958, стр. 37). Перу Ильи Чавчавадзе принадлежит написанная в 1860 г. в Павловске «Песня грузинских студентов»:

Мать, воспитывая сына,
Нас в пример пускай берет,
Ибо мы — семья едина,
Возлюбившая народ.
    В поздний час мы пляшем смело
    И веселье нам к лицу,
    В час труда, в минуту дела
    Не уступим мудрецу.
Не игрушка мы вельможам,
Гнет студенту нетерпим,
В горе слабому поможем,
Справедливого почтим.
    Мы, шагая по дороге,
    Вечно движемся вперед,
    Снова ставим мы на ноги
    Тех, кто сзади упадет.
Нет у нас иных стремлений,
Лишь бы вечно нам идти,
Чтоб для новых поколений
Стать тропинкой на пути.

Дети юные отчизны,
Мы мечтаем день и ночь,
Чтоб во имя светлой жизни
Нашей родине помочь.
Молодое братство наше
Держит первенство свое,
В день, когда страна прикажет,—
Встанет грудью за нее.
Ибо мы— семья едина,
Возлюбившая народ.
Мать, воспитывая сына,
Нас в пример пускай берет!

Перевод Н. Заболоцкого. Перепеч. из кн.: Илья Чавчавадзе. Избранные сочинения, т. I. Тбилиси, 1957, стр. 49—50.

11 *Редкин Петр Григорьевич* (1808—1891) — профессор Петербургского университета (1859—1878) по кафедре энциклопедии права; умеренный либерал.

Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — историк и искусствовед. В 1861—1862 гг.— профессор Петербургского университета. В 1862—1869 гг. находился в ссылке (Ветлуга, затем Кострома), а с 1875 г.— профессор Киевского университета. См. также стр. 102—103, 105, 274.

12 Столярный пер.— ныне ул. Пржевальского; Мещанская ул.— ныне Гражданская ул.

13 «Перемены», которые Николадзе называет «ожидавшимися», в действительности к началу учебного года уже свершились. Еще в мае 1861 г. были утверждены новые правила для студентов, отменявшие форменную одежду, запрещавшие самодеятельные студенческие организации и резко ограничившие число студентов, освобождаемых от платы за обучение. Таким образом правительство Александра II сохранило верность зловещей николаевской заповеди — преградить доступ в университет «молодым людям, отчасти рожденным в низших слоях общества, для которых высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя из круга первобытного состояния, без выгоды для них и для государства». Пункт 9-й майских правил 1861 г. предписывал освобождать от платы за учение только по два студента от каждой из губерний, образовавших учебный округ. О том, какой силы удар был нанесен этим по демократическому студенчеству, свидетельствует факт, что в 1861 г. в Петербургском университете могло быть освобождено от платы за учение только 12 человек, между тем как в 1859 г. из 1019 студентов Университета плату смогли внести только 360 человек (см.: А. А. Шилов. Примечания к кн.: Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.—Пг., 1923, стр. 216).

В июле 1861 г. новым распоряжением Е. В. Путятина были введены «матрикулы» (т. е. особые книжки, содержавшие новые университетские правила, служившие удостоверением личности и «видом» на жительство); предусматривалось отчисление из Университета студентов, не сдавших переходных экзаменов, отменялись выборные начала в студенческих организациях, а студенческая библиотека и даже касса отныне становились подотчетными университетскому начальству. «Правительство,— отметил Н. Г. Сладкевич,— явно неудачно выбрало время для введения в действие новых университетских правил: в самый разгар общественного возбуждения, вызванного положением 19 февраля» (Н. Г. Сладкевич. Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х годов XIX в. Вестник ЛГУ, 1947, № 8, стр. 109—110).

14 «Студенты были очень любезны с дамами,— свидетельствует Е. Ф. Юнге, посещавшая университетские лекции в 1861/62 учебном году.— В большой, битком набитой актовой зале ... нам всегда сохраняли лучшие места. С незнакомыми раньше молодыми людьми мы встречались как с братьями» (Е. Ф. Юнге. Воспоминания. Изд. «Сфинкс», [1914], стр. 216).

15 Неточно. Лекции начались 18 сентября.

16 Искаженная строфа стихотворения А. С. Пушкина «Полководец» (1835): «И вечной памятью двенадцатого года...». О Савельиче дружно вспоминают почти

все мемуаристы, касавшиеся университетской жизни первой половины XIX века. См., напр.: А. В. Никитенко. Дневник. В трех томах, т. II. М., 1955, стр. 232, 332; Н. М. Комлаков. Очерки и воспоминания с 1816 г. «Русская старина», 1891, май, стр. 451.

М. И. Венюков, рассказывая в своих воспоминаниях о «некотором негодовании», с которым «Савельич относится к сановному куратору (речь идет о Мусине-Пушкине.— *Сост.*).., нисколько его не скрывая от студентов и называя некоторые распоряжения „генерала" начальственною „блажью", иногда даже „дурью", — прибавил: — А нравственный авторитет Савельича в Университете был очень велик, я думаю, не меньше, чем * (вероятно, Плетнева.— *Сост.*), о котором только говорили, что он был другом Пушкина и Жуковского, а под старость совсем обезличился». См.: Воспоминания М. И. Венюкова. «Русская старина», 1891, январь, стр. 131. Когда Савельич умер, студенты издали его портрет в отлично исполненной литографии.

[17] Прокламация «К молодому поколению» была написана зимой 1861 г. Н. В. Шелгуновым. Отпечатанная в количестве 600 экземпляров в лондонской типографии Герцена, прокламация была привезена Михайловым в Петербург в первой половине октября 1861 г. и при участии автора, Л. П. Шелгуновой, Е. П. Михаэлиса, А. А. Серно-Соловьевича распространена в столице и в провинции.

Прокламация формулировала революционно-демократическую программу преобразования России (замену самодержавия выборной и ограниченной властью, национализацию земли, равенство всех граждан перед законом, свободу слова, установление открытого сословного суда, замену существовавшей армии ополчением по губерниям и т. д.). Предвидя неизбежность «общего восстания», Шелгунов призывал передовую молодежь объединиться вокруг «народной партии», т. е. «партии» Чернышевского, и возглавить крестьянскую революцию. «Готовьтесь сами к этой роли, которую придется играть,— писал Шелгунов,— зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей. Ищите вожаков, готовых и способных на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря» (Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.— Пг., 1923, стр. 298).

[18] *Неклюдов Николай Адрианович* (1840—1896), в 1857—1861 гг.— студент Петербургского университета, в 1860-х годах — издатель; впоследствии — обер-прокурор Сената, товарищ министра внутренних дел.

Как писал впоследствии П. Боборыкин, Неклюдов проделал эволюцию «из архикрасного в белоснежного государственника и обличителя крамолы» (П. Боборыкин. За полвека. М., 1929, стр. 125).

[19] Эпиграфом к прокламации были взяты написанные в 1824 г. стихи Рылеева «Я ль буду в роковое время...» (этими же стихами открывался и выпущенный в 1869 г. первый номер «Народной расправы» С. Нечаева). Любопытно, что в списке М. А. Бестужева, по которому стихотворение было впервые опубликовано полностью («Полярная звезда на 1861 г.», № VI, стр. 24—25), оно имело отсутствующее в оригинале название «К молодому русскому поколению» («Литературное наследство», т. 59. М., 1954, стр. 92).

[20] Сходка, о которой идет речь, состоялась 23 сентября 1861 г., в день распространения в Университете прокламации, призвавшей студентов «поднять перчатку, брошенную правительством». См.: Сергей Гессен. Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 1932, стр. 129—132.

[21] *Утин Николай Исаакович* (1840—1883) — революционный демократ; в 1857—1861 гг.— студент Петербургского университета, член «Земли и воли» 1860-х годов.

Утин Борис Исаакович (1832—1872) — либерал, юрист; в 1859—1861 гг. занимал кафедру «Сравнительной истории положительных законодательств» Петербургского университета, вышел в отставку после разгрома студенческого движения; с 1861 г.— адвокат.

[22] *Дурново Иван Николаевич* (1830—1903) — министр внутренних дел в 1889—1895 гг., реакционер.

Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — крупный представитель реакционной бюрократии; министр внутренних дел в 1895—1899 гг., председатель Совета Министров в 1906 и 1914—1916 гг.

[23] По более достоверным данным, в шествии на Колокольную улицу приняли участие до 900 студентов (А. А. Шилов. Примечания к кн.: Н. В. Шелгунов. Воспоминания, стр. 216).

[24] Ныне ул. Марата.

[25] Депутатами были выбраны студенты Николай Утин (юридический факультет), Евгений Михаэлис (филологический факультет), Филистер Орлов (вольнослушатель), Константин Ген (юрист), Михаил Постовский (естественник), Платон Стефанович (физ.-мат. факультет) и др.

[26] В статье «Исполин просыпается!» («Колокол», 1861, 22 октября) Герцен поставил один из самых жгучих вопросов, вставших перед студентами закрытого Университета: «Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?... Сказать вам куда?» Знаменитый ответ Герцена, прозвучавший на всю Россию, стал программой деятельности демократической молодежи на протяжении двух последующих десятилетий·

«Прислушайтесь — благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра, растет стон, поднимается ропот — это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В народ! к народу! — вот ваше место, изгнанники науки, покажите..., что из вас выйдут не *подьячие,* а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского!

Хвала вам! Вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальних намеков, запрещенных книг проходит. Вы *тайно* еще печатаете дома, но *явно* протестуете. Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнее благословенье! О, если б вы знали, как билось сердце, как слезы готовы были литься, когда мы читали *о студентском дне в Петербурге!*» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XV. М., 1958, стр. 175).

[27] *Лавров Петр Лаврович* (1823—1900) — революционный народник, философ, публицист, социолог, математик, активный участник демократического движения.

[28] Этой точки зрения придерживался и Герцен. «Итак, университет закрыт!— писал он в „Колоколе".— Правительство — против просвещения и свободы и *не умеет уступить во время.* Мы пророчили ему *падение* во второй срок переходного положения; кажется, мы ошиблись — *оно будет гораздо прежде»* (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XV, стр. 165).

[29] «Общество приходило в восторг от студентов,— писала Елена Штакеншнейдер, дочь известного петербургского архитектора, в доме которого на Миллионной (ныне ул. Халтурина) постоянно собирались общественные деятели, писатели, художники столицы,— бранили правительство, говорили много о просыпающейся жизни, о шаге вперед» (Е. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). Редакция, вступ. статья, комментарии Н. Н. Розанова. М., 1934, стр. 298).

[30] В ночь на 26 сентября 1861 г. по распоряжению правительственного совета, учрежденного на время отсутствия в столице Александра II под председательством вел. кн. Михаила Николаевича, были арестованы не только члены студенческой депутации, но и ряд других студентов, всего 28 человек.

[31] 2 октября 1861 г. Путятин «испрашивал» у царя разрешения «окончательно закрыть Университет» на «случай новых беспорядков». Из Ливадии ответили: «Государь разрешает, в случае новых беспорядков, закрыть Университет окончательно» (Цит. по: Н. Г. Сладкевич. Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х годов XIX в. Вестник ЛГУ, 1947, № 8, стр. 115).

[32] См.: «Колокол», 1861, № 144.

[33] В одну из осенних ночей 1861 г. на стене Петропавловской крепости появилась надпись: «Петербургский университет» (цит. по: С. А. Щукарев. Д. И. Менделеев и Ленинградский университет. Вестник ЛГУ, 1947, № 6 стр. 153).

[34] О принадлежности этого стихотворения И. А. Рождественскому, как свидетельствовала редакция «Каторги и ссылки», впервые опубликовавшая мемуары Н. Я. Николадзе, автор знал от самого Рождественского. Приводимый мемуаристом по памяти текст стихотворения «Узнику» несколько отличается от подлинника. Ср. 3 и 4 строфы. В подлиннике:

Пусть облегчит в час злобной воли
Тебя он, наш родной поэт!
(См.: М. Л. Михайлов. Соч. в трех томах, т. 1. М., 1958, стр. 548).

[35] М. Л. Михайлов ответил студентам Петербургского университета следующим стихотворением, немедленно превратившимся в одну из самых популярных революционных студенческих песен:

Крепко, дружно вас в объятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды и проклятья
С вами, братья, разделил.
Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В тьму и холод рудника.
Но и там, назло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.
В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать.
И души одно желанье,
Как молитву повторять:
Будь борьба успешней ваша,
Встреть в бою победа нас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.
(М. Л. Михайлов. Соч., т. 1, стр. 87—88.)

[36] К стихотворному ответу Михайлов приписал: «Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится мне отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь» (там же, стр. 668).

[37] Цитируемая песня (подлинное название: «Севастопольская песня „Как восьмого сентября"»), по свидетельству самого Л. Н. Толстого, является плодом коллективного творчества (см.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 4, М.—Л., 1932, стр. 424—430). 8 сентября 1854 г. произошло сражение у р. Альмы, закончившееся поражением русских войск, отступивших к Севастополю.

[38] Одну из таких фотографий см. на стр. 100.

[39] Стихотворение Н. П. Огарева «Свобода 1858 года» впервые было опубликовано в «Полярной звезде на 1858 год» (стр. 324—325). Положенное на музыку, оно стало одной из наиболее распространенных революционных песен второй половины XIX века.

[40] Н. А. Добролюбов умер 17 ноября 1861 г.

[41] Речь идет о цикле «Неаполитанских стихотворений» Добролюбова, написанных от лица «австрийского поэта Якова Хама», опубликованных в шестой книжке «Свистка» (см.: Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч. в шести томах, т. 6. М., 1939, стр. 170—180). Блестящий цикл «Неаполитанских стихотворений» представлял собрание убийственных пародий на монархические, военно-шовинистические стихи (преимущественно А. Н. Майкова и А. С. Хомякова; фамилия последнего и разъясняет тайнопись добролюбовского псевдонима: Хам Яков — Хомяков).

[42] Н. Я. Николадзе ошибается. Председательствовал в комиссии Ф. Я. Волянский. И. Е. Андреевский был членом комиссии от университета.

[43] *Головнин Александр Васильевич* (1826—1886). В 1861—1866 гг.— министр народного просвещения, ставленник вел. кн. Константина Николаевича; пытался осуществлять «либеральную» политику, будучи на деле беспринципным интриганом и карьеристом.

Валуев Петр Александрович (1814—1890) — министр внутренних дел в 1861—1868 гг.

Сухозанет Николай Онуфриевич (1794—1871) — генерал-адъютант, приближенный Николая I, с 1832 г.— директор военной академии и управляющий главным инженерным училищем, с 1856 по 1861 гг.— военный министр.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — военный министр в 1861—1881 гг., военный историк.

44 Большая Морская ул.— ныне ул. Гоголя.

45 Эти сведения не вполне точны. По официальным данным распределение было следующее: в первую группу попали студент М. Покровский и вольнослушатель Ф. Орлов, высланные первый в Архангельскую, второй в Пермскую губернии. Во вторую группу вошли студенты: Е. Михаэлис, К. Ген, А. Герике, А. Френкель и М. Новоселицкий, исключенные из Университета и высланные в разные уездные города. В третью — 32 студента четвертого курса, исключенные из Университета с отдачей на поруки родителям, а в случае отсутствия поручителей, предназначенные к ссылке в уездные города Вятской, Вологодской и Олонецкой губерний. Наконец, в четвертую группу были включены 192 студента младших курсов, которым «даровано» «всемилостивейшее» прощение и «дозволено» в двухнедельный срок принять матрикулы или возвратиться на родину. В Петербурге из них могли остаться только имеющие в нем недвижимую собственность, родителей или близких родственников.

46 «Колокол», 1861, 1 ноября, № 110. Подписано: Искандер. Ср.: А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. XV, стр. 173—175.

47 Первый номер нелегальной печатной прокламации под названием «Великорусс» вышел 30 июня 1861 г. 7 сентября и 20 октября появились соответственно второй и третий номера этой прокламации. Группа «Великорусс» выдвинула следующие основные требования: введение конституции, освобождение крестьян с землей без выкупа, безусловное освобождение Польши, право Украины «располагать своею судьбою по собственной воле». Состав комитета, руководившего тайной революционной организацией «Великорусс», окончательно не выяснен. Наиболее вероятно, что в нем участвовали Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. и В. А. Обручевы, А. А. Слепцов, В. Ф. и С. Ф. Лугинины, Н. А. Добролюбов, М. А. Антонович, П. И. Боков. Определенная связь существовала между группой «Великорусс» и Н. Г. Чернышевским. См.: Н. Новикова. Н. Г. Чернышевский и комитет «Великорусса». В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960, стр. 299—326.

48 *Церетели Акакий Ростомович* (1840—1915) — выдающийся грузинский поэт, один из основоположников новой грузинской литературы, один из виднейших представителей национально-освободительного движения грузинского народа. В 1859—1862 гг.— студент Петербургского университета.

49 С 20 мая 1861 г. по 7 июня 1862 г. Чернышевский жил по адресу: Большая Московская ул., д. № 6, кв. 4. См.: С. А. Рейсер. Революционные демократы в Петербурге. Лениздат, 1957, стр. 164.

50 Эти сведения о позиции М. Л. Михайлова, в свое время проникнувшие в «Колокол» (1862, 1 мая, л. 131), не соответствуют, однако, действительности. С некоторыми оговорками Михайлов признал факт составления и распространения прокламации, но обвинительной речи перед сенатом не произносил.

51 *Антонович Максим Александрович* (1835—1907) — в первой половине 60-х годов боевой демократ, публицист и литературный критик некрасовского «Современника», после 1866 г. — либерал.

52 По агентурным донесениям, Чернышевский «велел допускать к нему ежедневно не всех, а принимать во всякое время только ниже поименованных лиц: Некрасов, Панаев, Антонович, Огрызко, Добролюбов, Кожанчиков, Елисеев, Городков, Пекарский, Серно-Соловьевич, Воронов, Боков(?). Для остальных Чернышевский назначил среду до трех часов, и в этот день у него бывает чрезвычайно много посетителей, не исключая офицеров». По тем же данным, в период между 14 и 31 декабря 1861 г. Чернышевского посетил профессор Университета В. Д. Спасович (См.: Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Чернышевского. М., 1953, стр. 225—231).

53 25 апреля вождь восстания польских и литовских крестьян С. Сераковский был в бою у м. Биржи (Литва) тяжело ранен (пуля прошла через спинной хребет), 27 апреля — арестован, а 15 июня 1863 г. — казнен (см.: А. Смирнов. Сигизмунд Сераковский. М., 1959, стр. 110—115). «Не думал я,— писал в некрологе Герцен,—

что передо мной будущий мученик, что люди, для избавления которых от палок и унижения он положил полжизни (Сераковский активно выступал против телесных наказаний в армии.— *Сост.*), своими руками его раненого, не стоящего на ногах, вздернут на веревке и задушат „не как военнопленного — что великодушно заметил ему конвоировавший его офицер — а как разбойника!" У кого правильно поставлено сердце, тот поймет, что Сераковскому не было выбора, что он должен был идти со своими... И такая казнь!» («Колокол», 1863, № 168. Ср. Собр. соч., т. XVI, стр. 408).

54 *Серно-Соловьевич Николай Александрович* (1834—1868) — революционный демократ, член «Земли и воли» 1860-х годов, сотрудник «Колокола»; по обвинению в связи с «лондонскими пропагандистами» Герценым и Огаревым арестован 7 июля 1862 г. и сослан в Сибирь.

55 Открытый Н. А. Серно-Соловьевичем книжный магазин был одним из важных центров революционной организации «Земля и воля» (см. стр. 95—98, 272—273). Книжная торговля открывала широкие возможности для революционной пропаганды, помогала создавать опорные пункты революционной организации на периферии, служила удобным прикрытием нелегальной деятельности. Одновременно Серно-Соловьевич открыл библиотеку с читальней, которая быстро приобрела широкую популярность у демократического читателя. Книготорговая, библиотечная деятельность Серно-Соловьевича направлялась Чернышевским (См.: В. И. Романенко. Мировоззрение Н. А. Серно-Соловьевича. М., 1954, стр. 48—49).

56 См. стр. 272.

57 И. А. Пиотровский застрелился 18 марта 1862 г. на двадцать первом году жизни. Непосредственным толчком к самоубийству послужили материальные затруднения. См.: Корней Чуковский. Комментарии к кн.: А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., 1948, стр. 282—283.

58 Н. Э. Аргиропуло основал кружок, объединивший наиболее революционно настроенных студентов Московского университета. Членами этого кружка была выпущена знаменитая прокламация «Молодая Россия», автором которой был П. Г. Заичневский. Кружковцы выпустили литографским способом произведения декабристов, Огарева, Фейербаха, Ф. Энгельса («Что такое государство?» и др.). Заичневский и Аргиропуло были арестованы в июне 1861 г. (см.: Б. П. Козьмин. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия». М., 1930). В другой работе — «К истории „Молодой России"» («Каторга и ссылка», 1930, кн 5 (66), стр. 68).— Б. П. Козьмин отрицал возможность встречи Николадзе с Заичневским и Аргиропуло, «так как еще летом 1861 г. они были арестованы; а Николадзе приехал в Университет для поступления осенью 1861 г.». Однако достоверность утверждения Николадзе подтверждает и тот факт, что он в действительности приехал в Петербург не «осенью», а весной 1861 г. См. «Каторга и ссылка», 1927, кн. 4 (33), стр. 32.

К. А. ТИМИРЯЗЕВ

* Студенты-забастовщики

Впервые напечатано в «Русских ведомостях» (1905, № 252)
под названием «На пороге обновленного университета».
Печатается по книге: К. А. Тимирязев. Соч., т. IX. М.,
Сельхозгиз, 1939, стр. 45—47.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — великий русский ученый-революционер, ботаник и физиолог, крупнейший популяризатор науки. Действительный член Социалистической (Коммунистической) академии, депутат Московского Совета (1920). В. И. Ленин в ответ на посланную ему К. А. Тимирязевым книгу «Наука и демократия», в которую вошел и комментируемый текст, прислал ученому письмо с благодарностью и с высокой оценкой книги (В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 380).

1 К. А. Тимирязев поступил в Петербургский университет в 1861 г. Спустя несколько месяцев после поступления он покинул Университет из протеста против введения матрикул, подчинявших студентов полицейскому режиму. Однако, используя ограниченные права вольного слушателя Университета, К. А. Тимирязев блестяще окончил в 1866 г. естественное отделение физико-математического факультета, полу-

чив ученую степень кандидата и золотую медаль (за работу «О печеночных мхах»). В Петербургском университете Тимирязев защитил докторскую диссертацию на тему «Об усвоении света растением» (1875).

[2] Подробнее о Д. И. Менделееве см. стр. 131—155, 280—284.

[3] Подробнее об А. Н. Бекетове см. стр. 125—130, 280—281.

[4] *Соколов Николай Николаевич* (1826—1877) — выдающийся русский химик и минералог, окончил Петербургский университет (1842). Им был основан первый в России «Химический журнал» (1859—1860).

Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

„Земля и воля"

Впервые опубликовано под названием «Дела давно минувших дней» в «Новой жизни» (1904, № 5, от 10 ноября; № 8 от 17 ноября).
Печатается по книге: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания.
Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. А. Рейсера.
М., ГИХЛ, 1958, стр. 288—292.

[1] «Земля и воля»— широкая революционно-демократическая организация 1860-х годов, задуманная «как организация революционеров и народа» (М. В. Нечкина. Возникновение первой «Земли и воли». В кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1960, стр. 297) для руководства предполагавшимся в 1863 г. всероссийским крестьянским восстанием. Основана по инициативе Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. и А. Серно-Соловьевичей, Н. Н. Обручева и А. А. Слепцова. Возникла в мае 1861 г. Прекратила свое существование к исходу 1863 г. Название организации навеяно статьей А. И. Герцена «Что нужно народу» («Колокол», № 102, от 19 июня 1862 г.): «очень просто, народу нужна земля да воля». Объединившая несколько столичных и провинциальных революционных кружков (Петербурга, Москвы, Казани, Саратова, Твери, Нижнего Новгорода, Перми, Вологды, Вятки и др.), первая «Земля и воля» ставила целью с помощью крестьянского восстания уничтожить «императорское самодержавие» и крепостническое состояние. Подробнее о «Земле и воле» 1860-х годов см.: «Литературное наследство», т. 61, 1953, стр. 459—523; М. В. Нечкина. «Земля и воля» 1860-х годов (по следственным материалам). «История СССР», 1957, № 1, стр. 105—134; Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60-е—70-е годы XIX века. М., 1959, стр. 196—235.

[2] Л. Ф. Пантелеев был привлечен к участию в «Земле и воле» одним из создателей организации А. А. Слепцовым (см. стр. 268—269) в первой половине 1862 г. Работая в составе «пятерки Н. Утина», Пантелеев, в свою очередь, привлек к революционной деятельности не менее двадцати человек. Принимал активное участие в организации подпольных типографий, писании и распространении прокламаций, сборе материальных средств и т. д. Был известен Н. Г. Чернышевскому, А. И. Герцену, Н. П. Огареву. За «принадлежность к С.-Петербургской революционной организации с целью возбуждения и поддержания польского мятежа» 11 декабря 1864 г. был арестован. В литературе высказывалось мнение о причастности Пантелеева к предательству И. Глассона, выдавшего правительству казанскую организацию «Земли и воли» (см., напр.: М. В. Нечкина. «Земля и воля» 1860-х годов (по следственным материалам). «История СССР», 1957, № 1, стр. 128; Юзеф Ковальский в кн.: «Русская революционная демократия и январское восстание 1863 года в Польше». М., 1953, стр. 279). Недостаточная обоснованность этого предположения вполне, по нашему мнению, доказана С. А. Рейсером (см. «Примечания» к кн.: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. ГИХЛ, 1958, стр. 769—773).

[3] *Михаэлис Евгений Петрович* (1843—1913) — студент Петербургского университета (1857—1861), активный участник студенческого движения, участвовал в распространении прокламации «К молодому поколению»; в декабре 1861 г. выслан из Петербурга. Позднее — видный революционер-народник.

[4] *Слепцов Александр Александрович* (1835—1905) — революционный демократ, член центрального комитета первой «Земли и воли», организатор ряда местных рево-

люционных комитетов. Автор листовки «Льется польская кровь, льется русская кровь» (1863). Во второй половине 1860-х годов и позднее — умеренный либерал.

[5] *Рымаренко Сергей* (ок. 1839—1870) — видный землеволец, близкий Н. Г. Чернышевскому

Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

„Вольный университет“

Впервые напечатано в «Русских ведомостях», 1902, 2 сентября, № 266. Печатается по книге: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. Вступ. статья, подготовка текста и примечания С. А. Рейсера. М., ГИХЛ, 1958, стр. 258—270.

[1] См. стр. 82—89, 268—270.

[2] *Ламанский Сергей Иванович* (1841—1900) — физик, физиолог, переводчик. В 1858—1862 гг. — студент Петербургского университета.

Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893) — студент Петербургского университета (1858—1861), впоследствии публицист либерально-народнического направления, редактор-издатель «Недели».

[3] Следствие по делу о беспорядках осуществляли две комиссии: петербургская (в которой депутатом от университета был А. В. Никитенко) и кронштадтская (в которой университет представлял юрист, проф. И. Е. Андреевский).

[4] *Герд Александр Яковлевич* (1841—1888), студент Петербургского университета, впоследствии натуралист, педагог, популяризатор Дарвина, переводчик.

Фан-дер-Флит Петр Петрович (1839—1904) — студент Петербургского университета (1857—1862). С 1885 г. — профессор физики в Петербургском университете.

Печаткин Евгений Петрович (1838—1918) — студент Петербургского университета, впоследствии издатель.

Моравский Петр Фаддеевич (ок. 1832—1919) — студент Петербургского университета, впоследствии землеволец.

[5] *Суворов Александр Аркадьевич* (1804—1882), князь, состоял петербургским военным генерал-губернатором с 18 октября 1861 по 4 апреля 1866 г., когда был смещен в связи с покушением Каракозова на Александра II.

[6] В статье «Из истории первых лет существования литературного фонда» Л. Ф. Пантелеев приводит следующие данные о бюджете комитета: «С 14 октября по 29 апреля 1862 г. он имел в приходе 15 886 р. (из них около 3 тыс. рублей с 14 октября до переформирования кружка); в расходе: на единовременные пособия... 12 410 р., на снабжение одеждой 169 лиц — 2767 р., итого расход составил 15 177 р.» (см.: Юбилейный сборник Литературного фонда. 1809—1909. СПб., [1910], стр. 25).

[7] В чтении публичных лекций в залах городской думы и училища Св. Петра в период закрытия Университета участие приняли: Сеченов (физиология животных), Бекетов (морфология растений), Фаминцын (физиология растений), Соколов (органическая химия), Советов (агрономия), Ивановский (международное право), Калиновский (финансовое право), Андреевский (полицейское право и история философии права), Спасович (уголовное право), Кавелин (гражданское право), Лохвицкий (энциклопедия законоведения), Костомаров (русская история), Стасюлевич (средняя история), Б. Утин (английские учреждения), Гадолин (физика), Менделеев (химия), Пузыревский (геогнозия), Штейнман (греческая этимология и софокловы трагедии), Благовещенский (сатиры Персия), Горлов (политическая экономия), а всего 20 лекторв. «Немудрено,— отмечает С. А. Рейсер, — что такой состав заставлял правительство настороженно ждать ближайшего предлога для закрытия лекций». См.: С. А. Рейсер. Примечания к кн.: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 737.

[8] По вопросу о проекте «Вольного университета» в «С.-Петербургских ведомостях» в 1861 г. выступили, помимо Костомарова (№№ 234, 258, 261, 262, 275, 281) и Стасюлевича (№ 255), Барсов (№ 245), Воронов [«Педагог»] (№№ 257, 272), Лебедев (№ 255), Бекетов (№ 256), Никитенко (№ 265) и др.

[9] *Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907) — реакционный государственный деятель, в 1880—1905 гг. — обер-прокурор Синода, один из главных вдохновите-

лей разнузданной крепостнической реакции в царствование Александра III. Можно предположить, что приглашение К. П. Победоносцева к чтению лекций преследовало тактическую цель успокоения правительства относительно подлинного характера «Вольного университета».

10 *Берви* (псевдоним — *Флеровский) Василий Васильевич* (1829—1918) — русский экономист и социолог, просветитель-демократ, один из видных представителей русского утопического социализма. Главный его труд — «Положение рабочего класса в России» (1869), был высоко оценен К. Марксом и Ф. Энгельсом.

11 «К. П». — Константин Петрович, т. е. Победоносцев.

12 Арест В. В. Берви был вызван его публичным протестом против заключения в Петропавловскую крепость (осенью 1861 г.) тверских мировых посредников, заявивших губернскому присутствию по крестьянским делам о невозможности применения «Положений» 19 февраля. См.: О. В. Аптекман. В. В. Берви-Флеровский. Л., 1935, стр. 35.

13 Эта оптимистическая оценка не учитывает, что с самого начала публичные лекции в так называемом «вольном университете» оказались под постоянным контролем III отделения, агенты которого с особенным осуждением оценивали выступления Н. И. Костомарова. Отзываясь, например, о лекции «Характеристика единодержавия в XVI в.», читанной 6 февраля 1862 г., агент III отделения писал: «жалею, что профессор дал драгоценному для всех русских слову государь значение, его недостойное, язвительное и, думаю, неверное» (П. А. Зайончковский. Комментарии к кн.: «Дневник П. А. Валуева...», т. I. М., 1961, стр. 376—377. Ср.: М. К. Лемке. Дело о «публичных лекциях» в 1860-х годах (по неопубликованным документам). Материалы к теории русской общественности. Оттиск из «Историко-литературного сборника», посв. Ященко Г. О. и И. И. Срезневскому (1891—1916). СПб., 1904, стр. 35—46).

14 «В начале марта (2 марта. — *Сост.*) состоялся в обширном зале Руадзе, на Мойке, литературный вечер в пользу литературного фонда, с участием почти всех видных литераторов и ученых, — вспоминал Н. Николадзе. — Между прочим, выступал тут впервые перед публикой Чернышевский с воспоминаниями о Добролюбове... Читал свою статью, напечатанную в академическом „календаре" на тот год, „Тысячелетие России", наш профессор новой истории П. Вас. Павлов, незадолго перед тем переведенный к нам из Киевского университета. В конце своего чтения профессор сказал несколько теплых слов, выражавших надежду на обновление наших порядков и учреждений. Публика, в тот вечер вообще возбужденная и безразлично всем неистово аплодировавшая, наградила его горячими рукоплесканиями и без счета раз вызывала на эстраду. И чем чаще появлялся он перед публикой, тем крики „браво" становились громче. Громадный зал гремел и дрожал от вызовов» (Н. Я. Николадзе. Воспоминания о шестидесятых годах. «Каторга и ссылка», 1927, кн. 5 [34], стр. 33). Небезынтересные сведения сообщает об этом выступлении П. В. Павлова и Костомаров: «Профессор несколько раз был останавливаем и прерываем рукоплесканиями, более на таких местах, которые могли иметь либеральный смысл... По окончании чтения, когда Павлова стали вызывать, он произнес текст из евангелия: „имеющие уши слышати, да слышат". Это до чрезвычайности понравилось публике: его наградили самыми бешеными рукоплесканиями, которые побудили его в другой раз повторить то же изречение. На другой же день мы все узнали, что Павлов арестован и ссылается» (Н. И. Костомаров. Автобиография. М., 1922, стр. 298). Следовательно, профессор Павлов был сослан за произнесение речи (прошедшей, кстати сказать, через цензуру), прозвучавшей оппозиционно только благодаря интонационному подчеркиванию оратором отдельных фраз и слов (см.: М. К. Лемке. Дело профессора Павлова. «Очерки освободительного движения 60-х гг.» СПб., 1908, стр. 17—19).

15 *Бокль Генри Томас* (1821—1862) — английский либерально-буржуазный историк и социолог-позитивист, автор «Истории цивилизации в Англии» (1857—1861).

16 Костомаров вспоминал: «Несколько профессоров составили адрес и подали его министру Головнину. В этом адресе просили снисхождения их товарищу Павлову; текст его был написан мною, и я вместе с другими профессорами ездил к министру подать его. Ходатайство наше не имело успеха, хотя министр отнесся с большим сочувствием к судьбе осуждаемого профессора. Князь Суворов также уверял нас, что при всем его желании не в его силах добиться возможности избавить Павлова от ссылки»

(Н. И. Костомаров. Автобиография, стр. 302). Против «смягчения участи» Павлова «наотрез» возражал министр внутренних дел Валуев (см.: Дневник П. А. Валуева, т. 1. М., 1961, стр. 151).

17 *Советов Александр Васильевич* (1826—1901) — агроном. В 1859—1901 гг. — профессор агрономии Петербургского университета.

18 *Лохвицкий Александр Владимирович* (1830—1884) — юрист, профессор Ришельевского в Одессе, потом Александровского в Петербурге лицеев. С 1869 г. — адвокат и журналист.

19 *Утин Евгений Исаакович* (1843—1894) — студент Петербургского университета, впоследствии — адвокат и литератор.

20 *Чичерин Борис Николаевич* (1828—1904) — историк русского права, профессор Московского университета (с 1861 по 1868 гг.), либерал, один из основоположников государственной школы в русской историографии.

Письмо Б. Н. Чичерина, о котором идет речь, опубликовано в «Колоколе» 1 декабря 1858 г. Поводом для письма послужила статья А. И. Герцена «Нас упрекают» («Колокол», 1858, 1 ноября, № 27 — ср.: А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XIII. М., 1958, стр. 361—363), в которой А. И. Герцен следующим образом формулировал свои представления о путях преобразования России: «Освобождение крестьян с землею — один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение „сверху или снизу" — мы будем за него!» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XIII, стр. 363). Письмо Чичерина, явившееся политическим манифестом контрреволюционного либерализма, содержало яростную атаку на готовность Герцена приветствовать освобождение крестьян „снизу". Народная революция квалифицировалась Чичериным как «свирепый разгул разъяренной толпы». В испепеляющей статье-ответе «Обвинительный акт» Герцен показал, что письмо Чичерина написано не с позиций «обличения злодеев», а «с совершенно противной точки зрения, т. е. с точки зрения административного прогресса» («Колокол», 1858, 1 декабря). Кавелин протестовал против чичеринской интерпретации Герцена, утверждая, что издатель «Колокола» лишь предупреждает о необходимости реформы, чтобы предотвратить революцию (см.: Барсуков. Жизнь и труд М. П. Погодина, т. XI. СПб., 1901, стр. 261—268). В полемике Кавелина с Чичериным по этому вопросу в сущности обнаружилось сходство их либеральных взглядов.

21 Единственная публикация такого рода принадлежит Н. И. Костомарову, известившему через «С.-Петербургские ведомости» (1862, 13 марта, № 55) о продолжении своих лекций и повторившему извещение через неделю (там же, 20 марта, № 61). Ср.: С. А. Рейсер. Примечания к кн.: Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 738.

22 Приводим воспоминания Н. Г. Чернышевского об этом посещении им Н. И. Костомарова 9 или 10 марта 1862 г. (см.: Б. П. Козьмин. Примечания к кн.: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I. М., 1939, стр. 818): «Я уже не был в это время знаком с Костомаровым. Он дичился, робел, когда видел меня. Мне надоело это. И довольно давно мне уж не случалось встречаться с ним. Тем меньше мог я не попытаться теперь урезонить его: быть может, он рассудит, что когда я, не имевший желания возобновлять знакомство с ним, зашел к нему дать совет, то значит дело не может кончиться его отказом принять мой совет; вероятно я поведу дело посвоему, если он не уступит. Прямо с этого я и начал, как вошел в комнату. „Здравствуйте, Николай Иванович; мы давне не видимся, и разумеется, если я зашел к вам, то считаю важным дело, о котором хочу поговорить с вами. Вы хотите читать лекцию. Будет демонстрация. Наперекор воле студентов будет. Они не хотят обидеть вас. Но большинство публики осуждает вас. И вы будете преданы позору публикою". — И так дальше, в этом роде. — „Вы имеется заслуги. Не позорьте себя".—Я говорил долго.—Он отвечал, что он будет читать.—Тогда я стал говорить точнее прежнего о том, какую роль хочет он разыграть. — „Результатом демонстрации будут аресты, процессы, ссылки. Люди, которые устраивают такие происшествия, какие нужны для принятия репрессивных мер, — это агенты-провокаторы. Не берите на себя роль агента-провокатора". На тему „агент-провокатор" я говорил долго. — „Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу", — отвечал он „Студенты объявили, что лекции прекращаются. Это деспотизм. Не подчиняюсь деспотизму". На этом пункте засела его мысль, и никакими резонами нельзя было стащить ее с этой умной позиции. — „Не о деспотизме тут дело,

а об арестах и ссылках тех людей, которые кажутся вам поступившими деспотически. Демонстрировать будут не они, а в ответе за демонстрацию будут они. Они погибнут, если вы будете читать лекцию".— Он твердил свое: "Это деспотизм; не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу". — „Хотите губить сотни честных людей?" — Твердил свое одно и то же: „Не хочу подчиняться" и т. д.— „В таком случае, скажу вам: от вас я еду к Головнину, просить его, чтоб он запретил вам читать". — „Это деспотизм!" — „Думайте об этом, как вам угодно; но знайте: читать лекцию вы не будете ни в каком случае... лучше скажите, что не хотите. Этим вы избавите ваше имя от позора. Не будьте человеком, которому запрещено играть роль агента-провокатора; откажитесь от нее сам".— „Нет, буду читать".— „Нет, не будете. Головнин запретит".— „Не запретит".— „Говорю вам: запретит".— „Почему запретит?".— „Он не захочет, чтобы произошли аресты и ссылки, когда от него зависит предотвратить их". — „Не запретит!" — Уперся на том, что Головнин не запретит — и баста! — не собьешь его и с этой позиции.— Я посмотрел на часы. Тянуть разговор дольше было нельзя; иначе я не застал бы Головнина.—„Кончим, Николай Иванович. Если вы остаетесь при своем намерении читать, то мне пора ехать. Иначе — не застану Головнина".—„Не запретит".— „Запретит. Откажитесь лучше сам".— „Не запретит".— „Будьте здоровы".— „Не запретит!" — Я пошел, он, провожая меня, все твердил свое: „Не запретит!"

„Не запретит!" — слышу я, затворяя двери. Это и были последние слова, которые я слышал от бедного чудака. Вхожу к Головнину.— „Я пришел просить вас о том, чтобы вы запретили Костомарову продолжать чтение лекций".— „Вы думаете, что надобно запретить? Почему вы так думаете?" — Я стал говорить: студенты не сделают демонстрации, но публика сделает; это будет иметь своим последствием аресты. Я говорил подробно. . .

„Вы высказали все?" — „Все". — „Я совершенно разделяю ваше мнение. И я уже сделал распоряжение о запрещении лекций Костомарову". — „Это было тяжело вам, я уверен; но тем больше приобрели вы права на признательность рассудительных людей",— сказал я и встал, простился» (Н. Г. Чернышевский. По поводу «Автобиографии» Н. И. Костомарова. Полн. собр. соч., т. I. М., 1939, стр. 762—763).

[23] Правительственное извещение о прекращении лекций появилось в «С.-Петербургских ведомостях» 21 марта (№ 62) 1862 г.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Научились ли?

Впервые — «Современник», 1862, кн. IV, стр. 345—356. Печатается по книге: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X. М., 1953, стр. 169—180.

[1] Чернышевский имеет в виду статью «Учиться или не учиться?» в «С.-Петербургских ведомостях» (1862, № 92), подписанную «ь». «В редакции „Современника",— вспоминал впоследствии М. А. Антонович, — как и в других литературных кругах, сложилось твердое убеждение, что эта статейка имеет не только внушенный официозный, но прямо-таки официальный характер, что она исходит непосредственно из министерства народного просвещения. Убеждение это основывалось на том, что статейка была напечатана в „С.-Петербургских ведомостях", редактором и фактическим хозяином которой был Краевский, находившийся в близких дружественных отношениях с этим министерством, обещавшим ему даже субсидию. . . Кроме того, статейка была целиком перепечатана в „Северной Пчеле», тоже пользовавшейся благосклонностью этого министерства. Редакция „Современника" решила попытаться дать отпор этой официозной статейке, разоблачить ее лживые уверения и обличения и показать, кто именно виноват в том, что был закрыт Университет и молодежь была лишена возможности учиться» (М. А. Антонович. Материалы для биографии Николая Гавриловича Чернышевского. В кн.: Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания. Ред. В. Е. Евгеньев-Максимов. М.—Л., 1933, стр. 103—104).

В действительности автором статьи оказался мелкий литератор А. В. Эвальд, учитель Петербургского городского училища. «Узнавши об этом, Чернышевский хохотал до упаду, острил и смеялся над собою по поводу своего разочарования; он воображал в лице своего оппонента встретить бойкого и ловкого министерского чиновника,

а вместо того встретил скромного педагога низшей школы. Но дело было начато...» (там же, стр. 108—109).

[2] Чернышевский имеет в виду массовые аресты студентов в ночь на 26 сентября и 12 октября 1861 г. См. стр. 81—82.

[3] Официальное название так называемых «матрикулов»: «Правила для студентов Санкт-Петербургского университета». О матрикулах см. стр. 266.

[4] Решительная защита Чернышевским прав студентов на кассу объясняется, в частности, тем, что собранные студентами средства использовались для революционной работы, осуществляемой «Землей и волей» 1860-х годов.

[5] Речь идет о шествии студентов на Колокольную улицу 25 сентября 1861 г. См. стр. 78—80.

[6] Приглашая оппонента ответить, Чернышевский не знал еще, кто скрылся под криптонимом «ь». Эвальд принял приглашение. «Диспут» между ним и Чернышевским состоялся 30 мая в квартире Эвальда в присутствии Г. З. Елисеева, М. А. Антоновича (свидетели Чернышевского), В. Д. Скарятина и А. В. Лохвицкого (свидетели Эвальда). Как вспоминает Антонович, Чернышевский, здороваясь с Эвальдом, сказал: «г. Эвальд, если бы я был знаком с вами раньше, то не начал бы этой истории; и я очень жалею, что не знал вас раньше, потому что иначе я не стал бы лично разубеждать вас в ваших мыслях, выраженных в вашей статье» (М. А. Антонович. Материалы для биографии Николая Гавриловича Чернышевского. В кн.: Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания..., стр. 109—110). Рассказ о «диспуте», принадлежащий Эвальду («Исторический вестник», 1895, кн. XII, стр. 723—739), грубо искажает его действительный ход и результаты. Свидетельство Антоновича, располагавшего протоколами «диспута», не оставляет сомнений в том, что Эвальд полностью признал свое поражение. В частности, итог обсуждения вопроса о причинах закрытия «Вольного университета» подводила, согласно протоколам, следующая запись «оппонента» Чернышевского: «Выслушав доводы г. Чернышевского, я, нижеподписавшийся, убедился в том, что не господа студенты участвовали в прекращении публичных лекций.— Аркадий Эвальд». (М. А. Антонович, ук. соч., стр. 116).

[7] Имеется в виду Е. Ф. Брандке, попечитель Дерптского учебного округа, возглавивший учрежденную в декабре 1861 г. комиссию для пересмотра университетского устава. Еще Герцен обратил внимание на то, что в своем Дерптском университете Брандке отказался «приводить в исполнение строгоно-путятинские меры» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XV. М., 1958, стр. 200).

[8] Чернышевский очень осторожно и вместе с тем прозрачно говорит о расправе с профессором П. В. Павловым. См. стр. 102—103, 270.

[9] Речь идет о собрании в квартире профессора В. Д. Спасовича. См. стр. 103.

[10] Описывая массовый арест студентов 12 октября, «Колокол» сообщал о том, что кандидату естественных наук Вл. Лебедеву разбили голову и разрубили скулу, другому студенту жандарм отрубил ухо, десятки человек получили удары прикладами, шесть человек, пострадавших особенно тяжело, отправили в госпиталь. Мемуары А. П. Марковой-Виноградской сохранили фамилию одного из офицеров Преображенского полка И. Н. Толстого (впоследствии — генерал-лейтенанта), отличившегося в избиении студентов (см.: «Минувшие годы», 1908, № 10, стр. 51).

Резкие статьи против варварской расправы со студентами опубликовал в «Колоколе» Герцен («Исполин просыпается!», «По поводу студентских избиений» и др.). В пламенной статье «Третья кровь» Герцен, обращаясь к студентам Петербурга и Москвы, писал: «Не жалейте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории, вами Россия входит во второе тысячелетие, которое легко, может быть начнется с изгнания варягов за море. Ваша кровь во всяком случае засвидетельствовала начало совершеннолетия и многое обличила... Она обличила сочувствие к вам всей России, готовность идти с вами — со стороны молодых офицеров, со стороны всех учебных заведений. Она обличила, чего нам ждать от *благодушного* Александра II. . .» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XV, стр. 185).

[11] См. стр. 106—107.

[12] Многогранные связи руководителя «Земли и воли» Н. Г. Чернышевского с революционным студенчеством Петербурга и, в частности, Петербургского университета запечатлены в многочисленных документах, отражены в мемуарах, доказаны советски-

ми исследователями. Среди землевольцев 60-х годов, непосредственно связанных с Чернышевским, многие были студентами (см.: М. Н. Чернышевская-Быстрова. Из отношения Н. Г. Чернышевского к арестованным студентам 60-х годов. «Каторга и ссылка», 1928, кн. 7[44], стр. 69 и след.). Чернышевский был видным деятелем Литературного фонда (1861—1862 гг.), второе отделение которого (созданное специально для оказания материальной помощи студентам, пострадавшим от преследований царизма), состояло почти сплошь из активных участников освободительного движения того времени (см.: Б. П. Козьмин. К истории «Молодой России». «Каторга и ссылка», 1930, № 5(66), стр. 69). Вместе с Лавровым Чернышевский лично оказывал денежную помощь арестованным студентам Петербургского университета (Р. А. Таубин. К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века. «Исторические записки», 1952, т. 39, стр. 71). О том, какое большое значение придавал Чернышевский революционным выступлениям студентов, и свидетельствует его статья «Научились ли?»

Чрезвычайно важно для понимания роли Чернышевского в студенческом движении 60-х годов указание Лаврова на то, что это движение «происходило с согласия Чернышевского, под его влиянием» («Литературное наследство», 1933, № 7—8, стр. 115). Блестящий конспиратор, Чернышевский сумел скрыть свои связи с революционным студенчеством от полиции, неутомимо, но безуспешно пытавшейся установить их. Несомненно, что многократные подчеркивания Чернышевским в комментируемой статье мысли об отсутствии «коноводов» у студенческого движения преследовали конспиративную цель.

13 «Слово и дело!» — восклицание, с которым в России XVIII в. объявлялись известия, имевшие государственное значение; чаще всего эти слова употреблялись при аресте тайной полицией лиц, подозреваемых в «государственных» преступлениях. Здесь — иронически.

14 «Партия действия» — партия буржуазных радикалов в Италии в период национального объединения страны. «Партия действия» предавала интересы итальянской революционной демократии.

15 Университет был открыт 8 декабря 1861 г. «Но этот открытый официально университет, — писал Шелгунов, — не был уже живым организмом — это был труп без души. Лекции хотя и начались, но их никто не посещал, и „матрикулисты" в аудитории не заглядывали; наконец и профессора перестали ходить на лекции. Возбужденное состояние молодежи тоже продолжалось, все были как-то натянуты, во всех, не только студентах, но и в профессорах, и в университетском начальстве, чувствовалось недовольство, неудовлетворение, тревога; студенты пытались составлять сходки, были настроены враждебно, строптиво и легко переходили к неповиновению. Такой университет, конечно, не мог существовать, и 20 декабря он был закрыт окончательно до пересмотра университетского устава. Вслед за закрытием университета вместо графа Путятина назначен министром народного просвещения А. В. Головнин.

Перед этим окончательным финалом университетской истории случилось еще одно обстоятельство, имевшее для университета, конечно, немалое значение и составлявшее предмет общих разговоров. Университет оставили лучшие его профессора: Борис Утин, Кавелин, Спасович, Пыпин и Стасюлевич. Это был во всяком случае гражданский подвиг, к которому очень сочувственно отнеслось общественное мнение. Причиной отставки было то, что профессора не видели никакой возможности служить с пользой университету, не имея убеждения, что новый порядок вещей, устанавливаемый графом Путятиным, принесет пользу. В это же время оставил университет и его ректор Плетнев, больше двадцати лет занимавший эту должность. Таким образом, граф Путятин, принявший университет цветущим, полным жизни, сдал его через год в виде развалин» (Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.—Пг., 1923, стр. 132).

16 О статье Чернышевского «Научились ли?» министр просвещения Головнин сделал доклад Александру II. Некоторое время спустя последовало запрещение обсуждать в печати тему о волнениях студентов Петербургского университета.

П. А. КРОПОТКИН

* Восторг научного творчества

Отрывок из «Записок революционера» Кропоткина. Они были изданы впервые в Лондоне на английском языке в 1902 г. На русском языке появились в переводе с английского издания. Печатается по полному, сверенному с русскими рукописями автора тексту «Записки революционера». М.—Л., Academia, 1933, стр. 141—143.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — выдающийся русский географ и один из крупнейших теоретиков анархизма. Выходец из княжеской семьи, Кропоткин по окончании в 1862 г. Пажеского корпуса, вопреки требованиям отца, предпочел трудную службу в Амурском казачьем войске открывавшейся перед ним блестящей карьере. За время службы на Дальнем Востоке (1862—1867) Кропоткин деятельно изучает природу края, организует научные экспедиции, внося ценнейший вклад в изучение Сибири. Им были открыты группы вулканов в Северной Манчжурии и Восточных Саянах. Во время Олекминско-Витимской экспедиции открыто несколько горных хребтов, один из которых впоследствии был назван его именем. Кропоткин впервые доказал, что значительная часть территории Восточной Сибири находится под сплошным ледниковым покровом. Выйдя в 1867 г. в отставку, Кропоткин поступает на физико-математический факультет Петербургского университета. По окончании университетского курса Кропоткин был избран секретарем отделения физической географии Русского географического общества. Убежденный противник самодержавия, Кропоткин во время поездки за границу в 1872 г. примкнул к группе анархистов-бакунистов и по возвращении в Россию значительное время уделял революционной деятельности, стремясь внести анархизм в народное движение. Арестованному царским правительством Кропоткину удается бежать за границу. С этого времени он целиком отдается пропаганде идей анархизма. Кропоткин — враг марксизма, в особенности враг марксистской диалектики, учения о классовой борьбе и диктатуре пролетариата — неоднократно критиковался В. И. Лениным, называвшим его «мещанином от анархизма» (В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 329).

В последние годы жизни, вернувшись в Россию, Кропоткин признал значение Великой Октябрьской социалистической революции.

1 *Кропоткин Александр Алексеевич* (1841—1881) был арестован вместе с братом в 1874 г. и выслан на поселение в Сибирь. Застрелился в 1881 г.

2 Речь идет об Олекминско-Витимской экспедиции, за научные результаты которой Кропоткину была присуждена золотая медаль Русского географического общества. Отчет об экспедиции издан Русским географическим обществом в 1873 г.

3 *Шварц Людвиг* — немецкий астроном, участник организованной Русским географическим обществом экспедиции в Сибирь 1854—1859 гг.

4 *Гумбольд Александ Фридрих Вильгельм* (1769—1859) — выдающийся немецкий географ и естествоиспытатель, основоположник научного страноведения.

5 «Общий очерк орографии Восточной Сибири» опубликован в «Записках по общей географии Русского географического общества», 1875, т. V.

А. М. ЛЯПУНОВ

Пафнутий Львович Чебышев

Печатается по первой публикации в книге: А. М. Ляпунов. Пафнутий Львович Чебышев. Харьков, 1895, стр. 8—10.

Ляпунов Александр Михайлович (1851—1918) — академик, выдающийся русский математик и механик, сын известного русского астронома М. В. Ляпунова, ученик П. Л. Чебышева, крупнейший представитель русской математической школы. Ляпунов окончил Петербургский университет в 1880 г. Впоследствии был профессором Харьковского университета, а с 1902 г. вернулся в Петербургский университет. Воспоминания о скончавшемся учителе написаны Ляпуновым в Харьковский период его деятельности.

Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894) — великий русский математик и механик, академик. Воспитанник Московского университета, Чебышев в 1847 г. защитил магистерскую диссертацию в Петербургском университете, где и работал в течение последующих 35 лет. В 1849 г. Чебышев защитил докторскую диссертацию на тему: «Теория сравнений» и с 1850 г. был утвержден профессором Петербургского университета. Чебышев оставил яркий след в развитии мировой математической науки. При большом разнообразии тем его научных работ поражает простота применяемых им методов исследования. Чебышев — исследователь, как это подчеркивает и автор воспоминаний, никогда не отрывал теорию от практики. Все его исследования практически приложимы. Особенно это относится к разработанной им теории машин и механизмов, послужившей для создания им ряда технических изобретений и усовершенствований. Чебышев был избран членом Берлинской, Болонской, Парижской, Шведской и других академий наук и ряда русских и иностранных научных обществ.

[1] Чебышев, защитивший магистерскую диссертацию в Московском университете, при переходе в 1847 г. в Петербургский университет должен был защитить диссертацию на право чтения лекций. После защиты диссертации «Об интегрировании с помощью логарифмов» Чебышев был утвержден приват-доцентом (П. Л. Чебышев. Полн. собр. соч., т. V. М.—Л., 1951, стр. 228).

[2] Петербургская математическая школа Чебышева пользовалась мировой известностью. К числу учеников Чебышева принадлежат такие крупнейшие русские ученые, как Г. Ф. Вороной, Д. А. Граве, Е. И. Золотарев, А. Н. Коркин, А. А. Марков, В. А. Стеклов, автор публикуемых мемуаров А. Н. Ляпунов и ряд других виднейших представителей математической науки.

[3] Практическое приложение математики — характернейшая черта школы Чебышева. Для характеристики его взглядов по этому вопросу интересны его письма-отчеты о заграничной командировке 1852 г. Осмотрев во Франции заводы, железные дороги и т. п., Чебышев писал: «Таким образом, в продолжение трех месяцев я успел познакомиться со многими фабричными производствами во Франции и приобрести многие практические данные касательно устройства машин и наиболее выгодного употребления воды и пара как двигателей. Между прочим, сличая размеры составных частей в различных паровых машинах, я нашел данные, необходимые для разысканий моих в теории параллелограмма Уатта; результаты этих изысканий будут представлены мною в особом мемуаре». Возможность практического приложения математики интересует Чебышева и во время его поездок по Англии и Германии (П. Л. Чебышев. Полн. собр. соч., т. V, стр. 244 и след.).

Х. Я. ГОБИ

* А. Н. Бекетов как представитель кафедры ботаники

Х. Я. Гоби выступил с воспоминаниями об А. Н. Бекетове на торжественном собрании С.-Петербургского общества естествоиспытателей 26 ноября 1902 г. Речь Гоби была опубликована под названием «А. Н. Бекетов как профессор и представитель кафедры ботаники в С.-Петербургском университете» в «Трудах С.-Петербургского общества естествоиспытателей», 1903, т. XXXIII, вып. 1. Протокол заседания № 7, стр. 252—258. Печатается по указанной публикации.

Гоби Христофор Яковлевич (1847—1919) — известный русский ботаник. Воспитанник, затем преподаватель, а с 1888 г. — профессор Петербургского университета. Автор ряда трудов по флористике и географическому распределению морских водорослей. Совместно с Бекетовым издавал первый русский ботанический журнал (см. стр. 127, 277). После смерти Бекетова Х. Я. Гоби заведовал кафедрой ботаники Петербургского университета.

Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — академик, крупнейший русский ботаник, выдающийся общественный деятель. По окончании 1-й Петербургской гимназии поступил на восточный факультет Университета, но со второго курса ушел на военную службу, которую, впрочем, скоро оставил и окончил естественный разряд физико-мате-

матического факультета Казанского университета. В 1863—1897 гг. — профессор, в 1876—1883 гг. — ректор Петербургского университета (см. также стр. 12—13, 195—199, 299).

Труды А. Н. Бекетова оказали большое влияние на развитие русской ботанической географии. Учениками Бекетова, создавшего школу русских ботаников, являются Г. И. Танфильев, Н. И. Кузнецов. В. Л. Комаров, К. А. Тимирязев и другие крупнейшие ученые. Большую роль сыграл Бекетов и как организатор народного образования (он был одним из инициаторов создания Высших женских курсов, выдающимся мастером популяризации научных знаний).

[1] Бекетов заведовал кафедрой ботаники с 1863 г. (А. А. Щербакова. Андрей Николаевич Бекетов — выдающийся русский ботаник и общественный деятель. М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 47).

[2] Территория нынешнего ботанического сада Университета передана Университету по распоряжению военного министра Д. А. Милютина после настойчивых (и далеко не сразу поддержанных Советом Университета) хлопот Бекетова.

[3] Ботанический сад основан в 1714 г. В 1931 г. ботанический сад и ботанический музей были объединены и ныне составляют Ботанический институт Академии наук СССР.

[4] Фактически Совет Университета не выделил достаточных средств на постройку оранжереи и здания для ботанических занятий. На постройку оранжереи 6 тыс. руб. пожертвовал ботаник М. С. Воронин (А. А. Щербакова, ук. соч., стр. 48).

[5] Журнал этот, «Scripti botanica Horti Universitatis imperialis Petropolitanae», выходил с 1886 по 1916 гг. В первые годы его издавали Бекетов и автор комментируемых мемуаров.

[6] Точное название статьи Бекетова: «О екатеринославской флоре».

[7] А. Н. — Андрей Николаевич Бекетов.

[8] Строфа из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[9] Таблицы исполнены художницей Е. Ипатовой по рисункам самого Бекетова.

[10] Коллекции известного ботаника и путешественника Г. С. Карелина принадлежали лично Бекетову, женатому на его дочери, Е. Г. Карелиной.

[11] Бекетов организовывал экспедиции, причем студенты Университета «отправлялись в глухие, часто отдаленные места, перерезывая по всем направлениям дебри и леса нашего бездорожного отечества и собирая коллекции, которые обогащали университетские музеи» (А. Н. Бекетов. Обзор деятельности С.-Петербургского общества естествоиспытателей за первое 25-летие его существования (1868—1893). СПб., 1894, заключение, стр. 15).

[12] Современники назвали Бекетова отцом русской ботаники. Влияние Бекетова на свою научную деятельность отмечали И. И. Мечников, Д. Н. Кашкаров, Г. Е. Грум-Гржимайло и другие выдающиеся ученые.

[13] Один из учеников Бекетова свидетельствовал: «Его лекции не были компиляцией и повторением чужих слов. Это был собственный курс ботаники, оригинальный, им самим разработанный, в котором все более или менее выдающиеся вопросы ботанической науки... освещались... собственной точкой зрения лектора на науку, на ее цели, задачи и выводы». (Н. И. Кузнецов. Научная деятельность А. Н. Бекетова. «Труды С.-Петербургского общества естествоиспытателей», 1903, т. XXXIII, вып. 1, стр. 241).

Не только на лекциях Бекетова воспитывались молодые исследователи. К. А. Тимирязев, учившийся у него в Петербургском университете, сообщает: «С глубокой благодарностью вспоминается... дорогой для целого поколения петербургских студентов Андрей Николаевич Бекетов. В наши студенческие годы он собирал у себя студентов-натуралистов для чтения рефератов, научных споров и т. д.» (К. А. Тимирязев. Физиология растений как основа рационального земледелия. Избранные сочинения в двух томах, т. I. М., Сельхозгиз, 1957, примечание к стр. 256).

[14] Особенной известностью пользовалась много раз переиздававшаяся и выходившая большими тиражами книга Бекетова «Беседы о земле и тварях, на ней живущих» (первое издание — СПб., 1864). Это первая оригинальная русская научно-популярная книга по естествознанию, написанная для народа, которую, по словам К. А. Тимирязева, «действительно можно было видеть в руках народа». Бекетов легким и красивым языком в увлекательной форме сообщает множество сведений о природе, рас-

сматривая ее со строго материалистических позиций (А. А. Щербакова, ук. соч., стр. 92—93).

[15] Строки из заключительной строфы стихотворения Некрасова «Сеятелям», опубликованного в цикле «Последние песни» («Отечественные записки», 1877, № 1, стр. 278. Ср.: Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. II. М., 1948, стр. 40).

В. Е. ТИЩЕНКО

Воспоминания о Д. И. Менделееве

Печатается по первой публикации в журнале «Природа», 1937, № 3, стр. 127—129, 131, 133, 134—136. Воспоминания В. Е. Тищенко написаны к широко отмечавшемуся страной в 1937 г. тридцатилетию со дня смерти Д. И. Менделеева.

Тищенко Вячеслав Евгеньевич (1861—1941) — академик. Выдающийся русский и советский химик. Окончил Петербургский университет в 1884 г. На старших курсах Университета Тищенко работал (с 1882 г.) в лаборатории Бутлерова, а по окончании Университета в лаборатории Д. И. Менделеева, являясь одним из ближайших его сотрудников. С 1891 г. Тищенко читал самостоятельные курсы по химии в Петербургском университете. В 1906 г. защитил докторскую диссертацию. В советское время возглавил химический институт Ленинградского университета.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — великий русский ученый, автор периодического закона химических элементов — естественнонаучной основы современного учения о веществе. В 1856 г. Менделеев защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию. В 1857 г. утвержден приват-доцентом по кафедре химии, два года спустя командирован для научной работы в Германию, где в 1860 г. принял участие в работах съезда химиков. По возвращении из-за границы защитил в 1865 г. докторскую диссертацию «Рассуждение о соединениях спирта с водой» и был утвержден в звании профессора Университета.

Гениальный и разносторонний ученый, почетный член ряда научных обществ и университетов России, Западной Европы и Америки, Менделеев был вместе с тем крупнейшим общественным деятелем. Он горячо боролся за широкое развитие могучих производительных сил России, за ее экономический и культурный подъем. Воспитатель не одного поколения крупнейших русских ученых, Менделеев называл педагогическую деятельность второй службой родине. Ему принадлежит ряд работ по вопросам школьного и университетского образования в России, в которых он выступал против так называемого «классического» образования, за сближение школы с непосредственными практическими потребностями народного хозяйства.

В 1891 г. Менделеев вынужден был покинуть Петербургский университет. Подробнее об этом смотри в воспоминаниях Б. П. Вейнберга и в комментариях к ним (стр. 152—155).

[1] Академик В. И. Вернадский свидетельствует: «Блестящие лекции Д. И. Менделеева в Петербургском университете остаются незабываемыми для немногих, еще оставшихся в живых его слушателей. В них он еще больше, чем в книге, поддерживал значение естественных природных процессов — земных и космических» (В. И. Вернадский. Письмо во Всесоюзное химическое общество в ответ на избрание его почетным членом в общество. В кн.: 75 лет периодического закона и Русского химического общества. М.—Л., 1947, стр. 190).

[2] «Эти „Основы", — писал Менделеев, — любимое дитя мое. В них мой образ, мой опыт педагога и мои задушевные научные мысли» (Д. И. Менделеев. Из записки по поводу газетной статьи. Цит. по кн.: Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской. Л., Изд. «Федерация», 1929, стр. 156).

Первая часть «Основ химии» вышла двумя выпусками в 1869 г.; вторая часть, также в двух выпусках, в 1871 г. «Писать начал, — сообщает Менделеев, — когда стал после Воскресенского читать неорганическую химию в Университете и когда, перебрав все книги, не нашел, что следует рекомендовать студентам» (Д. И. Менделеев. Список моих сочинений... В кн.: Д. И. Менделеев. Литературное наследство, т. I. Изд. ЛГУ, 1938, стр. 60). А. А. Байков так характеризует эту важнейшую работу Менделеева: «„Основы химии" определили собой то построение нашей науки, которое

сохранилось до сих пор и которое сохранится еще на продолжительное время. В „Основах химии", поскольку они являются воплощением периодического закона, мы имеем одно из величайших созданий человеческого гения, которое никогда не утратит своего значения» (А. А. Байков. Научное творчество Менделеева. Доклад на юбилейном менделеевском съезде в ознаменование 100-летней годовщины со дня рождения Д. И. Менделеева. Л., Изд. АН СССР, 1934, стр. 10).

Впервые периодический закон был сформулирован Менделеевым в марте 1869 г. 1 марта Менделеев разослал сообщение о своем открытии некоторым ученым, а 6 марта на заседании Русского химического общества выступил с докладом об открытом им законе. Первая формулировка закона была такова: «Свойства простых тел, а также форма и свойства соединений элементов, находятся в периодической зависимости ... от величины атомных весов элементов» (Д. И. Менделеев. Избранные сочинения, т. II. Л., Госхимтехиздат, 1934, стр. 265).

Д. П. Коновалов в речи на похоронах Д. И. Менделеева говорил: «Поднявшись до высоты мирового гения, ты дал нам такие основы химии, которые всех покоряли могучим размахом научного творчества, волшебною красотою широкого научного горизонта». Журнал Русского физико-химического общества, ч. химич., 1907, т. XXXIX, вып. 2, стр. 250).

[3] Об А. М. Бутлерове см.: стр. 156—160.

[4] Д. И. — Дмитрий Иванович, т. е. Менделеев.

[5] *Меншуткин Николай Александрович* (1842—1907) — выдающийся русский химик, один из основателей химической кинетики. Окончил Петербургский университет в 1862 г. В 1869—1902 гг. — профессор Петербургского университета, с 1902 — профессор Политехнического института. Автор классического труда «Аналитическая химия», вышедшего первым изданием в 1871 г. Меншуткин горячо противился бюрократическому режиму царской высшей школы. Один из учредителей Русского химического общества и редактор его журнала.

[6] *Любавин Николай Николаевич* (1845—1918) — русский химик, воспитанник, впоследствии лаборант Петербургского университета. С 1890 г. — профессор Московского университета. Автор капитального труда «Техническая химия», тт. 1—7. М., 1897—1926.

[7] Квартира Менделеева была в здании Университета рядом с лабораториями, ныне в этой квартире размещается мемориальный музей Д. И. Менделеева.

[8] А. М. — т. е. Бутлеров.

[9] *Львов Михаил Дмитриевич* (1848—1899) — профессор химии, ученик и помощник Бутлерова, воспитанник Петербургского университета.

[10] Б. — т. е. Бутлеров.

[11] Исправляем неточность, допущенную автором воспоминаний. В действительности статья Винклера была помещена в «Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft» не в 1884 г., а в 1886 г. История открытия Винклером германия и переписка его с Менделеевым, уточняющая воспоминания Тищенко, подробно изложена в книге Н. А. Фигуровского «Дмитрий Иванович Менделеев. 1834—1907» (М., Изд. АН СССР, 1961, стр. 126 и сл.).

[12] *Павлов Дмитрий Петрович* (1851—1903) — русский химик, брат И. П. Павлова. Окончил Петербургский университет в 1876 г., после чего два года работал в лаборатории Бутлерова, а с 1878 по 1886 г. являлся сотрудником Менделеева и его лекционным ассистентом. С 1886 г. преподавал в сельскохозяйственном институте в Новой Александрии.

[13] *Павлов Владимир Евграфович* — профессор химии, воспитанник Петербургского университета, ученик Бутлерова и сотрудник Менделеева. С 1884 г. — доцент, а с 1885 г. — профессор Московского Высшего технического училища.

[14] В. Е. — т. е. Павлов.

[15] *Шмидт Густав Августович* (1841—1913) — доктор химии, воспитанник Петербургского университета, работал в химической промышленности.

[16] «Он обладал всеми нужными качествами технического работника, — вспоминает о Звереве Озаровская, — он превосходно знал практическую химию и ассистенту даже напоминать не приходилось, что надо приготовить для лекции. В последние годы жизни Дмитрия Ивановича, когда уже его духовные внуки (ученики учеников) оперились, и, работая при Университете, сами уже читали лекции где-нибудь на фельдшер-

ских или зубоврачебных курсах, Алеша в качестве ассистента сопровождал „молодого профессора"» (Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской, М., 1929, стр. 92).

[17] Химический конгресс в Карлсруе проходил с 3 по 6 сентября 1860 г. Кроме Менделеева, в работе конгресса участвовал ряд крупных русских химиков. Конгресс этот явился важнейшей вехой на научном пути Д. И. Менделеева.

[18] В 1859—1860 гг. Д. И. Менделеев был командирован для продолжения образования в Германию. Менделеев избрал Гейдельбергский университет. «Отправленный за границу в 1859 г., — пишет он, — я занимался в своей лаборатории в Гейдельберге почти исключительно капиллярностью, полагая в ней найти ключ к решению многих физико-химических задач» (Д. И. Менделеев. Литературное наследство, стр. 54). Работы Менделеева «О расширении жидкости», «О капиллярности жидкостей» и в особенности «О температурах абсолютного кипения тех же жидкостей», написанные в период заграничной командировки, являются важным вкладом в науку.

[19] *Мариньяк Жан Шарль Галиссар* (1817—1894) — швейцарский химик.

«Тем, кто работает в современных лабораториях-дворцах, может быть, любопытно увидеть картину лаборатории в самом начале шестидесятых годов. Когда Д. И. Менделеев предложил студентам для практики в органической химии повторить некоторые классические работы, пишущему эти строки выпало проделать известное исследование Зинина — получение анилина. Материал — бензойную кислоту, конечно, пришлось купить на свои гроши, так как этот расход не был под силу лаборатории, с ее 300-рублевым бюджетом, но затем понадобилась едкая известь. При исследовании — находившаяся в складе оказалась почти начисто углекислой. Почтенный лаборант Э. Ф. Радлов дал благой совет: „А затопите-ка горн да прокалите сами, кстати ознакомитесь с тем, как обжигают известь". Сказано — сделано, но здесь встретилось новое препятствие: сырые дрова шипели, свистели, кипели, но толком не разгорались. На выручку подоспел сторож. „Эх, барин, чего захотел, казенными дровами да горн растопить, а вот что ты сделай: там в темненькой есть такая маленькая не то лежаночка, не то плита, положи прежде на нее вязаночку да денек протопи, дрова и просохнут". Так и пришлось поступить. Сушка казенных дров, как первый шаг к реакции Зинина, вот уже подлинно, что называется, начинать сначала!» (К. А. Тимирязев. Соч., т. VIII. Сельхозгиз, 1939, стр. 152).

[20] Подробнее об этом см. в воспоминаниях Б. П. Вейнберга, стр. 152—155.

[21] Ныне Съездовская линия, д. 9. Д. И. Менделеев жил в кв. 4. (Н. А. Фигуровский, ук. соч., стр. 202).

[22] Главная палата мер и весов создана в 1893 г. Д. И. Менделеевым на базе существовавшего с 1841 г. Депо образцовых мер и весов. С 1934 г. преобразована во Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева. В 1928 г. в здании Палаты мер и весов (Московский пр., д. 19) открыт метрологический музей им. Д. И. Менделеева.

[23] Впоследствии М. Д. Менделеева — Кузьмина.

Б. П. ВЕЙНБЕРГ

* Из воспоминаний о Дмитрии Ивановиче Менделееве как лекторе

Печатается по первой публикации в книге: Б. П. Вейнберг. Дмитрий Иванович Менделеев. Из воспоминаний. Томск, 1910, стр. 1—7, 13, 16—18, 20, 25—27, 29, 31—32, 36, 38—42.

Вейнберг Борис Петрович (1871—1942) — известный советский физик. Воспитанник Петербургского университета (окончил в 1893 г.); в 1909—1924 гг. — профессор Томского политехнического института, с 1924 — директор, затем действительный член Главной геофизической обсерватории в Ленинграде, с 1940 г. — руководитель отдела теоретических исследований Научно-исследовательского института земного магнетизма. Автор ряда выдающихся трудов в области геофизики, гидрологии и гелиотехники. Совместно с сыном, В. Б. Вейнбергом, создал один из лучших проектов солнечного двигателя. Погиб в осажденном Ленинграде.

[1] *Марков Андрей Андреевич* (1856—1922) — выдающийся математик, академик. Учился в Петербургском университете (1874—1878), профессором которого был избран

в 1886 г. Труды А. А. Маркова по теории вероятности (в том числе классический университетский курс исчисления вероятности) получили международное признание.

[2] *Поссе Константин Александрович* (1847—1928) — математик, почетный академик (с 1916 г.). Воспитанник (1864—1868), с 1873 г.— доцент, с 1880 г.— профессор Петербургского университета по кафедре числовой математики. Основные работы — в области математического анализа.

[3] *Хвольсон Орест Даниилович* (1852—1934) — физик. Почетный член Академии наук (с 1920 г.). Воспитанник математического отделения физико-математического факультета Петербургского университета (окончил в 1873 г.). Преподавал в Петербургском — Ленинградском университете с 1876 по 1929 год, сначала в качестве приват-доцента, затем (с 1891 г.) — экстраординарного, ординарного и заслуженного профессора. Особенно значительны его работы в области электротехники. В 1926 г. получил звание Героя Труда и орден Трудового Красного Знамени. Философская позиция О. Д. Хвольсона дореволюционной поры была предметом критики В. И. Ленина в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 370).

[4] «Химическая аудитория университета, — вспоминала О. Э. Озаровская,— наводнялась не только слушателями естественного факультета, но и юристами, и словесниками, и, проскользнувшими под видом студентов, гражданами Петербурга: жить в Петербурге и не слышать Менделеева!» (Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской. М., 1929, стр. 58).

[5] По поводу этих записей О. Э. Озаровская писала: «Увидя их на бумаге, вы не придете в восхищение, как Вейнберг или как я, потому, что мы оба слышали при этом интонации Менделеева... Попробую представить вам звучание первого, приведенного проф. Вейнбергом примера краткости и выпуклости. Произносите значительно, твердо, с резкой акцентацией курсивных слов:

„— Гораздо *реже* в природе и еще в меньшем *количестве*".

Тихо и протяжно, как бы раскрывая тайну:

„— Оттого и более *дорог*".

Страдальчески, плаксиво, на высоких нотах:

„— *Труда* больше". —

И обратившись книзу, громогласно, почти гневно оборвать:

„— Иод".

И читатель с музыкальным воображением поймет, что так произнесенная фраза оставит неизгладимое впечатление и навеки останется знание, что иод в природе встречается редко, в малых количествах, добывается с большим трудом и потому дорог» (Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской, стр. 63, 68).

[6] Об Алексее см. стр. 136, 280—281.

[7] Читая лекции о марганце в самый разгар студенческих волнений, накануне ухода из Университета, Менделеев нашел тактичный способ призвать студентов к спокойствию, чтобы предотвратить, таким образом, разгром Университета правительством. Этой же цели служил призыв Менделеева стремиться к вершинам «истин самим по себе, в их абсолютной чистоте», повторенный в «Предисловии» к 8-му изданию «Основ химии» (ук. соч., стр. 7). Читатель не упустит, конечно, из виду, что деятельность Менделеева как ученого была в значительной мере направлена именно на изучение практических новых путей развития русской промышленности и сельского хозяйства. О сходках, упоминаемых здесь Менделеевым, см. стр. 152—155, 282—283.

[8] Т. е. «Основы химии». См. стр. 278—279.

[9] В марте 1890 г. в Университете начались волнения студентов, решительно требовавших демократизации университетского образования, отмены наиболее реакционных статей университетского устава 1884 г. (см. стр. 8, 290, 296, 301). Студенты решили обратиться с прошением к министру Делянову. Менделеев согласился принять на себя «роль передатчика прошения студентов», хотя и был «в его непрактичности заранее убежден, лишь бы дело улеглось и не принесло новых жертв» (Н. А. Фигуровский. Дмитрий Иванович Менделеев, стр. 197). Текст переданной Менделеевым министру Делянову 15 марта 1890 г. петиции гласил:

«Петиция студентов С.-Петербургского университета. Господину министру народного просвещения.

В среду, 14 марта нам впервые дана была возможность выразить перед коллегией уважаемых профессоров с Ректором во главе наши необходимые нужды и горячие желания.

Твердо уверенные из горького опыта в необходимости реформ университетских порядков, мы убеждены, что наши желания вполне осуществимы, и формулируем их следующим образом:

Мы желаем, чтобы устав университетов и других высших учебных заведений был основан на началах автономии — чтобы ректор и профессора были избираемы согласно университетскому уставу 1863 г., чтобы были учреждены университетский и студенческий суд, а также признаны студенческие корпорации.

Мы желаем, чтобы все окончившие средние учебные заведения, без различия вероисповедания, общественного положения и без всяких тайных характеристик со стороны гимназического начальства и полиции, имели свободный доступ в университет.

Наконец, мы уверены, что наряду с этим, нашим профессорам может быть дана свобода преподавания, прежде существовавшая по уставу 1863 г.

Наше глубокое убеждение в том, что все эти последовательно проведенные изменения в смысле наших желаний будут содействовать развитию студенческой жизни и только они могут обусловить нормальное течение ее.

Мы настаиваем теперь же на уничтожении полицейских функций инспекции, понижении платы и, в частности, по отношению к нашему Университету, на восстановлении Научно-литературного общества, существовавшего до 1887 г., и студенческой читальни.

Впервые пользуясь возможностью изложить свои желания, не выходя из границ законности, мы твердо верим в то, что подобный способ выражения своих нужд войдет в обиход студенческой жизни. Студенты С.-Петербургского университета» (Цит. по кн.: Н. А. Фигуровский, ук. соч., стр. 198—199).

[10] 17 марта 1890 г. Менделеев получил оставленный министру текст обратно со следующим сопроводительным письмом: «По приказанию министра народного просвещения прилагаемая бумага возвращается действительному статскому советнику, профессору Менделееву, так как ни министр и никто из стоящих на службе Его Императорского Величества лиц не имеет права принимать подобные бумаги». Менделеев в тот же день отправился к Делянову, выразил свой протест по поводу нанесенного ему оскорбления и заявил, что немедленно оставляет службу в Университете, как и вообще в ведомстве министерства просвещения. См.: Н. А. Фигуровский, ук. соч., стр. 198—199.

[11] Несколько дней спустя Совет Университета обратился к Менделееву с просьбой не покидать Университета. Письмо, под которым стояло 50 подписей профессоров и преподавателей Университета, гласило: «Глубокоуважаемый Дмитрий Иванович, до сведения Совета дошло, что Вы намерены покинуть наш Университет. Известие это не могло не поразить всех ваших товарищей, которые привыкли видеть в Вас одно из лучших украшений С.-Петербургского университета. Мы гордимся, считая Вас в своей среде, и убеждены что потеря такой крупной ученой силы не может не отразиться тяжело на научной жизни Университета. Посему Совет Университета единогласно определил просить Вас отказаться от принятого Вами намерения покинуть Университет и льстит себя надеждою на то, что Вы не отнесетесь безучастно к нашей горячей просьбе».

Однако несмотря на эту просьбу товарищей и многочисленные просьбы студентов, Менделеев не отказался от своего намерения. Со стороны же министра не было предпринято решительно ничего, чтобы загладить свою вину перед Менделеевым и попытаться вернуть великого химика Университету.

[12] С. П. Боткин умер 12 декабря 1889 г. во Франции, в Ментоне.

Д. П. КОНОВАЛОВ

А. М. Бутлеров в своей лаборатории Петербургского университета

Печатается по первой публикации в сборнике «А. М. Бутлеров. 1828—1928». Л., 1929, стр. 56—64, 72.

Коновалов Дмитрий Петрович (1856—1929) — академик, советский химик. Ученик Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова. Окончил в 1878 г. Горный институт, а в 1880 г.—

Петербургский университет. В магистерской диссертации «Об упругости пара растворов» (1884) сформулированы законы Коновалова, получившие широкую известность. Годом позже Коновалов защитил докторскую диссертацию «Роль контактных действий в явлениях диссоциации» и с 1886 г. был утвержден профессором Петербургского университета.

Воспоминания Коновалова написаны в октябре 1928 г. к столетию со дня рождения Бутлерова. Автор воспоминаний в продолжение 2 лет (1878—1880) работал под ближайшим руководством Бутлерова в его лаборатории органической химии. По окончании университета в 1880 г. он был отправлен в заграничную командировку, вернувшись из которой вновь продолжил работу в бутлеровской лаборатории. С 1882 г. Коновалов переходит в лабораторию аналитической химии, сохраняя тесный научный контакт со своим учителем (А. А. Байков. Дмитрий Петрович Коновалов. Биографический очерк. Л., 1928, стр. 4—6)

Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886) — академик, химик. Воспитанник и профессор Казанского университета, с 1869 г. — профессор и заведующий кафедрой органической химии Петербургского университета. Пользовался огромным уважением универсантов. Когда в 1880 г. А. М. Бутлеров захотел — ввиду явного наступления реакции — оставить Университет, студенты обратились к нему с горячей просьбой не покидать кафедры (под обращением студентов стояли 102 подписи), и А. М. Бутлеров остался профессором еще на пятилетие. Прочитав в 1885 г. свою прощальную лекцию, А. М. Бутлеров и после этого не оставил Университета, продолжая постоянно бывать в университетской лаборатории. А. М. Бутлеров — создатель знаменитой теории строения вещества, основатель школы химиков-органиков, крупнейшими представителями которой являются А. Н. Вышнеградский, В. Е. Тищенко, А. Е. Фаворский. Бутлеров — один из организаторов и профессоров Высших женских курсов.

1 Академик В. Е. Тищенко, работавший в лаборатории Бутлерова с 1882 г., вспоминает: «В то время наша химическая семья была небольшая. Лаборатория СПб. университета состояла из трех отделений: аналитической химии, органической и лаборатории Менделеева. Самая многолюдная и живая была лаборатория А. М. Бутлерова. Его лаборантом (ассистентом) был М. Д. Львов, который и ассистировал на лекциях, и вел лабораторное хозяйство, и помогал Бутлерову руководить занятиями студентов.

... Все лаборатории помещались в нижнем этаже главного здания Университета. Почти каждый день мы видели друг друга, а так как всех было нас немного, то мы не замыкались только в свою работу, но могли следить и за работами товарищей, что, конечно, имело очень хорошее влияние на расширение нашего химического кругозора» (В. Е. Тищенко. Мои воспоминания о первых годах научно-педагогической деятельности А. Е. Фаворского. «Ленинградский университет», 1940, 27 марта).

2 А. М. — Александр Михайлович Бутлеров.

3 «Бутлеров всегда работал открыто, на виду у всех его окружающих. Самые тонкие вещи, требующие особенного напряжения и внимания, производились им на глазах у всех, часто среди оживленного разговора. Я имею полное основание сказать, что он и думал открыто, потому что все предположения им высказывались, всякая проверка их производилась среди лиц, окружавших его. У него не было секретов ни в идеях, ни в попытках их осуществления» (Г. Густавсон. Александр Михайлович Бутлеров, как представитель школы. Журнал Русского физико-химического общества, 1887, т. XIX, вып. 1, стр. 63)

4 Имеется в виду работа Бутлерова «Об изодибутилене, одном из видоизменений октилена» (Журнал Русского физико-химического общества, 1877, т. IX, вып. 1).

5 Первая научная работа Коновалова под названием «О прямом нитровании жирных углеводородов» напечатана на немецком языке в «Известиях Академии наук» («Ueber das unmittelbake Nitrieren einigen Kohlenwasserstoffe der Fettreihe». «Bulletin de l'Academie des Sciences de St. Pétersbourg», 1881, XXVII, № 1).

6 *Вагнер Егор Егорович* (1849—1903) — выдающийся русский химик, сотрудник А. М. Бутлерова и Н. А. Меншуткина. В 1875—1882 гг. — сотрудник в лаборатории Бутлерова, впоследствии профессор Варшавского университета.

7 Это утверждение Коновалова не соответствует фактам. В декабре 1878 г. Н. А. Меншуткин в Русском физико-химическом обществе выступил с докладом, направленным против бутлеровской теории химического строения. В свою очередь в

апреле 1879 г. с докладом «Современное значение теории строения» на заседании Русского физико-химического общества выступил Бутлеров. Временное затишье, наступившее вслед за этим в борьбе, продолжалось до 1884 г. В этом году вышли «Лекции органической химии» Меншуткина, а в следующем году статьи его, резко направленные против теории строения. Бутлеров немедленно ответил на атаку и в своей статье «Химическое строение и теория замещения» убийственно раскритиковал выдвинутую Меншуткиным теорию «замещения» (Г. В. Быков. Александр Михайлович Бутлеров. Очерк жизни и деятельности. М., Изд. АН СССР, 1961, стр. 199—203).

В сущности взгляды Меншуткина были попыткой протащить в науку идеалистические философские концепции, пропагандой непознаваемости всего, не поддающегося непосредственной проверке экспериментом. Подобные взгляды получили известное распространение в то время. Не случайно против них тогда же выступил Н. Г. Чернышевский. Блестяще защищая материализм, Чернышевский открыл статью «Характер человеческого знания» пародией на «натурфилософские умствования»:

«Есть руки у человека, у которого обе руки целы? — Есть.

— Так ли? — Так.

По-вашему, так. И по-моему так.

И продолжаем.

Сколько рук у того человека, у которого обе руки целы? — Две.

— Здравствуйте, господа. — Это вошел ученый, один из знакомых мне ученых. — О чем разговариваете?

— Да вот о том, что у человека, у которого обе руки целы, две руки.

— По-вашему это так?

— По-нашему это так.

— Вы ошибаетесь, господа. Это не так.

— Не так? То как же?

— Вот как: человеку, которому кажется, что обе руки у него целы, кажется, что у него две руки; и если б ему было известно, что у него есть руки, то у него было бы две руки; но есть у него руки или нет, это неизвестно ему и не может быть известно; ни ему, ни кому из людей. Мы знаем только наши представления о предметах, а самих предметов не знаем и не можем знать» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X, стр. 720).

Примечательно, что позднее, уже после смерти Бутлерова, Меншуткин, продолжая выступать против его теории строения, вынужден был в лекциях, читаемых студентам Университета, признавать, «что теория строения имела и имеет чрезвычайно важное значение» (Н. Меншуткин. Воспоминания об А. М. Бутлерове. Журнал Русского физико-химического общества, 1887, т. XIX, вып. 1, стр. 11).

[8] *Рицца Бенвенуто Францевич* (1858—1886) — ученик, впоследствии — с момента окончания физико-математического факультета в 1881 г. — ассистент и сотрудник Бутлерова. По свидетельству Н. А. Меншуткина, Рицца скончался от потрясения при известии о смерти Бутлерова.

[9] Д. И. Менделеев указывал: «В химии существует бутлеровская школа, бутлеровское направление ... У Бутлерова все открытия истекали и направлялись одною общею идеей. Она-то и сделала школу, она-то и позволяет утверждать, что его имя навсегда останется в науке. Это есть идея так называемого химического строения» (Д. И. Менделеев. Собр. соч., т. 15. М., 1949, стр. 295).

И. М. СЕЧЕНОВ

Профессорство в Петербургском университете (1876—1888)

Впервые напечатано в книге: И. М. Сеченов. Автобиографические записки. М., Изд. журнала «Научное слово», 1907, стр. 159—194. Печатается по книге: Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова. Редакция и предисловие Х. С. Коштоянца. М., Изд. АН СССР, 1945, стр. 146—149, 149—152, 153—154, 164.

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — физиолог, один из величайших в мире ученых-естествоиспытателей, «отец русской физиологии». Идейный последователь

Н. Г. Чернышевского. Главный его труд — «Рефлексы головного мозга» (1863) — получил всемирную известность.

Работа над «Автобиографическими записками» была закончена Сеченовым незадолго до смерти, в 1904 году.

[1] С 1871 г. Сеченов занимал кафедру в Новороссийском университете. Однако, несмотря на хороший прием профессуры (в особенности И. И. Мечникова, А. О. Ковалевского, Н. А. Умова) и на то, что Одесса нравилась Сеченову из-за одного только моря «в десять раз лучше» столицы, научные интересы влекли его в Петербург. Хлопоты Сеченова о переводе в Петербургский университет, начатые в марте 1875 г., завершились, благодаря активной поддержке Д. И. Менделеева (см. прим. 6), Ф. В. Овсянникова и А. Н. Бекетова, единодушным постановлением семнадцати членов ученого Совета физико-математического факультета Петербургского университета, принятым 20 февраля 1876 г.: «Просить Совет перед г. министром (министром народного просвещения был тогда реакционер Д. А. Толстой. — *Сост.*) о назначении проф. Сеченова сверхштатным ординарным профессором и об отпуске ему содержания из остатков от личного состава в размере оклада ординарного профессора».

[2] К чтению лекций в Университете Сеченов приступил 7 сентября 1876 г.

[3] Т. е. Марии Александровны Боковой (см. стр. 260), урожденной Обручевой. Формально брак Ивана Михайловича и Марии Александровны был заключен 8 февраля 1888 г. Венчание состоялось в Петербурге в Благовещенской церкви, на 8-й линии Васильевского острова. Имение жены Сеченова находилось в селе Клипенино Ржевского уезда Тверской губернии.

[4] *Ковалевская Софья Васильевна* (1850—1891) — выдающаяся представительница математической науки. Поскольку женщинам в России доступ к университетской науке был закрыт, обучалась математике за границей — в Гейдельбергском и Берлинском университетах (1870—1874). Ученица великого немецкого математика Вейерштрасса. С 1884 г. — профессор Университета в Стокгольме. С 1889 г. — член-корреспондент Академии наук в Петербурге. (Когда, однако, С. В. Ковалевская изъявила желание принять участие в работах математического отделения, императорская Академия отказалась допустить великую женщину на свои заседания).

С. В. Ковалевская поддерживала самые тесные связи с деятелями Парижской коммуны. Из беллетристических произведений С. В. Ковалевской особенно известны «Нигилистка» и «Воспоминания детства».

Муж С. В. Ковалевской — *Ковалевский Владимир Онуфриевич* (1842—1883) — крупнейший русский палеонтолог. Брак Ковалевских, вначале фиктивный, заключенный с целью дать возможность С. В. Ковалевской, дочери помещика — генерала Корвин-Круковского, освободиться от родительского деспотизма и начать учиться в Университете, — впоследствии стал фактическим.

[5] «В Петербурге, — пишет в другом месте Сеченов, — жила тогда большая компания родных: моя старшая сестра Анна Михайловна (любимица моей жены) с мужем Н. А. Михайловым, брат Рафаил с женой Екатериной Васильевной (урожденной Ляпуновой) и дочкой Наташей; два брата студента Ляпуновы (племянники Екат. Вас.), которых я знал еще детьми, и семья Крыловых: муж (Ник. Александр.), жена Софья Викторовна, сын Алексей (будущий моряк), свояченица Александра Викторовна и маленький воспитанник — француз Виктор Анри. Все это были простые, превосходные люди. Старики мирно доживали свой век, а молодежь училась с таким рвением и успехом, что все четверо стали известными деятелями науки. В настоящее время Алекс. Мих. Ляпунов — выдающийся математик и академик; брат его — Борис Мих. — профессор в Одессе и ученейший славист; Алексей Крылов — математик — изобретатель и кораблестроитель, Виктор Анри — известный физиолого-психолог. Из товарищей по Университету я сошелся всего ближе с милым, добрым Дм. Конст. Бобылевым, водил знакомство с семьей Анд. Ник. Бекетова, бывал у Дм. Ив. Менделеева, Фед. Фом. Петрушевского и проф. Поссе. Кроме того, познакомился с семьями Ал. Ник. Пыпина и Над. Вас. Стасовой» (Автобиографические записки И. М. Сеченова, стр. 149—150).

[6] Дружеские отношения Сеченова с Менделеевым (установившиеся еще в 1859 г. в Гейдельбергском университете, куда оба молодых ученых прибыли для выполнения своих научных работ) положили начало связи Сеченова с Петербургским университетом

(см.: П. Г. Терехов. И. М. Сеченов в С.-Петербургском — Ленинградском университете. «Вестник ЛГУ», 1954, № 7, стр. 62). Возникшая таким образом дружба с Менделеевым как представителем С.-Петербургского университета самым благотворным образом сказалась на всей последующей научной деятельности Сеченова.

Начало непосредственного участия Сеченова в жизни Петербургского университета относится к 1866 г. Снискавший уже к этому времени широкую известность научными работами в области физиологии и страстной борьбой за материалистическое мировоззрение, Сеченов пользовался горячей любовью студентов Университета. «Будучи приглашен гг. студентами Императорского С.-Петербургского университета прочесть в пользу бедных их товарищей две публичные лекции в залах университета. . . Сеченов с охотою согласился.

Для чтения лекций, разрешенных 1 февраля 1866 г., Сеченов выбрал тему: „О материальном существовании современного человека по отношению к основным условиям животной жизни". В 1869 г., в день своего пятидесятилетия, Петербургский университет избрал Сеченова в Почетные члены университета» (П. Г. Терехов, ук. ст. «Вестник ЛГУ», 1954, № 7, стр. 62—64). В следующем, 1870 г., связи Сеченова с Петербургским университетом еще более укрепились. Оставив Медико-хирургическую академию (в знак протеста против неуважения реакционным большинством ее профессуры научных заслуг И. И. Мечникова) и не получив разрешения министерства просвещения занять кафедру физиологии в Новороссийском университете, Сеченов обратился за помощью к Менделееву. Менделеев принял Сеченова в свою химическую лабораторию, предложил тему исследования, отвел комнату, снабдил химикатами и посудой. Утвержденный весной 1871 г. профессором Новороссийского университета, Сеченов при первом же известии об открывающейся в Петербургском университете вакансии вновь в марте 1875 г. обращается к Менделееву: «Ради бога, — писал Сеченов, — перетащите меня в Ваш Университет, чтобы я мог работать подле вас, петербургских химиков. При Вашей помощи я бы стал работать теперь по физиологической химии, вероятно, не без успеха, потому что у меня в руках уже множество капитальных вопросов. Здесь же всякая наука достается мне с большим трудом. Если бы паче чаяния меня захотели вернуть в Медицинскую академию, то имейте в виду, что туда я пошел бы лишь по необходимости, а к Вам с радостью» (Цит. по статье: Т. Волкова. Переписка И. М. Сеченова с Д. И. Менделеевым [К 110-летию со дня рождения И. М. Сеченова, 1829—1939]. «Природа», 1940, № 2, стр. 90—91).

А. А. Ухтомский в докладе «И. М. Сеченов в Петербургском — Ленинградском университете», прочитанном в декабре 1940 г., говорил: «У меня есть памятка, что в первое время по переезде в Петербург—Ленинград Иван Михайлович, не получивший еще самостоятельной площади для физиологической лаборатории, пользовался комнатой, которую ему дружески предложил у себя Д. И. Менделеев. Я старался разыскать, что это за комната. Это интересно старожилам Университета из исторического благоговения к его прошлому. Хотелось отметить эти комнаты. Пока это мне не удалось. Где-то в нижнем этаже главного здания, в бывшей менделеевской лаборатории была та комната, где И. М. Сеченов первоначально нашел приют у хозяина — Д. И. Менделеева» («Физиологический журнал СССР», 1954, № 5, стр. 534).

7 Политическая реакция в области просвещения, начавшаяся в конце 1870-х годов, нашла яркое воплощение в университетском уставе 1884 г., принятом в порядке реализации выдвинутой черносотенным министром просвещения Д. М. Деляновым программы борьбы с «революционной крамолой» в высших учебных заведениях России. Устав уничтожил автономию университетов, причем записка о проекте устава открыто формулировала главную причину реформы — страх перед растущим революционным движением студенчества. Полновластным хозяином Университета становился назначенный министром попечитель. Совет профессоров лишался всех прав, кроме права решения хозяйственных вопросов. Новый устав начисто уничтожал остатки сохранявшихся прав студентов. Каждый шаг студенческой жизни регламентировался полицейской и учебной инспекцией. Об уставе 1884 г. см. также стр. 296, 301.

8 Т. е. тайными агентами полиции.

9 Речь идет, по всей вероятности, о Н. Е. Введенском, оставившем следующую характеристику Сеченова-педагога: «Будучи сам строгим ученым, относясь всегда серьезно к задачам и оценке научных требований, он прививал эти качества и своим ученикам

вместе с преданностью делу экспериментальной разработки физиологических проблем. Он ставил идеал физиолога высоко; на то же указывал постоянно и своим ученикам, рекомендуя им пройти предварительно серьезную школу, в особенности, по химии и физике. Он часто говорил, что современный физиолог не может приступить к делу, вооружившись лишь ножом и пинцетом, и пуститься в поиски наудачу на живом животном. Физиологу необходимо всегда преследовать определенные и ясные задачи.

Другое свойство физиологической школы его заключалось в том, что он воспитывал в своих учениках способность к самостоятельной работе. Предложив какую-нибудь тему для исследования или предоставив работать на собственную тему, он не считал нужным, выражаясь его языком „стоять над душой" молодого работника, он не понуждал его идти постоянно по указке своего учителя... Особенно поучительны были беседы его с учениками по поводу производившихся ими работ. Здесь и задача опытов и методы исследования подвергались всестороннему и строгому обсуждению. В случаях разногласия между учителем и учеником эти беседы переходили иногда в горячие дебаты. Сам И[ван] М[ихайлович] обыкновенно с настойчивостью и даже страстностью отстаивал свою точку зрения; но в то же время он не стремился подавить своим авторитетом самостоятельность ученика, когда взгляды последнего становились даже в противоречие к его собственным, иногда дорогим для него воззрениям. Понятно, насколько такой обмен мнениями между учителем и учеником оказывался полезным и ценным для этого последнего, насколько он поднимал в последнем энергию и побуждал к всестороннему и серьезному изучению разрабатываемого вопроса. Пишущий эти строки не раз все это испытывал на себе и с глубокой благодарностью вспоминает о своем несравненном учителе» (Н. Е. Введенский. Иван Михайлович Сеченов. Некролог. СПб., 1906, стр. 25—26).

10 «Бестужевками» называли слушательниц женских курсов в Петербурге по имени их учредителя профессора истории К. Н. Бестужева. Сеченов называл Бестужевские курсы женским университетом. «Я читал на курсах то же самое и в таком же объеме, что и в Университете,— вспоминал ученый, — и, экзаменуя ежегодно и там и здесь из прочитанного, находил в результате, что один год экзаменуются лучше студенты, а другой — студентки. Помню даже, что за все мое более чем сорокалетнее профессорство самый лучший экзамен держала у меня студентка, а не студент» (Автобиографические записки И. М. Сеченова, стр. 147).

11 В действительности Н. Е. Введенский принимал самое активное участие в революционной пропаганде, за что провел в тюрьме более трех лет. За революционно-демократическую деятельность подвергались репрессиям и другие талатливые ученики Сеченова: Г. В. Хлопин, С. С. Салазкин, Б. Ф. Вериго.

12 *Толстой Дмитрий Андреевич* (1823—1889) — граф, ярый реакционер. В 1861 г. исполнял должность директора департамента народного просвещения; в 1865—1880 гг.— обер-прокурор Синода; одновременно в 1866—1880 — министр просвещения; в 1880—1889 гг. — министр внутренних дел.

13 О профессоре О. Ф. Миллере см. стр. 300.

14 О профессоре И. В. Ягиче см. стр. 302.

15 *Овсянников Филипп Васильевич* (1827—1906) — физиолог и гистолог, академик. Профессор кафедры физиологии Петербургского университета в 1863—1892 гг. Основатель физиологического кабинета в Петербургском университете.

16 Ср. у Т. Г. Шевченко:

Во дни фельдфебеля-царя
Капрал Гаврилович Безрукий (т. е. Д. Г. Бибиков.— *Сост.*)

Та унтер пьяний Долгорукий
Украйну правили. Добра
Таки чимало натворили
Оці сатрапи — ундіра.

(Тарас Шевченко. Повне зібр. творів., т. II. Київ, АН УРСР, 1952, стор. 276).

[17] Лишь 4 декабря 1904 г., за год до смерти ученого, императорская Академия наук «сочла за особое удовольствие» избрать Сеченова почетным членом Академии. В ответ на извещение об избрании почетным академиком Сеченов 7 января 1905 г. направил в Академию следующее благодарственное письмо:

«Приношу глубокую благодарность за оказанную мне высокую честь.

Москва, 7 января 1895 года. И. Сеченов».

Комментируя этот выразительный документ, X. С. Коштоянц писал: «Читатель видит, что письмо датировано Сеченовым не 1905, а 1895 годом.

Какая многозначительная ошибка! И было ли это ошибкой?

Поздно, слишком поздно признала великого русского ученого императорская Академия наук» (X. С. Коштоянц. И. М. Сеченов. 1829—1905. М., 1950, стр. 173).

[18] «Другой граф» — И. Д. Делянов.

[19] Сеченов был одним из самых выдающихся преподавателей, каких знала история высшей школы дореволюционной России.

Замечательный советский физиолог А. Ф. Самойлов, начинавший помощником Сеченова в лаборатории Московского университета, писал о своем великом учителе: «Необыкновенно счастливо сочетались в нем те дары, которые образуют лекторский талант. При всем том... он не был трибуном, он никогда не повышал голоса, чтобы интонациями нарастания поднимать настроения слушателей, бить на их чувство. Он был исключительным лектором, который излагал свою книгу. Он читал спокойно и ровно. В стройном сочетании кратких, метких, сильных фраз текла его речь. Необыкновенно четкой была его дикция. Слова, произносимые им, вылетали удивительно остро отточенными, вычеканенными, и это делалось само сомой, без всякого умысла. Очевидно, его голосовой аппарат со всеми его придатками резонансных частей и придатками для согласных звуков был особенно удачно построен. Удивителен был его голос: звонкий, чуть-чуть резкий, высокого баритонного характера. И[ван] М[ихайлович] никогда во время лекции не напрягал своего голоса, он говорил также спокойно, как и во время обычного разговора, а между тем голос разносился и наполнял всю большую аудиторию.

С этой красотой дикции хорошо сочеталась и особенность его речи. Он был вообще мастером речи. Он знал отлично три иностранных языка, говорил по-немецки и по-французски с безукоризненным произношением. Что же касается его русского языка, то многие места из его популярных статей и речей заслуживают того, чтобы быть внесенными в хрестоматии наряду с отрывками наших лучших писателей и беллетристов. Он дал образцы исключительного изящества русского научного языка. Язык Сеченова отличается образностью и какой-то особенно сильной меткостью, хочется сказать, каким-то здоровьем: в нем чувствуется что-то от силы деревни, ее полей и лесов. Кое-какие старомодные обороты, как, например: „по колику — по толику", „на сей конец и др., придавали какой-то особенный привкус его мастерской русской речи.

Но лекторское дарование И[вана] М[ихайловича] заключалось, конечно, не только в дикции и не в изяществе сеченовского языка, а в силе и особенной убедительности сеченовской логики. Его логика порабощала слушателя. С первых же слов его в аудитории воцарялась мертвая тишина. Спокойно льется эта прекрасная отчетливая речь, и одна мысль нанизывается на другую с неумолимой всепокоряющей логикой. Студенты не раз говорили мне, что записывать лекции Сеченова нельзя, — жалко. И это правда; жалко было растрачивать свое внимание на труд поспешного записывания и терять целостность впечатления и наслаждения, которые давали эти лекции. Сеченов говорил необыкновенно убедительно; все его выводы из показанных и рассказанных опытов казались понятными сами собой. Он иногда во время лекции выходил из-за стола, останавливался у кого-нибудь из слушателей в первом ряду и как бы беседовал с ним, стараясь и словами, и жестами как бы убедить его в чем-то. Он во время лекции слегка жестикулировал, причем жесты его были и своеобразны, и выразительны; в руках его, когда он и не жестикулировал, в их позе, когда они лежали спокойно, было много характерного, что прекрасно выразил Репин в своем великолепном портрете И[вана] М[ихайловича], находящемся в Третьяковской галерее» (А. Ф. Самойлов. Избранные статьи и речи. М., 1946, стр. 45—47).

[20] За время профессорства в Петербургском университете Сеченовым была создана блестящая физиологическая школа, представленная такими именами, как Н. Е. Вве-

денский, В. П. Михайлов, Б. Ф. Вериго, С. С. Салазкин, Г. В. Хлопин, Н. Г. Ушинский, Н. П. Кравков, А. А. Кулябко, Ф. Е. Тур и другие.

[21] Лишь после долгих мытарств, в 1891 г., Сеченов получил место профессора физиологии Московского университета.

И. ЗАЙЦЕВСКИЙ

* Слово о Лесгафте

Печатается по публикации в сборнике «Памяти Петра Францевича Лесгафта». [СПб.], Изд. газеты «Школа и жизнь», 1912, стр. 166—171, 172—173. Воспоминания И. Зайцевского написаны в 1910 г.

Лесгафт Петр Францевич (1837—1909) — крупнейший русский педагог, анатом и врач. Воспитанник Петербургской медико-хирургической академии. В 1886—1897 гг. — приват-доцент анатомии Петербургского университета. Видный общественный деятель, Лесгафт преследуется царским правительством; так, за критику действий правительства он был уволен в 1871 г. из Казанского университета, в котором преподавал с 1868 г. В 1872—1874 гг. Лесгафт руководит анатомическими занятиями первых русских женщин-врачей, впоследствии организует широко известные лесгафтовские курсы. В созданной им системе физического воспитания утверждается принцип единства умственного и физического развития.

[1] *Докучаев Василий Васильевич* (*1846—1903*) — крупнейший русский ученый, создатель научного почвоведения, воспитанник, а впоследствии профессор Петербургского университета.

[2] «Не одна, конечно, внешняя сторона преподавания влекла на его лекции слушателей. Его лекции отличались занимательностью и глубиной содержания», — вспоминает бывший студент Лесгафта (С. Листов. Памяти П. Ф. Лесгафта. Сб. «Памяти Петра Францевича Лесгафта», 1912, стр. 210).

[3] Н. А. Морозов, приглашенный после 25-летнего заключения в Шлиссельбурге читать в организованной Лесгафтом Вольной высшей школе аналитическую химию, вспоминал: «Понятно, что, неумолимый в научных делах к себе, он был требователен и к другим, и как директор Вольной высшей школы лично следил за исправностью чтения всех лекций, а в случае чьего-либо запоздания непременно делал при первом же свидании сначала ласковое, а потом более серьезное замечание. В первый же месяц после начала моих собственных лекций, когда я жил еще далеко, на Гончарной улице, такому замечанию подвергся и я по причине запоздания минут на семь благодаря конке, заменявшей тогда в Петербурге трамваи. Едва пришел я на другой день после этого, как при самой встрече услышал от него слова:

— А вчера вы, Н[иколай] А[лександрович] запоздали на лекцию, запоздали!

— Но зато я и окончил ее на четверть часа позднее!

— Знаю, знаю. Но слушателей своих все же заставили поджидать себя и приучаться к неаккуратности! А ведь их много, и каждому пришлось потерять это время, уже лучше нам самим приходить несколько раньше, чтобы одному ждать всех, чем всем одного!» (Н. Морозов. Памяти заботливого друга. Сб. «Памяти Петра Францевича Лесгафта», стр. 177).

[4] «Чтобы понять строение человеческого тела, он призывал на помощь все науки, начиная от гистологии и кончая механикой. Да, эта косточка так вот устроена и расположена, и иначе быть не может, потому что таково-то свойство клетки, так-то действует закон тяжести или диффузии, так-то должен действовать этот рычаг в предназначенной ему работе... С другой стороны, он привлекал к пониманию строения человеческого тела всю жизнь со всеми нормальными проявлениями и уродливыми от них отклонениями. Этот вот мускул имеет такой-то вид, потому что это мускул танцовщицы, а этот такой-то, потому что это мускул молотобойца; эта кость имеет такой-то цвет и такую-то твердость, потому что человек питался мясом, а эта кость иная, потому что она принадлежит человеку, который мяса в своей жизни почти не видел...» (А. Пешехонов. Памяти П. Ф. Лесгафта. Сб. «Памяти Петра Францевича Лесгафта», стр. 192—193).

[5] «Он жил в то время на Фонтанке в доме 18. Это была маленькая квартирка во дворе в несколько комнат. В самой большой из них происходило чтение лекций... Попасть на домашние курсы к Петру Францевичу было очень трудно. Приходилось записываться чуть ли не за год. Чтение лекций происходило или вечером или рано утром от 7—7½ часов» (С. Метальников. Петр Францевич Лесгафт. Биографический очерк. Сб. «Памяти Петра Францевича Лесгафта», стр. 50).

[6] Замечателен отзыв В. Фигнер о Лесгафте. Фигнер занималась у него в Казани в 1871 г. В том же году Лесгафт был изгнан из Казанского университета. Вновь встретился он со своей ученицей уже после ее длительного тюремного заключения. Вера Фигнер пишет: «частица души его перешла в мою душу. Он дал мне образ человека науки и вместе с тем общественного деятеля. Он научил любить свое дело и всецело отдаваться ему... Честь ему, любовь и слава!» (Вера Фигнер. Две встречи с П. Ф. Лесгафтом. Сб. «Памяти Петра Францевича Лесгафта», стр. 153).

[7] Лесгафт умер в Каире, куда отправился для лечения.

Д. БЛАГОЕВ

* Первые социал-демократы

Печатается по первой публикации в книге: Д. Благоев. Мои воспоминания. М.—Л., 1928, стр. 22—39.

Благоев Дмитрий Николаевич (1855—1924) — организатор одной из первых в России социал-демократических групп (1883—1885), основатель и вождь болгарской революционной партии «тесняков», преобразованной в 1919 г. в Болгарскую Коммунистическую партию.

[1] Д. Н. Благоев в 1878—1880 гг. учился в Одессе, в духовной семинарии. В 1880 г. Д. Н. Благоев переехал в Петербург и стал вольнослушателем естественного отделения физико-математического факультета Университета, а после сдачи экзамена на аттестат зрелости, в 1881 г., был принят в действительные студенты. Через два года он перешел на юридический факультет.

[2] В. Г. Харитонов осенью 1882 г. перешел в Петербургский университет из Казанского университета. Он вспоминал о своем знакомстве с Д. Н. Благоевым: «Сперва я зачислился на математический факультет, а потом перешел на юридический. Время было все еще глухое, но петербургское студенчество было гораздо живее казанского. Студенческие интересы переплетались с политическими, большую роль играли землячества, которые поддерживали связь между всеми высшими учебными заведениями Петербурга. Получалась внушительная сила, которой при каждом удобном случае пользовались политические агитаторы... В те годы сильно распространены были кружки самообразования. Читали новые книжки журналов, статьи по социологии, по политической экономии; в большом ходу были „Исторические письма" Миртова [псевдоним П. Л. Лаврова. — *Сост.*], изъятые из обращения, а также нелегальная литература, которая прочитывалась по мере добывания, вне очереди. Здесь (в кружках) завязывались прочные знакомства, происходили группировки „сочувствующих" элементов, здесь же пополнялись кадры активных революционеров. К этому времени относится начало моего знакомства в одном из таких кружков с членами будущего первого социал-демократического кружка. Это были Василий Ефимович Благославов и Дмитрий Николаевич Благоев» (В. Харитонов. Из воспоминаний участника группы Благоева. «Пролетарская революция», 1928, № 8 (79), стр. 152—153).

[3] Габрово — город в Болгарии.

[4] «Народная воля» — газета, нелегально издававшаяся в Петербурге с октября 1879 по октябрь 1885 гг. Являлась органом тайного революционно-народнического общества «Народная воля».

[5] Газета «Земля и воля» — орган тайного революционно-народнического общества «Земля и воля» — нелегально издавалась в Петербурге с октября 1878 по апрель 1879 гг.

[6] «Черный передел» — газета, издававшаяся одноименной революционной народнической группой за границей и в России.

[7] «Вперед» — журнал, основанный одним из видных представителей народничества П. Л. Лавровым, выходил с 1873 по 1877 гг. вначале в Цюрихе, затем в Лондоне.

[8] В Петербургскую марксистскую группу, основанную Д. Н. Благоевым и назвавшую себя «Партией русских социал-демократов», входили врач П. А. Латышев, вольнослушатель Петербургского университета В. Е. Благославов, студент Петербургского университета Б. Г. Харитонов, инженер-технолог П. П. Шатько, выпускник Лесного института князь В. А. Кугушев и др. Члены группы вели пропаганду марксизма в студенческих и рабочих кружках. Сам Д. Благоев вел пропагандистскую работу под именем Петра Егорова.

[9] За революционную деятельность Д. Н. Благоев был в последних числах февраля 1885 г. арестован и 16 марта того же года как иностранный подданный выслан из России.

С. А. ЖЕБЕЛЕВ

* Alma mater

Печатается по первой публикации в журнале «Анналы», 1922, т. II, стр. 168—187.

Жебелев Сергей Александрович (1867—1941) — академик, заслуженный деятель науки, крупнейший советский историк античности и археолог. Воспитанник, с 1899 г. — доцент, с 1904 г. — профессор Петербургского университета. Глубокий исследователь античности, автор свыше 300 научных работ, Жебелев в 1927 г. был избран в Академию наук СССР. Во время Великой Отечественной войны Жебелев отказался покинуть осажденный Ленинград и возглавил руководство всеми ленинградскими учреждениями Академии наук. Погиб в период блокады Ленинграда 28 XII 1941 г.

[1] Реакционный устав 1884 г. подготовлялся в течение многих лет, практически — со времени введения устава 1863 г., против которого мракобесы начали «поход... под прикрытием благонамеренности» (К. Муций Сцевола [О. М. Бодянский]. Трилогия на трилогию. Исторический очерк из современной жизни русского Университета. ЧОИДР, 1873, кн. 1, отд. V, стр. 289). Поход этот и закончился введением нового устава в 1884 г., который особенно больно ударил по историко-филологическим факультетам, в сущности превращавшимся в «школу» древних языков с некоторым добавлением истории и литературы. Как образно писал О. М. Бодянский, «успокоения» студентов реакция пыталась «достигнуть через классическое образование и розги» (там же, стр. 354). Устав резко усилил правительственный контроль за университетами и особенно за общественной самодеятельностью студентов. Выборность профессуры была отменена. Отныне Университет подчинялся непосредственно попечителю учебного округа и министру. Эти два лица назначали профессоров, деканов и ректора Университета. Правительство, точнее министерство, по отношению к университетам получило возможность действовать «прямым начальническим путем» (С. В. Рождественский. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. СПб., 1902, стр. 484, 485, 615—619). От поступающих в Университет непременно требовали гимназического или полицейского свидетельства о «благонадежности» (Правила для студентов... С.-Петербургского университета. СПб., 1884, стр. 2). Какие-либо студенческие собрания, студенческие читальни, столовые и даже танцевальные вечера безусловно воспрещались. В уставе подчеркивалось, что студент — это «отдельный посетитель» Университета. Значительно была повышена и плата за обучение. Все это в совокупности привело к постепенному сокращению числа студентов. Так, в 1890 г., например, в Университете обучалось 1815 студентов, в то время как в 1885 г. — 2340 человек.

[2] *Георгиевский Александр Иванович* — чиновник министерства народного просвещения, один из вдохновителей реакционной реформы просвещения в России.

[3] 1 марта 1881 г. был убит Александр II.

[4] «...из 18 часов...» — обмолвка. Речь идет о двухчасовых лекциях, т. е. о 36 часах в неделю из расчета 6 академических часов ежедневных занятий.

[5] Студенческая форма, отмененная уставом 1863 г., была вновь восстановлена в 1885 г. с целью облегчить наблюдение за поведением студентов.

[6] *Люгебиль Карл Якимович* (1830—1887) — антиковед. Воспитанник, а с 1859 г. — магистр Петербургского университета. С 1864 г. — доцент, а с 1868 г. — профессор кафедры классической филологии. В 1886 г. вышел в отставку.

[7] *Никитин Петр Васильевич* (1849—1916) — антиковед. С 1883 г.— профессор, с 1900 — декан историко-филологического факультета Петербургского университета.

[8] *Зелинский Фаддей Францевич* (1859—1944) — антиковед, с 1884 — доцент, с 1890 г.— профессор Петербургского университета. Автор работ по античной археологии и эпиграфике.

[9] *Латышев Василий Васильевич* (1855—1921) — академик, антиковед. Воспитанник, с 1884 г.— доцент, с 1887 — профессор Петербургского университета. В 1890 г. перешел в Казанский университет.

[10] *Соколов Федор Федорович* (1841—1909) — антиковед. Воспитанник, с 1867 г.— доцент, с 1884 г.— профессор Петербургского университета.

[11] *Замысловский Егор Егорович* (1841—1896) — воспитанник, в 1884—1890 гг.— профессор историко-филологического факультета Петербургского университета. Автор работ по русско-шведским отношениям.

[12] *Владиславлев Михаил Иванович* (1840—1890) — реакционный философ-идеалист, с 1868 г.— профессор, с 1887 г.— ректор Петербургского университета.

[13] Согласно статье 129 Устава 1884 г. «с каждого студента и постороннего слушателя взимается за слушание лекций и за участие в практических занятиях: а) в пользу университета — по пяти рублей за каждое полугодие и б) особая плата в пользу отдельных преподавателей, лекциями и руководством которых студент желает пользоваться, в размере применительно к норме одного рубля за недельный час в полугодие» (III ПСЗ, т. IV, 1884, № 2404).

[14] Система гонораров заимствована составителями устава 1884 г. из уставов немецких университетов «для большего поощрения профессоров и учащихся».

[15] *Тураев Борис Александрович* (1868—1920) — академик. Историк Древнего востока. В 1891 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, с 1902 г. был его профессором.

[16] Автор неточно оценивает последствия введения устава 1884 г. на историко-филологическом факультете. Несомненно, в большей части профессора факультета остались «стойкими борцами за истинно научное знание». Особенно это относится к антиковедам, так как еще с 70-х годов XIX в. «русская буржуазная эллинистика характеризуется... рядом особых черт, которые не только обеспечили ей выдающуюся для своего времени роль, но и обусловили известную преемственность между ней и советской наукой» (А. И. Тюменев. Изучение истории Древней Греции в СССР за сорок лет (1917—1957 гг.). Вестник древней истории, 1957, т. 3, стр. 28). Но в целом на системе высшего образования Устав 1884 г. отразился очень тяжело. Неслучайно А. П. Чехов героем своего знаменитого рассказа «Человек в футляре», написанного в 1898 г., делает преподавателя греческого языка. «Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык!— говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил:— Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь» (А. П. Чехов. Собр. соч., т. 8, стр. 286). Задача создания именно такого типа интеллигента, который вечно боится «как бы чего не вышло», и стояла перед составителями Устава 1884 г. Характеризуя высших правительственных чиновников России той поры, В. И. Ленин писал: «они подозрительно относятся ко всем, кто не похож на гоголевского Акакия Акакиевича или, употребляя более современное сравнение, на человека в футляре» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 327).

[17] С. Ф. Платонов, слушавший Люгебиля в 1878 г., пишет: «Когда-то славный, Люгебиль в наше время был уже развалиной. Хромой, глухой, слепой и безголосый, он

еле брел в аудиторию с костылем и слуховой трубкой, просил придвигать свое кресло вплотную к студенческим партам и сиплым шепотом читал Фукидида» (С. Платонов. Несколько воспоминаний о студенческих годах. «Дела и дни. Исторический журнал». 1921, кн. 2, стр. 107).

18 *Ернштедт Виктор Карлович* (1854—1902) — академик, русский филолог. Воспитанник, с 1884 г.— профессор Петербургского университета по кафедре греческой словесности. Ученик К. Я. Люгебиля.

19 Victoris Ernstedt Opuscula. СПб., 1909.

20 *Помяловский Иван Васильевич* (1845—1906) — воспитанник, с 1869 г. — магистр римской словесности, с 1873 г.— профессор, с 1887 г.— декан историко-филологического факультета Петербургского университета.

21 «Жебелев часто говорил о себе: „Я фактопоклонник". Он испытывал чувство благоговения перед историческим фактом... но отнюдь не переоценивал их» (А. Мишулин. С. А. Жебелев в русской науке по древней истории. «Исторический журнал», 1944, № 1, стр. 75). Большое внимание к фактам даже незначительным и тщательное их изучение представляет важнейшую особенность соколовской школы. Жебелев решительно возражал против того, будто Соколов «во всей своей ученой деятельности стремился только к одному: устанавливать факты и влагать эти факты в определенные для них хронологические рамки» (там же). Противники Соколова изощрялись и в сатирах на его «фактопоклонничество». Например, пресловутый Мережковский в поэме «Вера»:

И зашептал уныло числа, числа, числа.
История без образов, без лиц,
Ряды хронологических таблиц...

«Далеко не так! — восклицает Жебелев. — Ф. Ф. (Соколов. — *Сост.*) заявляет: „история обнимает всю прошедшую жизнь человечества во всех без исключения ее проявлениях"» (С. А. Жебелев. Ф. Ф. Соколов. ЖМНП, 1909, № 9, стр. 53). «Факты нужно не только знать, но и понимать их»,— говорил Жебелев, указывая на разницу между формальным подходом к науке и Соколовской школой творческого изучения истории (см.: А. Мишулин, ук. ст. «Исторический журнал», 1944, № 1, стр. 75).

Внимание к историческим деталям не раз приводило Соколова и его учеников к первоклассным открытиям. Так, автору мемуаров новый смысловой анализ текста херсонесской надписи в честь полководца Диафанта дал возможность установить факт восстания Савмака,— первого восстания угнетенных против их угнетателей в античных колониях на территории СССР.

22 *Кареев Николай Иванович* (1850—1931) — академик, русский историк и публицист буржуазно-либерального направления. Профессор Петербургского университета, с 1910 г.— член-корреспондент Петербургской Академии наук. В 1929 г. избран почетным членом Академии наук СССР.

23 Семестровые зачеты введены Уставом 1884 г.

24 Тейбнер — издательская и книготорговая фирма в Лейпциге, основанная в 1824 г. С 1849 г. издает серию академических текстов греческих и римских авторов (упоминаемых Жебелевым).

25 *Кулаковский Юлиан Андреевич* (1855—1920) — историк, византиновед. Профессор Киевского университета.

И. Э. ГРАБАРЬ

* Университетские лекции

Впервые — Игорь Грабарь. Моя жизнь. Автомонография. М.—Л., Изд. «Искусство», 1937, стр. 65, 70—74. Печатается по указанному изданию

Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) — академик, советский художник, искусствовед и деятель в области охраны и реставрации памятников искусства. После окончания Катковского лицея в Москве Грабарь поступает в 1889 г. на юридический факультет Петербургского университета. Выбор Петербурга объяснялся желанием «быть поближе к Академии художеств» (И. Грабарь. Моя жизнь, стр 64). И хотя

автор отмечает, что Петербургский университет не был его «настоящим, главным Университетом»(там же, стр. 68), пребывание на юридическом факультете и в особенности внимание к наукам историко-филологического цикла благотворно повлияли на последующую деятельность И. Э. Грабаря. После окончания Университета Грабарь с 1894 г. продолжил образование в Академии художеств.

[1] *Георгиевский Павел Иванович* (1857—1919) — воспитанник юридического факультета, с 1888 г. — профессор Петербургского университета по кафедре политической экономии.

[2] *Грингмут Владимир Андреевич* (1851—1907) — директор Катковского лицея в Москве; в 1896—1907 гг.— редактор-издатель реакционных «Московских ведомостей»; черносотенец, один из основателей «Союза русского народа».

[3] *Бершадский Сергей Александрович* (1850—1896) — правовед, с 1878 г.— преподаватель, с 1884 г.— профессор истории и философии права.

[4] Наиболее ценным исследованием Бершадского является его докторская диссертация «Литовские евреи. История их юридического и общественного положения в Литве. 1388—1569». СПб., 1883, с двумя томами документов в приложениях.

[5] *Коркунов Николай Михайлович* (1853—1904) — юрист, воспитанник, с 1889 г. — профессор государственного права Петербургского университета.

[6] *Градовский Александр Дмитриевич* (1841—1889) — юрист, с 1868 г.— профессор кафедры государственного права в Петербургском университете. Создатель системы буржуазной науки государственного права.

[7] *Дювернуа Николай Львович* (1836—1906) — юрист, воспитанник Московского университета; с 1882 г.— профессор Петербургского университета.

[8] *Сергеевич Василий Иванович* (1883—1921) — юрист. Воспитанник и преподаватель Московского университета. Защитив в 1872 г. докторскую диссертацию, перешел на кафедру истории русского права Петербургского университета.

[9] *Мартенс Федор Федорович* (1845—1909) — юрист, дипломат и историк международных отношений. Воспитанник, а с 1873 г.— профессор юридического факультета Петербургского университета. Участник разработки многих международных конвенций, президент Европейского Института международного права, постоянный член Гаагского арбитража и т. п. Мартенс издал ценнейшие источники по истории международных отношений России: «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с другими иностранными державами».

[10] *Васильевский Василий Григорьевич* (1838—1899) — академик, византиновед; воспитанник Петербургского университета, впоследствии профессор кафедры истории средних веков.

[11] *Кондаков Никодим Павлович* (1844—1925) — академик, известный русский историк, византиновед и археолог. С 1887 г.— профессор Петербургского университета, в 1917 г. эмигрировал.

Н. Я. МАРР

Из автобиографии

Впервые напечатано в журнале «Огонек», 1927, № 27(223). Печатается по книге: Н. Я. Марр. Вопросы языка в освещении яфетической теории. Л., ГАИМК, 1933, стр. 12—16.

Марр Николай Яковлевич (1864—1934) — академик. Выдающийся советский лингвист и археолог. Воспитанник, а с 1909 г.— профессор Петербургского университета. Создатель так называемого «нового учения о языке», подвергнутого критике в языковедческой дискуссии 1950 г.

По окончании в 1884 г. Кутаисской гимназии Н. Я. Марру была назначена кавказская стипендия для поступления в Петербургский университет. Постановление педагогического совета гимназии о награждении Марра золотой медалью гласило, что он «обещает быть в будущем одним из лучших студентов восточного факультета» (В. А. Миханкова. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности, изд. 3-е. М.—Л., Изд. АН СССР, 1949, стр. 18).

[1] В действительности Н. Я. Марр записался на четыре разряда факультета и изучал 12 языков одновременно (В. А. Миханкова. Н. Я. Марр, стр. 19).

[2] *Розен Виктор Романович* (1849—1908) — академик. Известный русский востоковед — иранист и арабист. Воспитанник, с 1883 г.— профессор, в 1897—1902 гг.— декан Восточного факультета Петербургского университета.

[3] Раскопки в Ани Марр начал вести в 1892 г.

[4] Для этого Марр полагал необходимым начать издание грузинского общественно-политического журнала. «Еще во время студенчества (1884—1888 гг.) школьные товарищи: Н. Я. Марр, Д. В. Кутателидзе и пишущий эти строки условились по окончании университета приступить к изданию грузинского журнала» (Я. Лордкипанидзе. Из воспоминаний о Н. Я. Марре. «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1935, № 3—4, стр. 186).

[5] Речь идет о профессоре А. А. Цагарели (см.: В. А. Миханкова. Н. Я. Марр, стр. 24, 36, 42, 86, 103).

Цагарели Александр Антонович (1844—1908) — востоковед. Воспитанник, а с 1886 г.— профессор армянской и грузинской словесности Петербургского университета.

[6] *Патканов Керопе Петрович* (1833—1889) — востоковед-арменист. Профессор Петербургского университета с 1870 г. Исследователь Ванской клинописи.

[7] В 1890 г. Марр сдал магистерские экзамены, а в 1891 г. был утвержден приват-доцентом восточного факультета.

[8] Против дипломной работы Марра «Историко-литературный обзор грузинских повестей, написанных в прозе в XI и XII веках» выступил А. А. Цагарели. Все же, благодаря защите проф. В. Р. Розена, работа была принята и даже удостоена серебряной медали (см.: В. А. Миханкова. Н. Я. Марр, стр. 32—33).

А. Н. БЕКЕТОВ

Характеристика студентов, особенно петербургских

Публикуется впервые по черновой рукописи А. Н. Бекетова, относящейся к 1877 году (Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 9, лл. 1—8).

Об А. Н. Бекетове см. наст. изд. стр. 12—13, 125—130, 280—281.

[1] Министр просвещения граф Д. А. Толстой, ярый реакционер, в 1871 г. утвердил новый гимназический устав. Реальные гимназии были преобразованы в училища, не дававшие права поступления в университеты. В классических гимназиях основной упор в обучении делался на древние языки.

[2] Бекетов неоднократно подчеркивает нежелательность приема в Университет выпускников семинарий. Отупляющая бессмыслица богословских «наук», изучение церковной догматики и правил богослужения находились в вопиющем противоречии с подготовкой, необходимой для поступления в Университет. Однако удар наносится Бекетовым не столько по «бывшим семинаристам», сколько по реакционной правительственной политике, покровительствовавшей приему в Университет выпускников духовных училищ.

В. В. ВЕРЕСАЕВ

В студенческие годы

Впервые отдельные главы воспоминаний печатались в сборнике «Недра», 1925, № 8; 1927, №№ 10, 11. Печатается по книге: В. Вересаев. Воспоминания. Собр. соч. в пяти томах. М., 1961, т. 5, стр. 196—197, 204—206, 241—243, 253—254, 262—264, 273, 278—282, 286.

Вересаев Викентий Викентьевич (1867—1945) — русский советский писатель. По образованию врач. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1884—1889), затем — медицинский факультет Дерптского университета. Позднее целиком занялся литературным творчеством.

Воспоминания Вересаева — материал большой исторической и художественной ценности. Рассказывая о Петербургском периоде своей студенческой жизни, автор

«раскрывает в книге свой внутренний мир, показывает... рост ненависти к самодержавию» (А. Ф. Симоненко. В. В. Вересаев. Тула, 1956, стр. 105). Широкие обобщения эпохи передаются в воспоминаниях с изображением типических характеров, фактов, в которых автор подмечает даже мельчайшие черточки, увиденные глазом тонкого наблюдателя и активного участника событий. Эти черточки характеров и детали эпохи Вересаев отбирал чрезвычайно строго и тщательно. Работая над мемуарами много лет, на склоне жизни, писатель стремился отразить в них только то, что, по его мнению, «действительно имело общественное значение и заслуживало обнародования» (Г. Бровман. В. В. Вересаев. Жизнь и творчество. М., 1959, стр. 317).

К работе над книгой воспоминаний Вересаев привлекает и свои дневники, и корреспонденцию тех лет, и многочисленные документальные материалы. Все это позволило писателю воссоздать в значительной степени объективную картину как своей жизни в университетские годы, так и окружавшей его общественной обстановки.

1 *Веселовский Александр Николаевич* (1838—1906) — русский буржуазный историк литературы — академик. С 1896 г.— профессор историко-филологического факультета Петербургского университета.

2 *Андреевский Иван Ефимович* (1831—1891) — русский буржуазный юрист. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1852 г. Впоследствии профессор, а в 1883—1887 гг.— ректор Университета. В 1887 г. вынужден был оставить Университет в связи со студенческими волнениями.

3 См. воспоминания С. А. Жебелева, стр. 177—178.

4 *Миллер Орест Федорович* (1833—1889). Воспитанник (1851—1855), а с 1870 по 1887 гг.— профессор историко-филологического факультета Петербургского университета. Резкая критика магистерской диссертации Миллера Добролюбовым является справедливой лишь отчасти.

5 Статья Добролюбова, посвященная разбору диссертации Миллера, помещена в «Современнике» за 1858 г. № 10. Отрывки из нее Вересаев цитирует неполностью.

6 О студенческом научно-литературном обществе, см. стр. 304.

7 Миша — старший брат Вересаева, М. В. Смидович, в описываемый период студент Горного института.

8 *Бестужев-Рюмин Константин Николаевич* (1829—1897) — профессор русской истории Петербургского университета (1865—1884), академик, учредитель так называемых «Бестужевских» высших женских курсов, основанных в 1878 г.

9 В. И. Семевский — русский историк народнического направления. В 1882—1886 гг. читал в Петербургском университете факультативный курс, запрещенный Деляновым. См. стр. 301.

10 «Университетской наукой занимался я без любви, — пишет о третьем годе своего студенчества Вересаев,— усердно посещал только Васильевского и Прахова. На экзамены часто шел, не зная экзаменатора в лицо. Но деятельно и с увлечением участвовал в разнообразнейших студенческих кружках, лихорадочно живя в напряженной атмосфере самых острых общественных, экономических и этических вопросов» (В. В. Вересаев. Автобиографическая справка. В кн.: Советские писатели. Автобиографии в двух томах, т. 1. М., 1959, стр. 230).

11 Объявлявшие себя «социалистическими» многочисленные религиозные общины, упоминаемые Вересаевым, являлись на деле мелкобуржуазными. Сектантство, с его наивно-патриархальными попытками строительства социально-экономических отношений «по божьей правде», на общинных началах, преследуемое царизмом, привлекало к себе сочувственное внимание народничества. На деле «общинные» сектантские хозяйства быстро дифференцировались и превращались в типично кулацкие.

Выродившееся в идеологию кулачества народничество 80—90-х годов переживало смертельный кризис. Уже Г. В. Плеханов серией блестящих работ показал, что всякие надежды на путь к социализму через крестьянскую общину совершенно несостоятельны, ибо они игнорируют бурное развитие капитализма в России, ставшее непреложным фактом. Но только В. И. Ленин раскрыл подлинную природу эволюции народничества от 60-х к 90-м годам XIX в. Он указывал, что «из политической программы, рассчитанной на то, чтобы *поднять крестьянство* на социалистическую револю-

цию *против основ современного общества* — выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, „улучшить", положение крестьянства *при сохранении основ современного общества»* (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 246—247).

[12] Устав 1884 г. запрещал устройство студенческих столовых, как мест возможного общения студентов между собой.

[13] Подробнее о народовольческом покушении на Александра III в 1887 г. см. в воспоминаниях А. И. Ульяновой-Елизаровой и И. Н. Чеботарева (стр. 208—216, 221—224).

А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА

*** Студенческие годы А. И. Ульянова**

Печатается по тексту воспоминаний А. И. Ульяновой-Елизаровой, опубликованных в сб. «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 года». М.—Л., 1927, стр. 65—106.

Ульянова-Елизарова Анна Ильинична (1864—1935) — видный деятель Коммунистической партии. Сестра В. И. Ленина. Член партии с 1898 г. По окончании Симбирской гимназии поступила в Петербурге на Бестужевские курсы. После покушения на Александра III 1 марта 1887 г. в связи с делом брата А. И. Ульянова, была арестована и выслана под надзор полиции. После ареста В. И. Ленина возвратилась в 1896 г. в Петербург, посещала его в тюрьме и переписывала с тайнописи составленную В. И. Лениным программу партии и объяснительную записку к ней. С тех пор и до конца жизни А. И. Ульянова-Елизарова отдавала все силы самоотверженной борьбе за дело партии и рабочего класса.

[1] Александр Ильич Ульянов в 1883 г. с золотой медалью окончил гимназию и поступил в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

[2] Работа А. И. Ульянова о строении сегментарных органов пресноводных кольчатых червей впервые опубликована в «Трудах института истории естествознания и техники. Из истории биологической науки», т. 41, вып. 10, 1962, стр. 4—28.

[3] См.: Галерея шлиссельбургских узников. Под ред. Н. Ф. Анненского, В. Я. Богучарского, В. И. Семевского и П. Ф. Якубовича, ч. 1. СПб., 1907, стр. 207.

[4] *Семевский Василий Иванович* (1848—1916) — видный русский историк, много занимавшийся историей крестьянского вопроса. В 1882 г. начал читать в Петербургском университете курс лекций по истории русского крестьянства, но в 1886 г. по распоряжению министра народного просвещения Делянова лекции были прекращены, и Семевский навсегда устранен от практической работы. Студенты поднесли тогда В. И. Семевскому адрес с выражением благодарности, сочувствия и глубокого сожаления по поводу того, что они лишились возможности слышать его «живое серьезное слово». Среди сотен других подписей под адресом стояли подписи А. И. Ульянова и его друзей, участвовавших затем в покушении на Александра III. (С. Г. Сватиков. Увольнение В. И. Семевского и петербургское студенчество. «Минувшие годы», 1916, № 10, стр. 233. — Подробнее о В. И. Семевском см.: А. Л. Шапиро. Русская историография в период империализма. Изд. Ленингр. ун-та, 1962, стр. 143).

[5] *Елизаров Марк Тимофеевич* (1862—1919) — активный участник революционного движения, член большевистской партии, муж А. И. Ульяновой. После Октябрьской революции — первый народный комиссар путей сообщения. В 1882—1886 гг. учился в Петербургском университете.

[6] А. И. Ульянова-Елизарова говорит о стихотворении А. А. Ольхина «У гроба» (впервые напечатано в журнале «Земля и воля», 1878, № 1, 25 октября). Стихотворение написано в связи с убийством 4 августа 1878 г. в Петербурге на Михайловской площади (теперь площадь Искусств) С. М. Кравчинским шефа жандармов Н. В. Мезенцева. Это стихотворение много раз перепечатывалось в различных нелегальных, а потом и легальных изданиях, ходило в рукописных списках и гектографированных копиях и является одним из популярнейших стихотворений русской революционной поэзии 1870—1888-х годов. В этом стихотворении были, в частности, следующие строфы:

Там, где Плевна дымится, огромный курган —
В нем останки еще не догнили:
Чтоб уважить царя, в именины его
Много тысяч «своих» уложили...
Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит державному брату;
А на родине ветер холодный шумит
И разносит солдатскую хату...

(См.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Л., 1959, стр. 443, 803).

Автор стихотворения имеет в виду третий неудачный штурм Плевны, предпринятый 30 августа 1877 г. вел. кн. Николаем Николаевичем в день именин его брата Александра II; в этот день было убито и ранено более 15 тысяч русских солдат.

7 17 ноября 1886 г. в Петербурге состоялась студенческая демонстрация, посвященная 25-летию со дня смерти Н. А. Добролюбова. Активное участие в демонстрации приняли студенты Университета. В. А. Поссе в своих воспоминаниях писал: «Совет землячеств решил в этот день устроить нечто вроде массового митинга на Волковом кладбище у „литераторских мостков", где был похоронен Добролюбов. Мне было поручено сагитировать в этом направлении студентов-юристов. Большого успеха я не имел, даже филологи оказались отзывчивее юристов, и многие из них приняли участие в демонстрации. Естественники пошли очень дружно и вместе со студентами-технологами составили, так сказать, ядро той многотысячной толпы, которая утром 17 ноября собралась у ворот Волкова кладбища» (В. А. Поссе. Пережитое и передуманное, т. I. Л., 1933, стр. 98).

8 19 февраля 1886 г. студенчество Петербурга организовало демонстрацию, участники которой почтили память писателей, выступавших за освобождение крестьян: Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Н. А. Добролюбова.

9 *Клейбер Иосиф Андреевич* (1863—1892) окончил Петербургский университет в 1885 г. и был оставлен при Университете для приготовления к профессорской деятельности по кафедре астрономии и высшей геодезии. Как приват-доцент, Клейбер читал лекции по теоретической астрономии, спектральному анализу и теории вероятности (на юридическом факультете). Не успев защитить докторской диссертации, над которой успешно работал, Клейбер умер от скоротечной чахотки.

10 *Туган-Барановский Михаил Иванович* (1865—1919) — русский буржуазный экономист, видный представитель «легального марксизма». В 1917—1918 гг. — активный деятель буржуазной контрреволюции на Украине, министр Центральной рады.

В. А. ПОССЕ

Культурники и революционеры

Печатается по книге: В. А. Поссе. Пережитое и передуманное, т. I. Л., 1933, стр. 93—102.

Поссе Владимир Александрович (1864—1940) — журналист и общественный деятель. Редактировал журналы «легальных марксистов» «Новое слово» и «Жизнь». В 1906—1907 гг. выступал за создание независимых от социал-демократической партии рабочих кооперативных организаций в России. Эти взгляды Поссе были подвергнуты резкой критике В. И. Лениным (см. статью В. И. Ленина «Интеллигентские воители против господства интеллигенции». В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, стр. 171—174). После Октябрьской революции Поссе занимался литературной деятельностью в качестве сотрудника «Известий ВЦИК».

1 В. А. Поссе поступил в Петербургский университет в 1884 г.

2 *Минаев Иван Павлович* (1840—1890) — профессор историко-филологического факультета, известный в те годы специалист по сравнительному языкознанию.

3 *Ягич Ватрослав* (1838—1923) —ученый-славист, в 1880—1886 гг. — профессор Петербургского университета.

[4] Журнал «Вестник Европы» выходил в Петербурге с 1866 по март 1918 гг., выражал взгляды буржуазных либералов.

[5] О Научно-литературном обществе см. стр. 304.

[6] *Вернадский Владимир Иванович* (1863—1945) — выдающийся естествоиспытатель, минералог и кристаллограф, академик. В 1855 г. окончил Петербургский университет. В течение многих лет работал в Университете.

[7] Ныне город Калинин. Об С. Ф. Ольденбурге см. стр. 307.

[8] *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865—1941) — русский писатель, видный представитель декадентства в литературе. После Октябрьской революции эмигрировал.

[9] *Водовозов Василий Васильевич* (1864—1940) — народник, публицист, в 1880-е годы примкнул к революционному движению, был сослан на пять лет в Архангельскую губернию (1887). После Октябрьской революции эмигрировал.

[10] «Русское богатство» — журнал, выходивший в Петербурге в 1876—1918 гг. С начала 80-х гг. вокруг него начинает объединяться группа народников, но отчетливого направления журнал еще не имел. В 90-е годы «Русское богатство» — это орган либерального народничества, выступавший ярым врагом марксизма, пропагандировавший примирение с царским правительством.

[11] *Фойницкий Иван Яковлевич* (1847—1913) — юрист, с 1871 г. преподавал в Петербургском университете. По политическим взглядам — монархист.

[12] *Шевырев Петр Яковлевич* (1863—1887) — студент физико-математического факультета, соратник А. И. Ульянова по террористической фракции «Народной воли». Александр Ульянов и Петр Шевырев вместе были выведены на казнь в мае 1887 г.

[13] Революционно настроенные студенты Петербургского университета, потрясенные казнью Александра Ульянова и его четырех товарищей, продолжали борьбу. Они подготовили к распространению листовку в память погибших, заканчивавшуюся словами: «Мы скажем всей России: смотри, как умеют бороться и умирать твои революционеры! Мы глубоко запечатлели их славные имена в своих сердцах и будем воспитывать на их примере себя и лучших детей своей земли. Мир вашему праху, дорогие братья! Вы честно исполнили свой долг, вы твердой рукой поддержали знамя борьбы за свободу и правду! Глубокое спасибо вам и вечная память!»

(Цит. по С. Н. Валк. Союз студентов и казнь 8 мая 1887 г. «Красный архив», 1927, № 1, стр. 228).

И. Н. ЧЕБОТАРЕВ

Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и петербургском студенчестве 1883—1887 гг.

Печатается по тексту, опубликованному в сб. «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г.» М.—Л., 1927, стр. 239—245.

Чеботарев Иван Николаевич — знакомый семьи Ульяновых, впоследствии учитель.

[1] И. Н. Чеботарев допускает неточность. По университетскому уставу 1863 г., который действовал до 1884 г., в Университете был физико-математический факультет с естественным отделением. Студентом этого отделения и стал А. И. Ульянов.

[2] *Вагнер Николай Петрович* (1829—1907) — видный зоолог, профессор Петербургского университета (с 1871 г.). Под псевдонимом Кот-Мурлыка Н. П. Вагнер в качестве беллетриста сотрудничал в различных журналах («Родник», «Север» и др.).

[3] Н. Г. Чернышевскому принадлежат перевод, примечания, дополнения и изложение трактата английского экономиста и философа Джона Стюарта Милля «Основания политической экономии». Текст «Оснований» и примечания были впервые напечатаны Н. Г. Чернышевским в журнале «Современник» в 1860 и 1861 гг. Комментируя и излагая труд английского ученого, Н. Г. Чернышевский дал острую и глубокую критику капиталистической системы и изложил собственные взгляды по вопросам политической экономии. К. Маркс был знаком с примечаниями Н. Г. Чернышевского к труду Милля, читал их в русском подлиннике и сделал на полях свои замечания.

[4] *Шеффле А. Э. Ф.* (1831—1903) — немецкий экономист и социолог.

[5] (В. В.) — *Воронцов Василий Павлович* (1847—1918) — русский экономист и публицист, один из идеологов либерального народничества 80—90-х годов. В. И. Ленин

в своих выступлениях и работах 90-х годов до конца разоблачил реакционные воззрения Воронцова, проповедывавшего примирение с царским правительством и выступавшего против марксизма.

[6] Студенческое Научно-литературное общество при Петербургском университете возникло в 1882 г. по инициативе правого крыла студенчества для борьбы с революционной пропагандой среди студентов. Однако постепенно руководство обществом перешло к группе прогрессивно настроенных студентов. В члены общества вступили будущие участники террористической группы, готовившей покушение на Александра III — Ульянов, Генералов и Шевырев. 12 июня 1887 г. министр Делянов прислал в Университет следующее распоряжение: «Из сообщаемых Министерством внутренних дел сведений усматривается, что при СПБ-ом университете имеется студенческое Научно-литературное общество, среди членов коего состояли все главные участники преступления 1 марта сего года, а один из самых деятельных руководителей заговора, Ульянов, исполнял обязанность секретаря общества. Сообщая об изложенном, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство сделать распоряжение о немедленном закрытии упомянутого общества и о последующем донести в Министерство» (Цит. по: Е. Г. Ольденбург. Студенческое Научно-литературное общество при С.-Петербургском университете. «Вестник ЛГУ», 1947, № 2, стр. 155).

В 1887 г. Научно-литературное общество было закрыто.

А. И. Ульянов вступил в члены Научно-литературного общества в марте 1886 г. и вскоре был избран секретарем научного отдела — одного из руководящих органов общества. В конце 1886 г. А. И. Ульянов отказался от должности секретаря и вышел из общества, целиком отдавшись революционной работе.

[7] Речь идет о покушении народника А. Соловьева на Александра II 2 апреля 1879 г. Покушение не имело успеха. Сам Соловьев был схвачен и казнен.

[8] *Корнилов Александр Александрович* (1862—1925) — историк, кадет.

Кауфман Александр Аркадьевич (1864—1918) — экономист и статистик. Был одним из организаторов партии кадетов.

Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк. С 1889 г. преподавал в Петербургском университете. Один из создателей Петербургской—Ленинградской школы медиевистики.

Дьяконов Михаил Александрович (1855—1919) — историк русского права.

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919) — профессор русской истории Петербургского университета, академик.

Свешников Митрофан Иванович — юрист, профессор. Работал в Петербургском университете с 1888 г.

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — критик и литературовед. После Октябрьской революции — белоэмигрант.

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

* В кружках Петербургского университета

Печатается по первой публикации в книге: Н. Н. Фатов. Серафимович. Очерк жизни и творчества. М.—Л., ГИЗ, 1927, стр. 35—36.

[1] В Петербург Серафимович приехал из станицы Усть-Медведицкой осенью 1883 г. и поступил на математическое отделение физико-математического факультета. «Почему именно на математический факультет? — писал Серафимович в автобиографии, датируемой 1913 г. Так же слепо и без достаточных оснований, как большинство гимназистов. Университет, университетская наука были совершенно оторваны от гимназии и от тех знаний, которые гимназия давала. В Университет мы ехали полными невеждами, не имея ни малейшего представления о методах научной работы и о том научном материале, с которым мы будем иметь дело» (А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М., 1958, стр. 341).

[2] Серафимович по вступлении в Университет стал членом студенческого землячества кубанцев и донцов, объединившего значительную группу революционно настроенной молодежи. Несколько членов этого землячества (в их числе Семен Брыкин, Василий Генералов, Орест Говорухин, Пахомий Андреюшкин, Николай Руденич) входили в состав

организованной Александром Ульяновым террористической фракции «Народной воли».

[3] Еще в марте 1870 г. члены русской секции I Интернационала писали К. Марксу, что его имя пользуется высоким уважением в демократической среде русского студенчества. В октябре 1871 г. 6 студентов-юристов Петербургского университета направили Марксу приветствие, в котором, в частности, писали: «Протяните нам братскую руку и помогите нам сбросить иго деспотизма и мракобесия, тяготеющее над несчастной страной». (См. Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, изд. 2-е, стр. 36).

[4] Об Александре Ильиче Ульянове см. стр. 208—228, 231, 301—304.

[5] В действительности работа над университетским сочинением заняла у А. И. Ульянова несколько месяцев упорного труда, начатого еще в домашней лаборатории в с. Кокушкино (Симбирской губернии) и продолженного на кафедре физиологии. Выдающийся русский физиолог академик Ф. В. Овсянников отметил в своем отзыве, что работой «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata» А. И. Ульянов явил значительную долю опытности и прилежания. «Здесь,—писал Ф. В. Овсянников,—в этой хорошо исследованной области каждый новый факт имеет тем большую цену, что он добывается значительным трудом» (Цит. по кн.: С. Н. Семанов. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы Александра Ульянова. М., 1961, стр. 59).

[6] Студент А. С. Попов (Серафимович) состоял под надзором полиции с 1885 г. по 1887 г. Серафимович был арестован по обвинению в связи с участниками покушения 1 марта 1887 г. (см. стр. 208—216, 221—224). Прежде чем была определена мера наказания, Серафимович провел семьдесят девять дней в одиночной камере Петербургского дома предварительного заключения. По приговору особого совещания при министре внутренних дел студент Александр Серафимович-Попов был выслан в город Мезень Архангельской губернии сроком на пять лет под гласный надзор полиции (см.: А. Волков. Творческий путь А. С. Серафимовича. М., 1960, стр. 30 и след.).

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

Как мы читали Карла Маркса

Впервые напечатано в журнале «Творчество» (1918, № 1, стр. 11—13). Публикуется по кн.: А. С. Серафимович. Собр. соч. в семи томах, т. 6. М., 1959, стр. 94—97.

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ

На повороте

Печатается по первой публикации в книге: П. Н. Лепешинский. На повороте (от конца 80-х годов к 1905 г.). Попутные впечатления участника революционной борьбы. Пг., 1922, стр. 8—13.

Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868—1944) — крупный партийный и советский деятель, доктор исторических наук. В 1900—1902 гг. — видный агент ленинской «Искры», с 1903 г. — большевик. Активный участник революции 1905—1907 гг. и Великой Октябрьской социалистической революции. В советское время был членом коллегии Народного комиссариата просвещения, председателем ЦК МОПР (в 1925—1927 гг.), директором Исторического музея и Музея революции СССР.

В 1886—1890 гг. П. Н. Лепешинский учился на физико-математическом факультете Петербургского университета.

[1] *Мравина* (настоящая фамилия — Мравинская) *Евгения Константиновна* (1864—1914) — певица, в 1886—1898 гг. — солистка Мариинского театра в Петербурге (ныне Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова). В опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» исполняла партию Людмилы.

[2] Взятые в кавычки слова образуют название известной пьесы Леонида Андреева (1908).

[3] *Павленков Флорентий Федорович* (1839—1900) — прогрессивный книгоиздатель. Основные издания Ф. Ф. Павленкова: «Библиотека полезных знаний», «Биографическая

библиотека» («Жизнь замечательных людей»), «Популярно-научная библиотека», «Энциклопедический словарь» («Павленковский»).

[4] Любопытно отметить, что в 1867 г. Ф. Ф. Павленков был выслан из Петербурга как раз за выпуск полного собрания сочинений Д. И. Писарева.

[5] «Освобождение труда» (1883—1903) — первая русская марксистская организация, возникшая в Женеве под руководством Г. В. Плеханова. Эта организация положила начало российскому социал-демократическому движению (см.: Г. Жуйков. Группа «Освобождение труда». М., Соцэкгиз, 1962).

[6] Имеется в виду книга «Сибирь и ссылка» (Париж—Лондон, 1890) американского журналиста Джорджа Кеннана (1845—1924), совершившего в 1886 г. путешествие по Сибири со специальной целью изучения царской тюрьмы, каторги и ссылки (см. также: Джордж Кеннан. Сибирь! Тт. I—II. СПб., 1906).

А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА

Воспоминания об Ильиче

Печатаются по книге: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Т. 1, М., 1956, стр. 23—24.

[1] В. И. Ленин в 1887 г. поступил на юридический факультет Казанского университета. Двоюродный брат В. И. Ленина Н. И. Веретенников вспоминает: «На мой вопрос Володе, почему он выбирает юридический факультет, а не какой-нибудь другой, математический или естественный, он ответил: „Теперь такое время, нужно изучать науки права и политическую экономию. Может быть, в другое время я избрал бы другие науки"» (Н. Веретенников. Володя Ульянов. М., 1960, стр. 59—60). В декабре 1887 г. В. И. Ленин, арестованный за участие в студенческих волнениях, был вынужден подать заявление об отчислении из Казанского университета.

[2] Царские власти чинили всяческие препятствия возвращению В. И. Ленина в Казанский университет или поступлению в другие университеты. Тогда В. И. Ленин принимает решение сдавать экзамены за университетский курс экстерном. Им был выбран Петербургский университет. После длительных проволочек со стороны департамента народного просвещения в июле 1890 г. Ленину было разрешено обратиться в испытательную комиссию Петербургского университета. В конце августа В. И. Ленин выехал из Самары в Петербург, чтобы ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к сдающим экзамены экстерном за юридический факультет Университета. Это был первый приезд В. И. Ленина в Петербург, первое посещение Петербургского университета.

Возвратившись в Самару, В. И. Ленин продолжал готовиться к экзаменам. Об этом, в частности, и рассказывает автор публикуемых воспоминаний.

В. И. Ленин в весеннюю экзаменационную сессию (апрель 1891 г.) сдавал 5 экзаменов по 7 предметам. В сентябре, октябре и ноябре того же года он сдавал остальные экзамены. Всего В. И. Ленин сдал 13 устных и 1 письменный экзамен по 18 предметам (см.: А. Ф. Калинин, С. З. Мандель. В. И. Ленин и Петербургский университет. Л., 1960, стр. 36). Из всех экзаменовавшихся один В. И. Ульянов (Ленин) получил на всех экзаменах высшие оценки. 15 ноября 1891 г. юридическая испытательная комиссия Петербургского университета присудила Владимиру Ильичу диплом I степени.

А. А. БЕЛЯКОВ

Юность вождя

Печатается по первой публикации в книге: А. А. Беляков. Юность вождя. Воспоминания современника В. И. Ленина. М., 1958, стр. 62—63.

Беляков Алексей Александрович (1870—1927) — участник марксистского кружка в Самаре, руководимого В. И. Лениным. В 1906 г. он принимал активное участие в издании большевистской литературы, центрального органа большевистской партии — газеты «Вперед». После Октябрьской революции Беляков вел большую партийную и журналистскую работу.

[1] *Скляренко Алексей Павлович* (1870—1916) — руководитель одного из револю-

ционных кружков в Самаре в начале 90-х годов. В 1892 г., когда В. И. Ленин организовал первый в Самаре кружок марксистов, он вошел в его состав. Впоследствии Скляренко стал активным работником большевистской партии, участвовал в работе V съезда РСДРП.

[2] «Die neue Zeit» — журнал, теоретический орган германской социал-демократии. Длительное время редактировался К. Каутским.

[3] Николай — он — частый псевдоним Н. Ф. Даниельсона.

Постников Владимир Ефимович (1844—1908) — экономист-статистик, автор книги «Южно-русское крестьянское хозяйство» (1891), в которой показал наличие дифференциации в крестьянском хозяйстве, вступив, таким образом, в полемику с народническими экономистами и публицистами. Ср.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 43—47 и др.

С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ

Несколько воспоминаний об А. И. и В. И. Ульяновых

Печатается по первой публикации в «Красной летописи», 1924, № 2 (11), стр. 17—18.

Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — видный русский ученый-востоковед, академик АН СССР. В 1884—1889 гг. учился в Петербургском университете.

[1] *Ольга Ильинична Ульянова* родилась в 1871 г. Осенью 1890 г. она поступила на Высшие женские курсы в Петербурге. А. И. Ульянова-Елизарова вспоминала: «Ольга была прекрасная, с выдающимися способностями и большой энергией девушка... На курсах она выделилась в первый же год своими знаниями, своей работоспособностью и подруги ее — З. П. Невзорова-Кржижановская, Торгонская, покойная А. А. Якубова — говорили о ней, как о выдающейся девушке, бывшей центром их курса. Со всем неясным или непонятным подруги шли к ней, и она повредила себе тем, что, уже больная, объясняла им по химии и другим предметам к начавшимся экзаменам. Она искала также путей и для общественной работы, и из нее вышла бы, несомненно, выдающаяся и преданная революционерка» (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. М., 1956, стр. 29). О. И. Ульянова умерла в 1891 г. в Петербурге от брюшного тифа.

[2] Встреча В. И. Ленина с С. Ф. Ольденбургом состоялась в 1891 г. (более точная дата не установлена).

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

* Курсивом отмечены страницы, содержащие необходимые биографические сведения о данном лице, а также имена литературных персонажей.

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Анатольевич Ежов,
Юрий Давидович Марголис,
Георгий Георгиевич Прошин

Ленинградский университет
в воспоминаниях современников

Редактор *Э. С. Востокова*
Техн. редактор *Л. И. Киселева*
Корректоры *В. М. Николаева*
и *М. В. Унковская*

Сдано в набор 28 IX 1962 г. М 26327.
Подписано к печати 15 III 1963 г.
Уч.-изд. л. 24,23.
Печ. л. 20 + вкл. (усл. п. 23,4). Бум. л. 10.
Формат бум. $70 \times 90^1/_{16}$.
Тираж 1200 экз. Заказ 708.
Цена в переплете 1 р. 60 к.

Типография ЛОЛГУ.
Ленинград. Университетская наб., 7/9.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
6	7 снизу	О. Л. Вайнштейн, М. А. Гуковский, В. В. Мавродин	Г. А. Гуковский, С. В. Калесник, В. В. Мавродин, О. Л. Вайнштейн
260	9 сверху	263	267
260	10 „	263	267
263	17 „	матнати	магнати
264	15 снизу	инфантерий	инфантерии
272	4 сверху	280—284	282—286
277	23 снизу	270	274
285	11 „	278—279	282—283
285	12 „	282—283	285—286
311	9 „	Гуковский М. А.	Гуковский Г. А.

Зак. 708.

Виктор Анатольевич Ежов,
Юрий Давидович Марголис,
Георгий Георгиевич Прошин

Ленинградский университет
в воспоминаниях современников



791